



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



Это цифровая копия книги, хранящейся для потомков на библиотечных полках, прежде чем ее отсканировали сотрудники компании Google в рамках проекта, цель которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских прав на эту книгу истек, и она перешла в свободный доступ. Книга переходит в свободный доступ, если на нее не были поданы авторские права или срок действия авторских прав истек. Переход книги в свободный доступ в разных странах осуществляется по-разному. Книги, перешедшие в свободный доступ, это наш ключ к прошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все пометки, примечания и другие записи, существующие в оригинальном издании, как напоминание о том долгом пути, который книга прошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использования

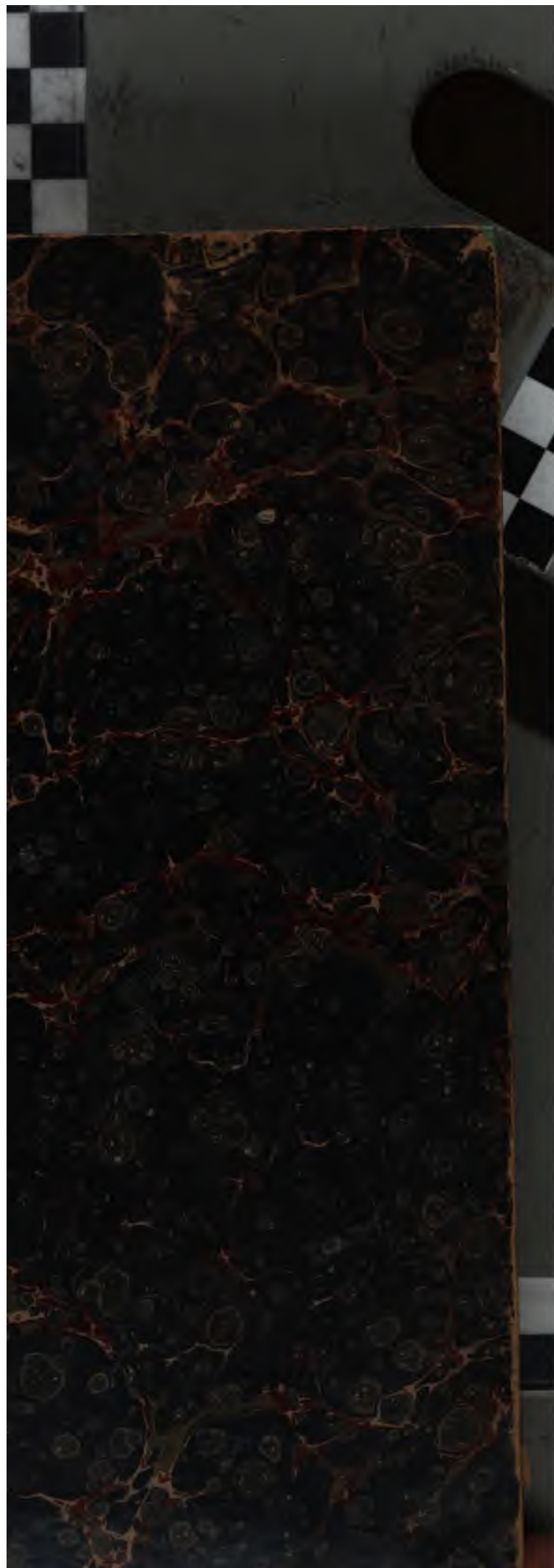
Компания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы перевести книги, перешедшие в свободный доступ, в цифровой формат и сделать их широкодоступными. Книги, перешедшие в свободный доступ, принадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять этот ресурс, мы предприняли некоторые действия, предотвращающие коммерческое использование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические записи.

Мы также просим Вас о следующем.

- Не используйте файлы в коммерческих целях.
Мы разработали программу Поиск книг Google для всех пользователей, поэтому используйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отправляйте автоматические записи.
Не отправляйте в систему Google автоматические записи любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного перевода, оптического распознавания символов или других областей, где доступ к большому количеству текста может оказаться полезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем использовать материалы, перешедшие в свободный доступ.
- Не удаляйте атрибуты Google.
В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он позволяет пользователям узнать об этом проекте и помогает им найти дополнительные материалы при помощи программы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.
Независимо от того, что Вы используете, не забудьте проверить законность своих действий, за которые Вы несете полную ответственность. Не думайте, что если книга перешла в свободный доступ в США, то ее на этом основании могут использовать читатели из других стран. Условия для перехода книги в свободный доступ в разных странах различны, поэтому нет единых правил, позволяющих определить, можно ли в определенном случае использовать определенную книгу. Не думайте, что если книга появилась в Поиске книг Google, то ее можно использовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских прав может быть очень серьезным.

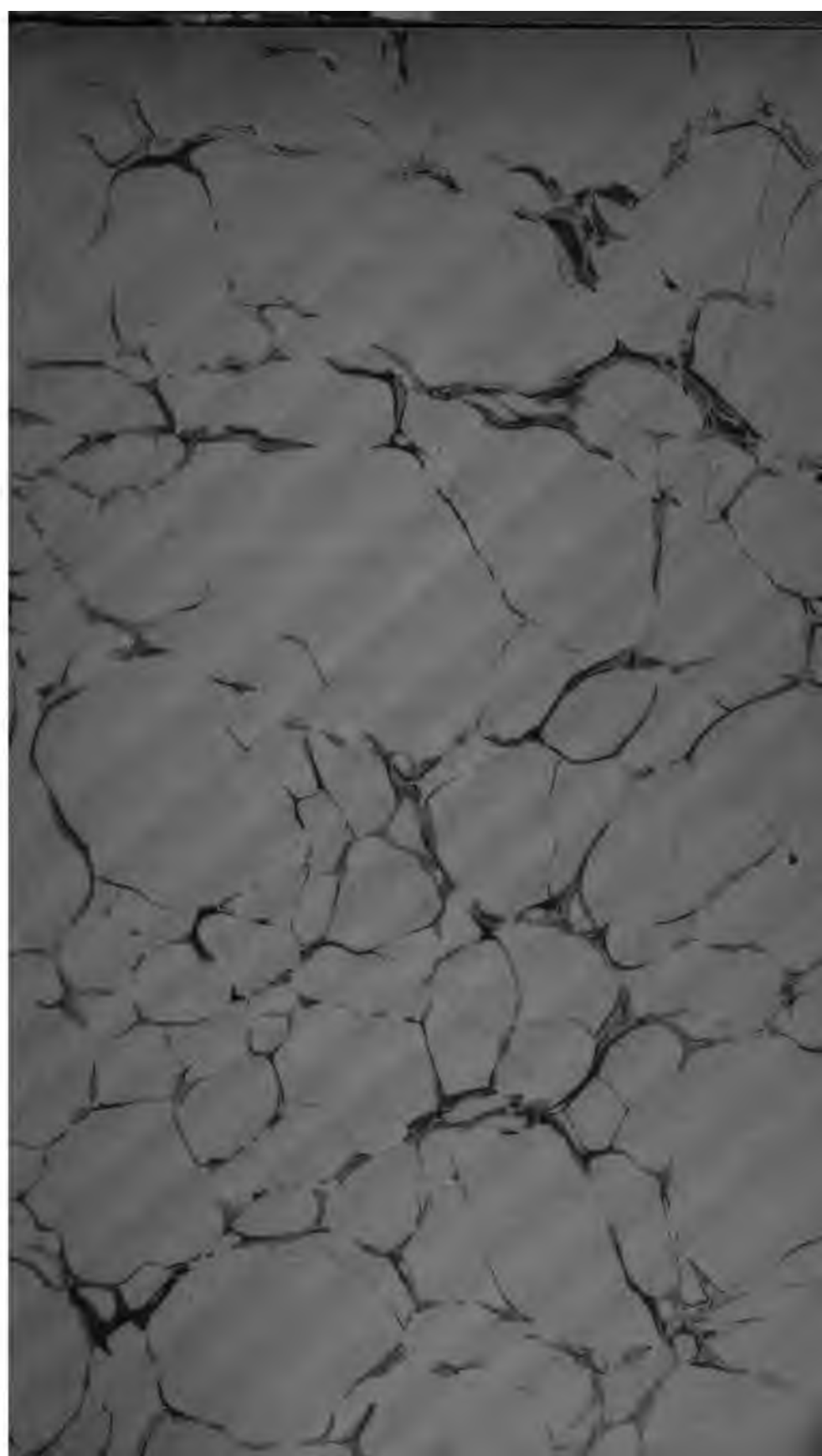
О программе Поиск книг Google

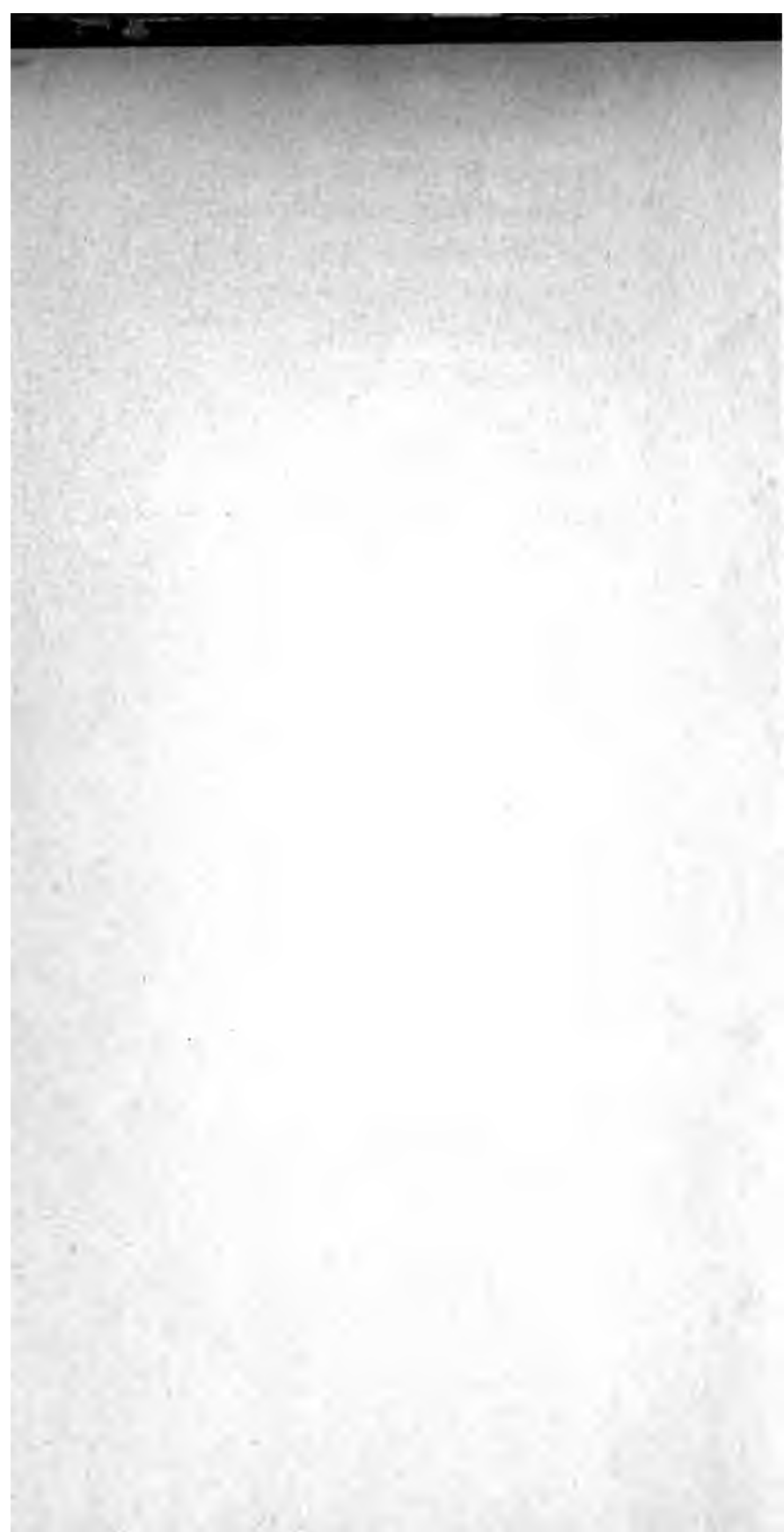
Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и полезной. Программа Поиск книг Google помогает пользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый поиск по этой книге можно выполнить на странице <http://books.google.com/>





**STANFORD
UNIVERSITY
LIBRARIES**





[REDACTED]

[REDACTED]

2

3

4

Tiūtchev, F. I.

СОЧИНЕНІЯ

Ө. И. ТЮТЧЕВА.

СТИХОТВОРЕНІЯ

И

ПОЛИТИЧЕСКІЯ СТАТЬИ.



С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Типографія ТРЕЩКЕ и ФЮСНО, Максимизіановскіи пер., 15

1886.

PG 3361

Ts

85



(mit Meins?)

Какъ порои воемми мѣху,
Въмѣстѣмъ мѣху за мѣху -
Мѣху, одиу, въ нѣмъ вѣмъ,
Вѣмъ мѣху оураднѣ мѣху -
1823 г. 22.

(Секретъ. 1850)

Не вѣро мѣху вѣмъ въ вѣмъ,
Вѣмъ вѣмъ вѣмъ вѣмъ вѣмъ вѣмъ -
мѣху вѣмъ вѣмъ, мѣху вѣмъ вѣмъ:
„Тѣмъ вѣмъ вѣмъ вѣмъ вѣмъ вѣмъ -
вѣмъ вѣмъ - вѣмъ вѣмъ вѣмъ, !...
Вѣмъ вѣмъ вѣмъ - вѣмъ вѣмъ вѣмъ...
1850 г. 22.

С. М. М. М.

ОГЛАВЛЕНІЕ.

ОТИХОТВОРЕНІЯ.

1820—1836 ¹⁾.

	СТРАН.
«На камень жизни роковой»	3
Весеннія воды	5
Весенняя гроза.	6
«Съ поляны воршунъ поднялся»	8
Свѣжныя горы.	9
Утро въ горахъ	11
Весеннее успокоеніе.	12
«Яркій свѣтъ сіяетъ въ долині»	13
Ночные голоса	14
Бессонница.	16
«Нѣтъ, моего къ тебѣ пристрастья»	18
«Вчера, въ мечтахъ обвороженныхъ»	19
«Ты зналъ его въ кругу большаго свѣта»	21
Безуміе.	22
«Изъ края въ край, изъ града въ градъ»	24
«Сижу задумчивъ и одинъ»	26
«Какое дикое ущелье»	28
Осенній вечеръ.	29
«Въ душномъ воздухѣ молчанье»	30
Странникъ.	32
Не вѣрь, не вѣрь поэту!	33
Вечеръ.	35

¹⁾ Въ отдѣлѣ 1820—1836 помѣщены стихотворенія относящіяся къ этому періоду жизни О. И., которыхъ даты не могутъ быть опредѣлены съ точностью, или совсѣмъ неизвѣстны.

	СТРАН.
Весна.	36
Конь морской.	38
Декабристамъ.	39
Посланіе къ А. В. Ш...бу.	41
Въ дорогѣ.	43
«Я помню время золотое».	44
«Какъ надъ горячею золой».	46
Двумъ сестрамъ	47
«Востокъ бѣлѣлъ... Ладыя ватилась»	48
Арфа скальда	49
Cache-cache	50
Листья.	52
«Сей день, я помню, для меня»	54
Сонъ на морѣ	55
Видѣніе	57
Лебедь	58
«Еще земли печаленъ видѣ»	59
«Какъ океанъ объемлетъ шаръ земной»	60
Сумерки.	61
«Еще шумѣлъ веселый день»	62
«Какъ птичка раннею зарей»	64
«Въ толпѣ людей, въ нескромномъ шумѣ дня»	66
«Когда пробѣдетъ послѣдній часъ природы»	67
Лѣтній вечеръ.	68
Венеція	70
«Вечеръ мгlistый и ненастный»	72
Не то что мните вы, природа —	73
Римъ ночью	75
Весна.	76
Друзьямъ.	79
«Песокъ сыпучій по колѣни»	81
«Черезъ ливонскія я проѣзжалъ поля»	82
Альпы.	84
Mal'Agia.	85
На взятіе Варшавы.	86
Silentium.	88
На смерть Гёте.	90
«Люблю глаза твои, мой другъ»	91

	СТРАН.
«Съ горы скатившись, камень легъ въ долину»	92
«Тамъ, гдѣ горы, убѣгая»	93
Тегернзе	95
Полдень	96
Могила Наполеона	97
«Потокъ сгустился и тускнѣеть»	98
Слезы	99
«Съ какою нѣгою, съ какой тоской влюбленный»	101
«Что ты клонишь надъ водами»	102
Къ Н. П.	103
Фонтанъ	105
Циперонъ	106

1837—1873.

На смерть Пушкина	109
Итальянская Вилла	111
«Такъ здѣсь-то суждено намъ было»	113
«Душа моя — Элизіумъ тѣней»	114
«Живымъ сочувствіемъ привѣта»	115
«Душа хотѣла-бъ быть звѣздой»	117
«Давно-ль, давно-ль, о югъ блаженный»	118
«И гробъ опущенъ ужъ въ могилу»	120
Къ Ганкѣ — въ Прагѣ	121
Наполеонъ	125
«Тебѣ, Колумбъ, тебѣ вѣнецъ»	128
«Глядѣлъ я, стоя надъ Невой»	129
«И такъ, опять увидѣлся я съ вами»	131
Ротенбургъ	133
День и ночь	134
«О чемъ ты воешь, вѣтръ ночной»	135
Поэзія	136
«Еще томлюсь тоской желаній»	137
Море и утесъ	138
«Смотри, какъ на рѣчномъ просторѣ»	140
Русская географія	141
«Вновь твои я вижу очи»	142
О Ламартинѣ	144

	СТРАН.
Близнецы	145
«Тихой ночью, позднимъ лѣтомъ»	147
«Какъ дымный столбъ свѣтитъ въ вышинѣ»	148
«Вдали отъ солнца и природы»	149
Разсвѣтъ	150
«Конченъ пиръ, умолкли хоры»	152
«Тогда лишь въ полномъ торжествѣ»	154
«Не разсуждай, не хлопочи»	155
Пророчество	156
«Подъ дыханьемъ непогоды»	157
Два голоса	158
«Не остывшая отъ зною»	160
На Невѣ	161
«Слезы людскія, о слезы людскія»	163
«Пошли Господь свою отраду»	164
«Обвѣянь вѣщею дремотой»	166
«Какъ ни дышетъ полдень знойный»	167
«Нѣтъ, карликъ мой, трусь непримѣрный»	168
Графиня Ростопчиной	170
«Гроза прошла. Еще курясь, лежалъ»	172
«Не даромъ милосердымъ Богомъ»	173
«Дума за думой, волна за волной»	175
«Какъ веселъ грохотъ лѣтнихъ бурь»	176
Первый листъ	177
«День вечерѣетъ, ночь близка»	179
«Сіяетъ солнце, воды блещутъ»	180
«О, не тревожь меня укорой справедливой»	181
«Не говори: меня онъ какъ и прежде любить»	182
«Святая ночь на небосклонѣ взошла»	183
Проблескъ	184
«Чему молилась ты съ любовью»	186
Плаваніе	187
«Ты, волна моя морская»	189
На смерть Жуковского	191
«О, какъ убійственно мы любимъ»	193
«Чародѣйкою зимою»	196
Нашъ вѣкъ	197
Венеція	198

	СТРАН.
Къ Н. С. А—ой	252
«Ужасный сонъ отяготѣлъ надъ нами»	254
«Сентябрь холодный бушевалъ»	256
Князю А. А. С.....ву	257
«Смотри, какъ западъ загорѣлся»	259
Къ Н. Н.	260
Князю Горчакову	261
На смерть графа Д. Н. Блудова	262
«Весь день она лежала въ забытѣи»	264
«Утихла буря, легче дышетъ»	265
Е. И. В. Государынѣ Императрицѣ Маріи Александровнѣ	266
«Какъ не разгаданная тайна»	267
«О этотъ югъ, о эта Ницца»	268
Епископа	269
«Какъ хорошо ты, о море ночное»	271
Дочери Д. Ѳ. Т—ой	272
На кончину Е. И. В. Государя Наслѣдника Николая Александровича	273
Телеграмма въ Петергофъ князю П. А. Вяземскому	275
«Пѣвучесть есть въ морскихъ волнахъ»	276
«Какъ неожиданно и ярко»	277
Я. П. Полонскому	278
Восходъ солнца	279
«Ночное небо такъ угрюмо»	281
Графинѣ А. Д. Блудовой	282
«И въ Божьемъ мірѣ то-жъ бываетъ»	283
«Небо блѣдно-голубое»	284
«Тихо въ озерѣ струится»	286
На смерть графа М. Н. Муравьева	287
«Умомъ Россію не понять»	288
На юбилей Н. М. Карамзина	289
«Когда дряхлѣющія силы»	291
«Ты долго-ль будешь за туманомъ»	293
«Хотя-бъ она сошла съ лица земного»	294
Два Единства	296
Графинѣ А. Д. Блудовой при полученіи отъ нея книги Гр. Д. Н. Б. . .	297
«Напрасный трудъ! Нѣтъ, ихъ не вразумишь»	298
Дымъ	299

	СТРАН.
На юбилей князя А. М. Горчакова.	301
Князю П. А. Вяземскому	303
Славянамъ	305
«Свершается заслуженная кара».	309
По прочтеніи депешъ Императорскаго Кабинета	310
Man muss die Slaven an die Wand drücken!	312
«Въ небѣ таютъ облака»	314
Памяти Егора Петровича Ковалевскаго	315
М. П. Погодину	317
«Насъ всѣхъ, собравшихся на общій праздникъ снова»	318
Ю. Ф. Абазѣ.	319
«Двѣ силы есть — двѣ роковыя силы».	321
А. Н. Муравьеву.	323
Чехамъ, въ годовщину Гуса, при посылкѣ Чаши въ Прагу	325
Въ деревнѣ.	328
Императрица Евгенія на торжествѣ открытія Суэцкаго канала	331
А. О. Гильфердингу.	334
Гусъ на вострѣ.	336
Экспромтъ.	339
«Природа сфинксъ. И тѣмъ она вѣрнѣй».	340
«Надъ Русской Вильной стародавной»	341
На кончину брата	343
Черное море	345
Князю Горчакову.	348
Въ альбомъ А. В. Плетневой	350
По дорогѣ во Вчижъ	352
Дочери М. О. В—ой	354
Памяти А. О. Гильфердинга.	356

ПЕРЕВОДЫ.

Бъ Нисѣ.	359
О Наполеонѣ (изъ Манцони)	360
Пѣснь скандинавскихъ воиновъ.	363
Подражаніе арабскому.	366
Пѣснь Радости (изъ Шиллера).	368
Поминки (изъ Шиллера).	374
«Съ озера вѣетъ прохлада и нѣга» (изъ Шиллера)	381

	СТРАН.
Wilhelm Meister (изъ Гёте)	382
Wilhelm Meister (изъ Гёте)	383
Wilhelm Meister (изъ Гёте)	385
Саконтала (изъ Гёте)	387
Привѣтствіе духа (изъ Гёте).	388
Изъ Фауста (изъ Гёте)	389
Egmont (изъ Гёте)	391
Завѣтный кубокъ (изъ Гёте).	392
Пѣвецъ (изъ Гёте)	394
«Западъ, Нордъ и Югъ въ крушеніи (изъ Гёте)	397
Съ чужой стороны (изъ Гейне).	400
«Какъ порою свѣтлый мѣсяцъ» (изъ Гейне).	401
«Другъ, откройся предо мною» (изъ Гейне).	403
Вопросы (изъ Гейне)	405
Кораблекрушеніе (изъ Гейне)	407
«Любовники, безумцы и поэты» (изъ Шекспира)	410
Пѣсня (изъ Шекспира)	411
Въ альбомъ друзьямъ (изъ Байрона).	412
Микель-Анджело	413
Въ альбомъ княгини Т...ой (съ французскаго)	414

ПОЛИТИЧЕСКІЯ СТАТЬИ.

I. Россія и Германія.	417
II. Россія и Революція	442
III. Папство и Римскій Вопросъ	461
IV. О цензурѣ въ Россіи	488

ПРИЛОЖЕНІЕ.

ПОЛИТИЧЕСКІЯ СТАТЬИ ВЪ ПОДЛИННИКЪ.

I. Lettre à M. le docteur Gustave Kolb	505
II. La Russie et la Révolution	529
III. La question Romaine	546
IV. Lettre sur la censure en Russie	572



1820—1836.

I.

На камень жизни роковой
Природою заброшенъ,
Младенецъ пылкій и живой
Игралъ неостороженъ,
Но Муза сираго взяла
Подъ свой покровъ надежный,
Поэзіи разостлала
Коверъ подъ нимъ роскошный.
Какъ скоро, Музы подъ крыломъ,
Его созрѣли годы,
Поэтъ, избыткомъ чувствъ влекомъ,
Предсталъ во храмъ свободы,
Но мрачныхъ жертвъ не приносилъ,
Служа ея кумиру, —
Онъ горсть цвѣтовъ ей посвятилъ
И пламенную лиру.

Еще другое божество

Онъ чтилъ въ молодыя лѣта:

Амуръ рѣзвился вокругъ него

И дани бралъ съ поэта.

Ему стрѣлу на память далъ, —

И въ сладкіе досуги

Онъ ею повѣсть начерталъ

Орфеевой супруги.

И въ мірѣ семъ, какъ въ царствѣ сновъ,

Поэтъ живетъ мечтая:

Онъ такъ достигъ земныхъ вѣнцовъ

И такъ достигнетъ рая....

Умъ скоръ и смѣтливъ, вѣренъ глазъ,

Воображеніе — быстро.....

А спорилъ въ жизни только разъ —

На *диспутъ Маистра*.

II.

Весеннія воды.

Еще въ поляхъ бѣлѣтъ снѣгъ,
А воды ужъ весной шумять,
Бѣгутъ и будятъ сонный берегъ,
Бѣгутъ, и блещутъ, и гласятъ, —

Они гласятъ, во всѣ концы:
«Весна идетъ, весна идетъ,
«Мы молодой весны гонцы,
«Она насъ выслала впередъ!»

Весна идетъ, весна идетъ,
И тихихъ, теплыхъ майскихъ дней
Румяный, свѣтлый хороводъ
Толпится весело за ней.

III.

Весенняя гроза.

Люблю грозу въ началъ мая,
Когда весенній первый громъ,
Какъ бы рѣзвяся и играя,
Грохочеть въ небѣ голубомъ.

Гремятъ раскаты молодые!
Вотъ дождикъ брызнулъ, пыль летитъ...
Повисли перлы дождевые,
И солнце нити золотитъ...

Съ горы бѣжитъ потокъ проворный,
Въ лѣсу не молкнетъ птичій гамъ,
И гамъ лѣсной, и шумъ нагорный —
Все вторить весело громамъ...

Ты скажешь: вѣтреная Геба,
Кормя Зевесова орла,
Громокипящій кубокъ съ неба,
Смѣясь, на землю пролила!

IV.

Съ поляны коршунъ поднялся,
Высоко къ небу онъ взвился;
Все выше, далѣ вьется онъ
И вотъ ушелъ за небосклонъ.

Природа-мать ему дала
Два мощныхъ, два живыхъ крыла;
А я, здѣсь въ потѣ и пыли,
Я, царь земли, приросъ къ земли!...

V.

Снѣжныя горы.

Уже полдневная пора
Палить отвѣсными лучами,
И задымилася гора
Съ своими черными лѣсами.

Внизу, какъ зеркало стальное,
Синѣютъ озера струи,
И съ камней, блестящихъ на зноѣ,
Въ родную глубь спѣшать ручьи.

И между тѣмъ какъ, полусонный,
Нашъ дольний міръ, лишенный силъ,
Проникнуть нѣгой благовонной,
Во мглѣ полуденной почилъ, —

Горѣ, какъ божества родныя
Надъ усыпленною землею,
Играютъ выси ледяныя
Съ лазурью неба огневой.

VI.

Утро въ горахъ.

Назурь небесная смѣется,
Ночной омытая грозой,
И между горъ росисто вьется
Долина свѣтлой полосой.

Лишь высшихъ горъ до половины
Туманы покрываютъ скать,
Какъ бы воздушныя руины
Волшебствомъ созданныхъ палатъ.

VII.

Весеннее успокоеніе.

О, не кладите меня
Въ землю сырую:
Скройте, заройте меня
Въ траву густую.
Пускай дыханье вѣтерка
Шевелить травкою,
Свирѣль поетъ издалека,
Свѣтло и тихо облака
Плывутъ надо мною.

VIII.

Яркій снѣгъ сіялъ въ долину:
Снѣгъ растаялъ и ушелъ;
Вешній злакъ блеститъ въ равнинѣ, —
Злакъ увянетъ и уйдетъ.

А который вѣкъ бѣлѣтъ
Тамъ, на высяхъ снѣговыхъ?
А заря и нынѣ сѣтъ
Розы свѣжія на нихъ!.....

IX.

Ночные голоса.

Како сладко дремлетъ садъ темнозеленый,
Объятый нѣгой ночи голубой;
Сквозь яблони, цвѣтами убѣлённой.
Како сладко свѣтитъ мѣсяцъ золотой!

Таинственно, како въ первый день созданья,
Въ бездонномъ небѣ звѣздный сонмъ горить;
Музыки бальной слышны восклицанья,
Сосѣдній ключъ слышнѣе говорить.

На мѣръ дневной спустилася завѣса;
Изамогло движеніе, трудъ уснулъ;
Надъ спящимъ градомъ, како въ вершинахъ лѣса,
Проснулся чудный, еженочный гуль...

Откуда онъ, сей гулъ непостижимый?
Иль смертныхъ думъ, освобожденныхъ сномъ,
Міръ безтѣлесный — слышимый, но незримый —
Теперь роится въ хаосѣ ночномъ?...

Х.

Безсонница.

Часовъ однообразный бой,
Томительная ночи повѣсть!
Языкъ для всѣхъ равно чужой
И внятный каждому какъ совѣсть!

Кто безъ тоски внималъ изъ насъ,
Среди всемірнаго молчанья,
Глухія времени стenanья,
Пророчески прощальный гласъ?

Намъ мнится: міръ осиротѣлый
Неотразимый рокъ настигъ,
И мы, въ борьбѣ съ природой цѣлой,
Покинуты на насъ самихъ;

И наша жизнь стоитъ предъ нами,
Какъ призракъ на краю земли,
И съ нашимъ вѣкомъ и друзьями
Блѣднѣетъ въ сумрачной дали.

И новое, младое племя
Межъ тѣмъ на солнцѣ разцвѣло,
А насъ, друзья, и наше время
Давно забвеньемъ занесло!

Лишь изрѣдка, обрядъ печальный
Свершая въ полуночный часъ,
Металла голосъ погребальный
Порой оплакиваетъ насъ!

— — — — —

XI.

Нѣтъ, моего къ тебѣ пристрастья
Я скрыть не въ силахъ, мать земля!
Духовъ безплотныхъ сладострастья,
Твой вѣрный сынъ, не жажду я.
Что предъ тобой утѣха рая, —
Пора любви, пора весны.
Цвѣтущее блаженство мая,
Румяный свѣтъ, златые сны?

Весь день, въ бездѣйствіи глубокомъ,
Весенній теплый воздухъ пить,
На небѣ чистомъ и высокомъ
Порою облака слѣдить;
Бродить безъ дѣла и безъ цѣли
И, ненарокомъ, на лету,
Набрести на свѣжій духъ синели
Или на свѣтлую мечту!

XII.

Вчера, въ мечтахъ обвороженныхъ,
Съ послѣднимъ мѣсяца лучомъ
На вѣждахъ томно-озаренныхъ,
Ты позднимъ позабылась сномъ.

Утихло вокругъ тебя молчанье,
И тѣнь нахмурилась темнѣй,
И груди ровное дыханье
Струилось въ воздухѣ слышнѣй.

Но сквозь воздушный завѣсъ оконъ
Недолго лился мракъ ночной,
И твой взвѣвая сонный локонъ
Игралъ съ незримою мечтой.

Вотъ тихоструйно, тиховѣйно,
Какъ вѣтеркомъ занесено,
Дымно-легко, мгlisto-лилейно
Вдругъ что-то порхнуло въ окно.

Вотъ невидимкой пробѣжало
По темно-брежжущимъ коврамъ,
Вотъ, ухватясь за одѣяло,
Взбираться стало по краямъ;

Вотъ, словно змѣйка извиваясь,
Оно на ложе взобралось,
Вотъ, словно лента развѣваясь,
Межъ пологамъ развилося.

Вдругъ животрепетнымъ сіяньемъ
Коснувшись персей молодыхъ,
Румянымъ, громкимъ восклицаньемъ
Раскрыло шелкъ рѣсницъ твоихъ!

XIII.

Ты зналъ его въ кругу большаго свѣта:
То своенравно весель, то угрюмъ,
Разсѣянъ, дикъ иль полонъ тайныхъ думъ, —
Таковъ поэтъ — и ты презрѣлъ поэта!

На мѣсяцъ взглянь: весь день какъ облакъ тощій,
Онъ въ небесахъ едва не изнемогъ;
Настала ночь, и свѣтозарный богъ,
Сіяетъ онъ надъ усыпленной рощей!

XIV.

Безуміе.

Тамъ, гдѣ съ землею обгорѣлой
Слился, какъ дымъ, небесный сводъ,
Тамъ въ беззаботности веселой
Безумье жалкое живетъ.

Подъ раскаленными лучами,
Зарывшись въ пламенныхъ пескахъ,
Оно стеклянными очами
Чего-то ищетъ въ облакахъ.

То вспрянетъ вдругъ, и, чуткимъ ухомъ
Припавъ къ растреснувшей землѣ,
Чему-то внемлетъ жаднымъ слухомъ
Съ довольствомъ тайнымъ на челѣ.

И мнить, что слышать струй кипѣнье,
Что слышать токъ подземныхъ водъ,
И колыбельное ихъ пѣнье
И шумный изъ земли исходъ!.. —

XV.

Изъ края въ край, изъ града въ градъ
Судьба, какъ вихрь, людей мятеть,
И радъ ли ты, или не радъ,
Что нужды ей?... впередъ, впередъ!

Знакомый звукъ намъ вѣтръ принесъ :
Любви послѣднее прости...
За нами много, много слезъ,
Туманъ, безвѣстность впереди!

«О оглянися, о постой,
Куда бѣжать, зачѣмъ бѣжать?
Любовь осталась за тобой;
Гдѣ-жъ въ мірѣ лучшаго сыскать?»

«Любовь осталась за тобой,
Въ слезахъ, съ отчаяньемъ въ груди...
О сжался надъ своей тоской,
Свое блаженство пощади!»

«Блаженство столькохъ, столькохъ дней
Себѣ на память приведи...
Все милое душѣ твоей
Ты покидаешь на пути»...

— Не время выкликать тѣней,
И такъ ужъ этотъ мраченъ часъ!
Усопшихъ образъ тѣмъ страшнѣй,
Чѣмъ въ жизни былъ милѣй для насъ.

Изъ края въ край, изъ града въ градъ
Могучій вихрь людей мятетъ,
И радъ ли ты, или не радъ,
Не спросить онъ... впередъ, впередъ!

XVI.

Сижу задумчивъ и одинъ,
На потухающій каминъ
Сквозь слезъ гляжу,
Съ тоскою мыслю о быломъ
И словъ, въ уныніи моемъ.
Не нахожу.

Былое — было ли когда?
Что нынѣ — будетъ ли всегда?
Оно пройдетъ.
Пройдетъ оно, какъ все прошло,
И канетъ въ темное жерло
За годомъ годъ.

За годомъ годъ, за вѣкомъ вѣкъ...
Что-жъ негодуетъ человѣкъ,
Сей знакъ земной!...
Онъ быстро, быстро вянетъ... Такъ,
Но съ новымъ лѣтомъ новый знакъ
И листъ иной!

И снова будетъ все что есть,
И снова розы будутъ цвѣсть,
И терны тожъ...
Но ты, мой бѣдный, блѣдный цвѣтъ,
Тебѣ ужъ возрожденья нѣтъ:
Не разцвѣтешь!

Ты сорванъ былъ моею рукой,
Съ какимъ блаженствомъ и тоской
То знаетъ Богъ!...
Останься-жъ на груди моей,
Пока любви не замеръ въ ней
Послѣдній вздохъ!

XVII.

Какое дикое ущелье!
Ко мнѣ на встрѣчу ключъ бѣжить:
Онъ въ домъ спѣшить на новоселье,
Я лѣзу вверхъ, гдѣ ель стоять.

Вотъ взобрался я на вершину,
Сижу здѣсь радостенъ и тихъ...
Ты къ людямъ, ключъ, спѣшишь въ долину:
Попробуй — каково у нихъ!

- - - - -

XVIII.

Осенній вечеръ.

Есть въ свѣтлости осеннихъ вечеровъ
Умильная, таинственная прелесть...
Зловѣщій блескъ и пестрота дерѣвъ,
Багряныхъ листьевъ томный, легкій шелестъ.
Туманная и тихая лазурь
Надъ грустно сиротѣющей землею,
И, какъ предчувствіе сходящихъ бурь,
Порывистый, холодный вѣтръ порою.
Ущербъ, изнеможенъе, и на всемъ
Та кроткая улыбка увяданья,
Что въ существѣ разумномъ мы зовемъ
Возвышенной стыдливостью страданья.

XIX.

Въ душномъ воздухѣ молчанье
Какъ предчувствіе грозы.
Жарче розъ благоуханье,
Звонче голосъ стрекозы.

Чу! за бѣлой душевной тучей
Прокатился глухо громъ;
Небо молніей летучей
Опоясалось кругомъ...

Жизни нѣкій преизбытокъ
Въ знойномъ воздухѣ разлить,
Какъ божественный напитокъ
Въ жилахъ млѣть и горить!

Дѣва, дѣва, что волнуешь
Дымку персей молодых?
Что мутится, что тоскуешь
Влажный блескъ очей твоихъ?

Что, блѣднѣя, замираешь
Пламя дѣвственныхъ ланить?
Что такъ грудь твою спираешь
И уста твои палить?

Сквозь рѣсницы шелковыя
Проступили двѣ слезы.....
Иль то капли дождевыя
Зачинающей грозы...

XX.

Странникъ.

Угодеиъ Зевсу бѣдный странникъ,
Надъ нимъ святой его покровъ!
Домашнихъ очаговъ изгнанникъ,
Онъ гостемъ сталъ благихъ боговъ!

Сей дивный міръ, ихъ рукъ созданье,
Съ разнообразіемъ своимъ,
Лежитъ развитый передъ нимъ,
Въ утѣху, пользу, въ назиданье.

Чрезъ веси, грады и поля,
Свѣтлѣя, стелется дорога;
Ему отверста вся земля,
Онъ видитъ все и славить Бога!

XXI.

Не вѣрь, не вѣрь поэту!

Не вѣрь, не вѣрь поэту, дѣва!

Его своимъ ты не зови,
И пуще пламеннаго гнѣва
Страшись поэтовой любви!

Его ты сердца не усвоишь
Своей младенческой душой,
Огня палящаго не скроешь
Подъ легкой дѣвственной фатой.

Поэтъ всеиленъ, какъ стихія, —
Не властенъ лишь въ себѣ самомъ:
Невольно кудри молоды
Онъ обожжетъ своимъ вѣнцомъ...

Вотще поносить или хвалить
Поэта — суетный народъ:
Онъ не змѣею сердце жалить,
Но какъ пчела его сосеть!

Твоей святыни не нарушить
Поэта чистая рука,
Но ненарокомъ жизнь задушить
Иль унести за облака.

XXII.

Вечеръ.

Какъ тихо вѣтъ надъ долиной
Далекій колокольный звонъ, —
Какъ шорохъ стая журавлиной —
И въ шумѣ листьевъ замеръ онъ.

Какъ море вешнее въ разливѣ,
Свѣтлѣя, не колышетъ день, —
И торопливѣй, молчаливѣй
Ложится по долинѣ тѣнь.

1825

XXIII.

Весна.

Зима не даромъ злится :
Прошла ея пора ;
Весна въ окно стучится
И гонить со двора.

И все засуетилосьъ,
Все гонить зиму вонъ,
И жаворонки въ небѣ
Ужъ подняли трезвонъ.


Зима еще хлопочетъ
И на весну ворчитъ,
Та ей въ глаза хохочетъ
И пуще лишь шумить !

Взбѣсилась вѣдьма злая
И, снѣгу захвата,
Пустила, убѣгая,
Въ прекрасное дитя.

Веснѣ и горя мало:
Умылася въ снѣгу,
И лишь румянѣй стала
На переборъ врагу.

XXIV.

Конь морской.

 , рыяный конь, о конь морской,
Съ блѣдно-зеленой гривой,
То смирный, ласково-ручной,
То бѣшено игривый!
Ты буйнымъ вихремъ вскормленъ былъ
Въ широкомъ Божьемъ полѣ,
Тебя онъ прядать научилъ,
Играть, скакать по волѣ!

Люблю тебя, когда стремглавъ
Въ своей надменной силѣ,
Густую гриву растрепавъ,
И весь въ пару и въ мылѣ,
Къ брегамъ направивъ бурный бѣгъ,
Съ веселымъ ржаньемъ мчишься,
Копыта кинешь въ звонкій берегъ
И въ брызги разлетишься!...

XXV.

Декабристамъ.

Вась развратило самовластье,
И мечъ его васъ поразилъ,
И въ неподкупномъ безпристрастьи
Сей приговоръ законъ скрѣпилъ.

Народъ, чуждаясь вѣроломства,
Поносить ваши имена,
И ваша память для потомства,
Какъ трупъ въ землѣ, схоронена.

О жертвы мысли безразсудной!
Вы уповали, можетъ быть,
Что станетъ вашей крови скудной,
Чтобъ вѣчный полюсъ растопить.

Едва дымясь, она сверкнула
На вѣковой громадѣ льдовъ:
Зима желѣзнаядохнула,
И не осталось и слѣдовъ.

1826.

XXVI.

Послание къ А. В. Ш...бу.

На-силу добрый гений твой,
Мой братъ по крови и по лѣни,
Увелъ тебя подъ кровъ родной
Отъ всѣхъ манёвровъ и учений,
Казармъ, тревогъ и заточений,
Отъ жизни мирно-боевой.
Въ кругу своихъ, въ халатѣ, дома,
И съ службой согласивъ покой,
Ты праздный мечъ повѣсилъ свой
Въ саду героя-агронома.
Но что-жь? Ты могъ ли на просторѣ
Мечтѣ любимой измѣнить?
Ты знаешь, братъ, что праздность — горе,
Коль не съ кѣмъ намъ ее дѣлить.
Прими-жь мой дружескій совѣтъ —
(Оракулъ говорилъ стихами

И убождалъ, бывало, свѣтъ):
Между московскими красами
Найти легко, сомнѣнья нѣтъ,
Красавицу въ пятнадцать лѣтъ,
Съ умомъ, душою и душами.
Оставь на время плугъ Толстаго,
Забудь химеры и чины,
Женись, — и въ полномъ смыслѣ слова
Будь адъютантъ своей жены.
Тогда предайся вдохновенью,
Разбудить Музу Гименей, —
Своей пожертвую я лѣнью,
Лишь ты свою преодолѣй!

1826.

XXVII.

Въ дóрогѣ.

Здѣсь, гдѣ такъ вяло сводъ небесный
На землю тощую глядитъ,
Здѣсь, погрузившись въ сонъ желѣзный,
Усталая природа спитъ.
Лишь кой-гдѣ блѣдныя березы,
Кустарникъ мелкій, мохъ сѣдой,
Какъ лихорадочныя грезы,
Смущаютъ мертвенный покой.

XXVIII.

Я помню время золотое,
Я помню сердцу милый край...
День вечерѣлъ. Мы были двое,
Внизу, въ тѣни, шумѣлъ Дунай;

И на холму, тамъ, гдѣ бѣлѣя,
Руина зѣмка вдаль глядитъ,
Стояла ты, младая фея,
На мшистый опершись гранитъ.

Ногой младенческой касаясь
Обломковъ груди вѣковой...
И солнце медлило, прощаясь
Съ холмомъ, и съ зѣмкомъ, и съ тобой.

И вѣтеръ тихій мимолетомъ
Твоей одеждою игралъ
И съ дикихъ яблонь цвѣтъ за цвѣтомъ
На плечи юныя свѣвалъ.

Ты беззаботно вдаль глядѣла...
Край неба дымно гасъ въ лучахъ;
День догоралъ; звучнѣе пѣла
Рѣка въ померкшихъ берегахъ.

И ты, съ веселостью безпечной,
Счастливымъ провожала день...
И сладко жизни быстротечной
Надъ нами пролетала тѣнь.

1827.

XXIX.

Какъ надъ горячею золой
Дымится свитокъ и сгараеть,
И огонь, сокрытый и глухой,
Слова и строки пожираеть, —

Такъ грустно тлится жизнь моя —
И съ каждымъ днемъ уходитъ дымомъ —
Такъ постепенно гасну я
Въ однообразьи нестерпимомъ...

О небо, еслибы хоть разъ
Сей пламень развился по волѣ,
И не томясь, не мучась долѣ,
Я просіялъ бы и погасъ!

XXX.

Двумъ сестрамъ.

Объихъ васъ я видѣлъ вмѣстѣ,
И всю тебя узналъ я въ ней:
Та-жъ тихость взора, нѣжность гласа,
Та-жъ прелесть утренняго часа,
Что вѣяла съ главы твоей!
И все, какъ въ зеркалѣ волшебномъ,
Все обозначилося вновь:
Минувшихъ дней печаль и радость,
Твоя утраченная младость,
Моя погибшая любовь!

XXXI.

Востокъ бѣлѣлъ... Ладья катилась,
Вѣтрило весело звучало!
Какъ опрокинутое небо
Подъ нами море трепетало.

Востокъ алѣлъ... Она молилась,
Съ кудрей откинувъ покрывало,
Дышала на устахъ молитва,
Во взорахъ небо ликovalo...

Востокъ вспыхнулъ... Она склонилась,
Блестящая поникла вя,
И по младенческимъ ланитамъ.
Струились капли огневая...

XXXII.

Арфа скальда.

О, арфа скальда, долго ты спала
Въ тѣни, въ тиши забытаго угла;
Но лишь луны, очаровавшей мглу,
Лазурный свѣтъ блеснулъ въ твоємъ углу,
Вдругъ, чудный звонъ затрепеталъ въ струнѣ,
Какъ бредъ души, встревоженной во снѣ.

Какой онъ жизнью на тебядохнулъ?
Иль старину тебѣ онъ вспомянулъ,
Какъ по ночамъ здѣсь сладострастныхъ дѣвъ
Давноминувшій вторился напѣвъ?
Иль въ сихъ цвѣтущихъ и поднесъ садахъ
Ихъ легкихъ ногъ скользить незримый шагъ?

XXXIII.

Cache-cache.

Вотъ арфа ея въ обыкновенъ углу,
Гвоздики и розы стоятъ у окна,
Полуденный лучъ задремалъ на полу:
Условное время! Но гдѣ же она?

О, кто мнѣ поможетъ шалунью сыскать,
Гдѣ, гдѣ пріютилась сильфида моя?
Волшебную близость, какъ бы благодать
Разлитую въ воздухъ, чувствую я.

Гвоздики не даромъ лукаво глядятъ,
Не даромъ, о розы, на вашихъ листахъ
Жарчѣе румянецъ. свѣжѣй ароматъ:
Я понялъ, кто скрылся, зарылся въ цвѣтахъ.

Не арфы-ль твоей мнѣ слышался звонъ?
Въ струнахъ ли мечтаешь укрыться златыхъ?
Металль содрогнулся, тобой оживленъ,
И сладостный трепетъ еще не затихъ.

Какъ пляшутъ пылинки въ полдневныхъ лучахъ
Какъ искры живыя въ родимомъ огнѣ!
Видалъ я сей пламень въ знакомыхъ очахъ,
Его упоенье извѣстно и мнѣ.

Влетѣлъ мотылекъ и съ цвѣтка на другой,
Притворно-безпечный, онъ началъ порхать.
О, полно кружиться, мой гость дорогой!
Могу ли, воздушной, тебя не узнать?

XXXIV.

Листья.

Пусть сосны и ели
Всю зиму торчатъ,
Въ снѣга и мятели
Закутавшись спать.
Ихъ тощая зелень,
Какъ иглы ежа,
Хоть вѣкъ не желтѣетъ,
Но вѣкъ не свѣжа.

Мы-жь, легкое племъ,
Цвѣтемъ и блестимъ,
И краткое время
На сучьяхъ гостимъ.
Все красное лѣто
Мы были въ красѣ,
Играли съ лучами,
Купались въ росѣ!...

Но птички отпѣли,
Цвѣты отцвѣли,
Луга поблѣднѣли,
Зефиры ушли.
Такъ что же намъ даромъ
Висѣть и желтѣть?
Не лучше-ль за ними
И намъ улетѣть?

О буйные вѣтры,
Скорѣе, скорѣй!
Скорѣй насъ сорвите
Съ докучныхъ вѣтрей!
Сорвите, умчите,
Мы ждать не хотимъ, —
Летите, летите!
Мы съ вами летимъ!

XXXV.

Оей день, я помню, для меня
Быль утромъ жизненнаго дня:
Стояла молча предъ мною,
Вздыхалась грудь ея волною,
Алѣли щеки какъ заря,
Все жарче рдѣя и горя...
И вдругъ, какъ солнце молодое,
Любви признанье золотое
Исторглося изъ груди ея,
И новый міръ увидѣлъ я!

XXXVI.

Сонъ на морѣ.

И море и буря качали нашъ челнъ;
Я сонный, былъ преданъ всей прихоти волнъ;
И двѣ безпредѣльности были во мнѣ —
И мной своевольно играли онѣ.
Кругомъ, какъ кимвалы, звучали скалы,
И вѣтры свистѣли, и пѣли валы.
Я въ хаосѣ звуковъ леталъ оглушенъ;
Надъ хаосомъ звуковъ носился мой сонъ.
Болѣзненно-яркій, волшебнo-нѣмой,
Онъ вѣялъ легко надъ гремящею тьмой,
Въ лучахъ огневицы развилъ онъ свой міръ,
Земля зеленѣла, свѣтился эфиръ...
Сады, лабиринты, чертоги, столпы...
И чудился шорохъ несмѣтной толпы.
Я много узналъ мнѣ невѣдомыхъ лицъ,
Зрѣлъ тварей волшебныхъ, таинственныхъ птицъ,

По высямъ творенья я гордо шагаль,
И міръ подо мною недвижно сіялъ...
Сквозь грёзы, какъ дикій волшебника вой,
Лишь слышался грохотъ пучины морской,
И въ тихую область видѣній и сновъ
Врывались тѣни ревущихъ валовъ.

— — — — —

XXXVII.

Видѣніе.

Есть нѣкій часъ всемірнаго молчанья,
И въ оный часъ явленій и чудесъ...
Живая колесница мірозданья
Открыто катится въ святилищѣ небесъ!

Тогда густѣетъ ночь, какъ хаосъ на водахъ.
Безпамятство, какъ Атласъ, давитъ сушу;
Лишь Музы дѣвственную душу
Въ пророческихъ тревожатъ боги снахъ!

XXXVIII.

Лебедь.

Ирускай орель за облаками
Встрѣчаетъ молніи полеть,
И неподвижными очами
Въ себя вливаетъ солнца свѣтъ.

Но нѣтъ завиднѣе удѣла,
О, лебедь чистый, твоего!
И чистой, какъ ты самъ, одѣло
Тебя стихіей Божество.

Она между двойною бездной
Лелѣетъ твой всезрящій сонъ,
И полной славой тверди звѣздной
Ты отовсюду окружень.

XXXIX.

Еще земли печаленъ видъ,
А воздухъ ужъ весною дышетъ —
И мертвый въ полѣ стебель колышетъ
И елей вѣтви шевелить.

Еще природа не проснулась,
Но сквозь рѣдѣющаго сна
Весну прослышала она
И ей невольно улынулась.

Душа, душа, спала и ты...
Но что же, вдругъ, тебя волнуетъ,
Твой сонъ ласкаетъ и цѣлуетъ
И золотитъ твои мечты?

Блестятъ и таютъ глыбы снѣга,
Блеститъ лазурь, играетъ кровь...
Или весенняя то нѣга?
Или то женская любовь?

. . . — . . .

XL.

Какъ океанъ объемлетъ шаръ земной
Земная жизнь кругомъ объята снами,
Настанетъ ночь, и звучными волнами
Стихія бьеть о берегъ свой.

То гласъ ея: онъ нудить насъ и просить,
Ужъ въ пристани волшебный ожилъ чолнъ...
Приливъ растеть и быстро насъ уносить
Въ неизмѣримость темныхъ волнъ.

Небесный сводъ, горящій славой звѣздной
Таинственно глядитъ изъ глубины,
И мы плывемъ, пылающею бездной
Со всѣхъ сторонъ окружены.

XLI.

Сумерки.

Тѣни сизыя смѣсились,
Цвѣтъ поблекнулъ, звукъ уснулъ, —
Жизнь, движеніе разрѣшились
Въ сумракъ зыбкій, въ дальный гулъ...
Мотылька полетъ незримый
Слышенъ въ воздухѣ nocturnъ...
Часъ тоски невыразимой!
Все во мнѣ — и я во всемъ!...

Сумракъ тихій, сумракъ сонный,
Лейся въ глубь моей души,
Тихій, томный, благовонный,
Все залей и утиши.
Чувства — мглой самозабвенья
Переполни черезъ край,
Дай вкусить уничтоженья,
Съ міромъ дремлющимъ смѣшай.

XLII.

Еще шумѣлъ веселый день,
Толпами улица блистала,
И облаковъ вечернихъ тѣнь
По свѣтлымъ кровлямъ пролетала.

И доносилися порой
Всѣ звуки жизни благодатной,
И все въ одинъ сливалось строй, —
Строй звучный, шумный и невнятной.

Весенней нѣгой утомленъ,
Я впалъ въ невольное забвенье.
Не знаю, дологъ ли былъ сонъ,
Но странно было пробужденье.



Затихъ повсюду шумъ и гамъ
И воцарилось молчанье;
Ходили тѣни по стѣнамъ,
И полусонное мерцанье;

Украдкою въ мое окно
Глядѣло блѣдное свѣтило,
И мнѣ казалось, что оно
Мою дремоту сторожило.

И мнѣ казалось, что меня
Какой-то миротворный геній
Изъ пышно-золотого дня
Увлекъ незримо въ царство тѣней.

XLIII.

Какъ птичка раннею зарей,
Миръ, пробудившись, встрепенулся...
Ахъ, лишь одной главы моей
Сонъ благодатный не коснулся!
Хоть свѣжестъ утрення вѣтъ
Въ моихъ всклокоченныхъ власахъ.
На мнѣ, я чую, тяготѣтъ
Вчерашній зной. вчерашній прахъ!

О, какъ пронзительны и дики,
Какъ ненавистны для меня —
Сей шумъ, движенъе, говоръ, клики
Младаго, пламеннаго дня!
О, какъ лучи его багровы,
Какъ жгутъ они мои глаза!
Ночь, ночь! о, гдѣ твои покровы.
Твой тихій сумракъ и роса?...

Обломки старыхъ поколѣній,
Вы, пережившіе свой вѣкъ,
Какъ вашихъ жалобъ, вашихъ пеней
Неправый праведенъ упрекъ!
Какъ грустно полусонной тѣнью,
Съ изнеможеніемъ въ кости,
На встрѣчу солнцу и движенью
За новымъ племенемъ брести!

XLIV.

Въ толпѣ людей, въ нескромномъ шумѣ дня,
Порой мой взоръ, движенья, чувства, рѣчи,
Твоей не смѣютъ радоваться встрѣчѣ,
Душа моя, о не вини меня!

Смотри, какъ днемъ туманисто-бѣло
Чуть брежжетъ въ небѣ мѣсяцъ свѣтозарный,
Наступить ночь и въ чистое стекло
Вольетъ елей душистый и янтарный!

XLV.

Когда пробьетъ послѣдній часъ природы,
Разрушится составъ частей земныхъ:
Все зримое опять покроютъ воды,
И Божій ликъ изобразится въ нихъ.

XLVI.

Лѣтній вечеръ.

Ужъ солнца раскаленный жаръ
Съ главы своей земля скатила,
И мирный вечера пожаръ
Волна морская поглотила.

Ужъ звѣзды свѣтлыя взошли,
И тяготѣющій надъ нами
Небесный сводъ приподняли
Своими влажными главами.

Рѣка воздушная полнѣй
Течетъ межъ небомъ и землею;
Грудь дышетъ легче и вольнѣй
Освобожденная отъ зною.

И сладкій трепеть, какъ струя,
По жиламъ пробѣжалъ природы,
Какъ бы горячихъ ногъ ея
Коснулись ключевыя воды!

1827.

XLVII.

Венеція.

Дожь Венеціи свободной
Средь лазоревыхъ зыбей,
Какъ женихъ порфирородный
Достославно, всенародно
Обручался ежегодно
Съ Адриатикой своей.

И не даромъ въ эти воды
Онъ кольцо свое бросалъ:
Вѣки цѣлые, не годы,
Дивовалися народы...
Чудный перстень воеводы
Ихъ вязалъ и чаровалъ.

И чета въ любви и мирѣ
Много славы нажила.
Вѣка три или четыре,
Все могучѣе и шире,
Разросталась въ цѣломъ мірѣ
Тѣнь отъ львиного крыла.

А теперь въ волнахъ забвенья
Сколько брошенныхъ колецъ!
Миновались поколѣнья,
Эти кольца обрученья,
Эти кольца стали звенья
Тяжкой цѣпи наконецъ!

XLVIII.

Вечерь мгlistый и ненастный...
Чу! не жаворонка-ль гласъ?
Ты-ли утра гость прекрасный,
Въ этотъ поздній, мертвый часъ?

Гибкій, рѣзвй, звучно-ясный,
Въ этотъ мертвый, поздній часъ,
Какъ безумья смѣхъ ужасный,
Онъ всю душу мнѣ потрясъ!

XLIX.

Не то что мните вы, природа —
Не слѣпокъ, не бездушный ликъ:
Въ ней есть душа, въ ней есть свобода,
Въ ней есть любовь, въ ней есть языкъ.

Вы зрите листь и цвѣтъ на дровѣ:
Иль ихъ садовникъ приклеилъ?
Иль зрѣтъ плодъ въ родимомъ чревѣ
Игрою внѣшнихъ чуждыхъ силъ?

Они не видятъ и не слышатъ,
Живутъ въ семъ мірѣ какъ въ потьмахъ,
Для нихъ и солнца, знатъ, не дышатъ
И жизни нѣтъ въ морскихъ волнахъ.

Лучи къ нимъ въ душу не сходили,
Весна въ груди ихъ не цвѣла,
При нихъ лѣса не говорили
И ночь въ звѣздахъ нѣма была,

И, языками неземными
Волнуя рѣки и лѣса,
Въ ночи не совѣщалась съ ними
Въ бесѣдѣ дружеской гроза.

Не ихъ вина: пойми, коль можетъ,
Органа жизнь, глухо-нѣмой!
Увы, души въ немъ не встревожить
И голосъ матери самой!

1829.

L.

Римъ ночью.

Въ ночи лазурной почиваетъ Римъ.
Взошла луна и овладѣла имъ,
И спящій градъ, безлюдно-величавый,
Наполнила своей безмолвной славой...
Какъ сладко дремлетъ Римъ въ ея лучахъ,
Какъ съ ней сроднился Рима вѣчный прахъ!
Какъ будто лунный міръ и градъ почившій,
Все тотъ же міръ, волшебный, но отжившій!...

LI.

Весна.

1.

Какъ ни гнететь рука судьбины.
Какъ ни томить людей обманъ,
Какъ ни браздятъ чело морщины,
И сердце какъ ни полно ранъ,
Какимъ бы строгимъ испытаньямъ
Вы ни были подчинены, —
Что устоитъ передъ дыханьемъ
И первой встрѣчею весны?

2.

Весна — она о васъ не знаетъ,
О васъ, о горѣ и о злѣ;
Безсмертьемъ взоръ ея сіяетъ.
И ни морщины на челѣ...

Своимъ законамъ лишь послушна,
Въ условный часъ слетаетъ къ намъ,
Свѣтла, блаженно-равнодушна,
Какъ подобаетъ божествамъ.

3.

Цвѣтами сыплеть надъ землею,
Свѣжа, какъ первая весна:
Была-ль другая передъ нею —
О томъ не вѣдаетъ она.
По небу много облакъ бродить,
Но эти облака ея:
Она ни слѣду не находитъ
Отцвѣтшихъ весенъ бытія.

4.

Не о быломъ вздыхаютъ розы
И соловей въ ночи поетъ;
Благоухающія слезы
Не о быломъ Аврора льетъ;
И страхъ кончины неизбежной
Не свѣтъ съ древа ни листа;
Ихъ жизнь, какъ океанъ безбрежный
Вся въ настоящемъ разлита.

5.

Игра и жертва жизни частной,
Приди-жь, отвергни чувствъ обманъ
И ринься, бодрый, самовластный,
Въ сей животворный океанъ !
Приди — струей его эфирной
Омой страдальческую грудь
И жизни божески — всемірной
Хотя на мигъ причастенъ будь !

1829.

ЛП.

Друзьямъ.

При послыжѣ пѣсни «Радости» Шиллера.

Что пѣлъ Божественный, друзья,
Въ порывѣ пламенномъ свободы,
И въ полномъ чувствѣ Бытія,
Когда на пиршество Природы
Пѣвецъ, любимый сынъ ея,
Сзывалъ въ единый кругъ народы;
И съ восхищенною душой
Во взорахъ — лучъ животворящій —
Изъ чаши Генія кипящей
Онъ пилъ за здравіе людей:

О! мнѣ-ли пѣть сей Гимнъ веселой,
Отъ близкихъ сердцу вдалекѣ,
Въ нераздѣляемой тоскѣ —
Мнѣ-ль радость пѣть на лирѣ онѣмѣлой?

Веселье въ ней не сыщеть звука,
Его игривая струна
Слезами скорби смочена, —
И порвала ее Разлука!

Но вамъ, друзья, знакомо вдохновенье!
— На краткій мигъ въ сердечномъ упоеньѣ
Я жребій свой невольно забывалъ,
(Минутное, но сладкое забвенье!)
Къ протекшему душою улетаю,
И радость пѣлъ — пока о васъ мечталъ. —

1829.

ЛІІІ.

Песокъ сыпучій по колѣни...
Мы ѣдемъ... поздно... меркнетъ день,
И сосенъ по дорогѣ тѣни
Уже въ одну слилися тѣнь.

Чернѣй и чаще боръ глубокій...
Какія грустныя мѣста!...
Ночь хмурая, какъ звѣрь стоокій,
Глядитъ изъ cadaго куста.

1830.

LIV.

Черезъ ливонскія я проѣзжалъ поля,
Вокругъ меня все было такъ уныло;
Безцвѣтный грунтъ небесъ, песчаная земля
Все на душу раздумье наводило.

Я вспомнилъ о быломъ печальной сей земли —
Кровавую и мрачную ту пору,
Когда сыны ея, простертые въ пыли,
Лобзали рыцарскую шпору.

И глядя на тебя, пустынная рѣка,
И на тебя, прибрежная дуброва,
Вы, — мыслилъ я — пришли издалика,
Вы, — сверстники сего былова!

Такъ вамъ однимъ лишь удалось
Дойти до насъ съ береговъ другого свѣта:
О, еслибъ про него хоть на одинъ вопросъ
Могъ допроситься я отвѣта!...

Но твой, природа, міръ о дняхъ былыхъ молчить,
Съ улыбкою двусмысленной и тайной:
Такъ отрокъ, чаръ ночныхъ свидѣтель бывъ случайной,
При нихъ и днемъ молчаніе хранить.

1830.

1

LV.

АЛПЫ.

Сквозь лазурный сумракъ ночи
Алпы снѣжныя глядятъ ;
Помертвѣлыя ихъ очи
Льдистымъ ужасомъ разятъ.
Властью нѣкой обаянны,
До восшествія зари,
Дремлютъ грозны и туманны,
Словно падшіе цари !

Но Востокъ лишь заалѣетъ,
Чарамъ гибельнымъ конецъ :
Первый, въ небѣ, просвѣтлѣетъ
Брата старшаго вѣнецъ.
И съ главы большаго брата
На меньшихъ бѣжитъ струя,
И блеситъ въ вѣнцахъ изъ злата
Вся воскресшая семья...

— — — — — 1830.

LVI.

Mal'Aria.

Люблю сей Божій гнѣвъ! Люблю сіе, незримо
Во всемъ разлитое, таинственное зло —
Въ цвѣтахъ, въ источникѣ прозрачномъ какъ стекло,
И въ радужныхъ лучахъ, и въ самомъ небѣ Рима!
Все тажъ высокая, безоблачная твердь,
Все также грудь твоя легко и сладко дышетъ,
Все тотъ же теплый вѣтръ верхи деревъ колышетъ,
Все тотъ же запахъ розъ... и это все есть смерть!

Какъ вѣдать? Можетъ быть и есть въ природѣ звуки,
Благоуханія, цвѣты и голоса —
Предвѣстники для насъ послѣдняго часа
И усладители послѣдней нашей муки.
И ими-то, судебъ посланникъ роковой,
Когда сыновъ земли изъ жизни вызываетъ
Какъ тканью легкою свой образъ прикрываетъ,
Да утаить отъ нихъ приходъ ужасный свой!

1830.

LVII.

На взятіе Варшавы.

Какъ дочь родную на закланье
Агамемнонъ богамъ принесть,
Прося попутныхъ бурь дыханья
У негодующихъ небесъ:
Такъ мы надъ горестной Варшавой
Ударъ свершили роковой,
Да купимъ сей цѣной кровавой
Россіи цѣлость и покой.

... Нѣтъ, насъ одушевляло къ бою
Не чревобѣсіе меча,
Не звѣрство Янычаръ ручное
И не покорность палача!

Другая мысль, другая вѣра
У русскихъ билася въ груди:
Грозой спасительною мѣра —
Державы цѣлость соблюсти:

Славянъ родныя поколѣнья
Подъ знамя Русское собрать
И вѣсть на подвигъ просвѣщенья
Единомысленную рать.

И это высшее сознанье
Вело нашъ доблестный народъ ;
Путей небесныхъ оправданье
Онъ смѣло на себя беретъ.
Онъ чуетъ надъ своей главою
Звѣзду въ незримой высотѣ,
И неуклонно за звѣздою
Идетъ къ таинственной метѣ.

Ты-жь, братскою стрѣлой пронзенный,
Судебъ свершая приговоръ,
Ты палъ, орелъ одноплеменный,
На очистительный костеръ !
Вѣрь слову Русскаго народа :
Твой пепелъ мы свято бережемъ,
И наша общая свобода,
Какъ фениксъ, возродится въ немъ !

LVIII.

Silentium.

Молчи, скрывайся и таи
И чувства, и мечты свои!
Пускай въ душевной глубинѣ
И всходятъ, и зайдутъ онѣ,
Какъ звѣзды ясныя въ ночи:
Любуйся ими и молчи.

Какъ сердцу высказать себя?
Другому какъ понять тебя?
Пойметъ ли онъ, чѣмъ ты живешь?
Мысль изреченная есть ложь.
Взрывая, возмутишь ключи:
Питайся ими и молчи!

Лишь жить въ самомъ себѣ умѣй!
Есть цѣлый міръ въ душѣ твоей
Таинственно-волшебныхъ думъ;
Ихъ заглушить наружный шумъ,
Дневные ослѣплять лучи:
Внимай ихъ пѣнью и молчи.

1831.

LIX.

На смерть Гёте.

На древѣ человѣчества высокомъ,
Ты лучшимъ былъ его листомъ,
Воспитанный его чистѣйшимъ сокомъ,
Развить чистѣйшимъ солнечнымъ лучомъ.

Съ его великою душою
Созвучнѣй всѣхъ, на немъ ты трепеталъ,
Пророчески бесѣдовалъ съ грозою
Иль весело съ зефирами игралъ.

Не позднѣй вихрь, не бурный ливень лѣтнѣй
Тебя сорвалъ съ родимаго сучка:
Былъ многихъ краше, многихъ долголѣтнѣй,
И самъ собою палъ — какъ изъ вѣнка.

1827.

LX.

Я люблю глаза твои, мой другъ,
Съ игрой ихъ пламенно-чудесной,
Когда ихъ приподымешь вдругъ
И словно молніей небесной
Окинешь бѣгло цѣлый кругъ...

Но есть сильнѣй очарованье:
Глаза потупленные ницъ
Въ минуты страстнаго лобзанья,
И сквозь опущенныхъ рѣсницъ
Угрюмый, тусклый огнь желанья...

LXI.

Оъ горы скатившись, камень легъ въ долину.
Какъ онъ упалъ, никто не знаетъ нынѣ.
Сорвался-ль онъ съ вершины самъ собой,
Или низвергнуть мыслящей рукой?
Столѣтье за столѣтьемъ пронеслося:
Никто еще не разрѣшилъ вопроса.

17 Янв. 1833.

LXII.

Тамъ, гдѣ горы, убѣгая,
Въ свѣтлой тянутся дали,
Пресловутаго Дуная
Льются вѣчныя струи.

Тамъ-то, молвятъ, въ стары годы,
По лазуревымъ ночамъ,
Фей вилися хороводы
Подъ водой и по водамъ.

Мѣсяцъ слушалъ, волны пѣли,
И, навѣсясь съ горъ крутыхъ,
Замки рыцарей глядѣли
Съ сладкимъ ужасомъ на нихъ.

И лучами не земными,
Заключенъ и одинокъ,
Перемигивался съ ними
Съ древней башни огонекъ.

Звѣзды въ небѣ имъ внимали,
Проходя за строемъ строй,
И бесѣду продолжали
Тихомолкомъ межъ собой.

Въ панцырь дѣдовскій закованъ,
Воинъ — сторожъ на стѣнѣ —
Слышалъ, тайно очарованъ,
Дальній гулъ какъ бы во снѣ.

Чуть дремотой забывался,
Гулъ яснѣлъ и грохоталъ...
Онъ съ молитвой просыпался
И дозоръ свой продолжалъ.

Все прошло, все взяли годы,
Поддался и ты судьбѣ,
О, Дунай, и пароходы
Нынче рыщутъ по тебѣ.

LXIII.

Тегернзе.

Я лютеранъ люблю богослуженье,
Обрядъ ихъ строгій, важный и простой;
Сихъ голыхъ стѣнъ, сей храмины пустой
Понятно мнѣ высокое ученье.

Но видите-ль? Собравшись въ дорогу,
Въ послѣдній разъ вамъ Вѣра предстоитъ:
Еще она не перешла порогу,
Но домъ ея ужъ пусть и голъ стоять;

Еще она не перешла порогу,
Еще за ней не затворилась дверь...
Но часъ насталъ, пробилъ... Молитесь Богу
Въ послѣдній разъ вы молитесь теперь...

1834.

LXIV.

Полдень.

Лѣниво дышетъ полдень мглистый,
Лѣниво катится рѣка,
И въ тверди пламенной и чистой
Лѣниво тають облака.

И всю природу, какъ туманъ,
Дремота жаркая объемлетъ,
И самъ теперь великій Панъ
Въ пещерѣ нимфъ спокойно дремлетъ.

LXV.

Могила Наполеона.

Душой весны природа ожила,
И блещетъ все въ торжественномъ покоѣ:
Лазурь небесъ и море голубое,
И дивная гробница и скала!
Древа кругомъ покрылись новымъ цвѣтомъ
И тѣни ихъ, средь общей тишины,
Чуть зыблются дыханіемъ волны
На мраморѣ, весною разогрѣтомъ...

Давно-ль умолкъ Перунъ его побѣдъ,
И гулъ отъ нихъ стоитъ доселѣ въ мірѣ...

.....
.....

И умъ людей великой тѣнью полнъ,
А тѣнь его, одна, на брегѣ дикомъ,
Чужда всему, внимаетъ шуму волнъ
И тѣшится морскихъ пернатыхъ крикомъ...

LXVI.

Потокъ сгустился и тускнѣетъ
И прячется подъ твердымъ льдомъ,
И гаснетъ цвѣтъ, и звукъ нѣмѣетъ
Въ оцѣпенѣнномъ ледяномъ.
Лишь жизнь безсмертную ключа
Сковать, всеильный хладъ не можетъ:
Она все льется и, журча,
Молчанье мертвое тревожитъ.

Такъ и въ груди осиротѣлой,
Убитой хладомъ бытія,
Не льется юности веселой,
Не блещетъ рѣзвая струя.
Но подо льдистою корой
Еще есть жизнь, еще есть ропотъ,
И внятно слышится порой
Ключа таинственнаго шопотъ.

LXVII.

Слезы.

O lacrimarum fons...
Gray.

Люблю, друзья, ласкать очами
Иль пурпуръ искрометныхъ вынъ,
Или плодовъ между листьями
Благоухающій рубинъ.

Люблю смотрѣть, когда созданье
Какъ бы погружено въ веснѣ.
И міръ заснулъ въ благоуханьѣ
И улыбается во снѣ!...

Люблю, когда лицо прекрасной
Весенній воздухъ пламенить,
То кудрей шелкъ взвѣваетъ сладострастный,
То въ ямочки вливается ланить!

Но что всё прелести пафосскія царицы
И гроздіѣ сокъ и запахъ розъ,
Передъ тобой, святой источникъ слёзъ,
Роса божественной денницы!...

Небесный лучъ играетъ въ нихъ
И, преломясь о капли огневья,
Рисуетъ радуги живыя
На тучахъ жизни громовыхъ.

И только смертнаго зениць
Ты, ангелъ слезъ, дотронешься крылами —
Туманъ разсѣется слезами,
И небо серафимскихъ лицъ
Вдругъ разовьется предъ очами.

LXVIII.

Оъ какою нѣгою, съ какой тоской влюбленный
Твой взоръ, твой страстный взоръ изнемогалъ на немъ!
Безмысленно-нѣма, нѣма какъ опаленный

Небесной молніи огнемъ,
Вдругъ, отъ избытка чувствъ, отъ полноты сердечной,
Вся трепеть, вся въ слезахъ, ты повергалась ницъ;
Но скоро добрый сонъ, младенчески-безпечный,

Сходилъ на шелкъ твоихъ рѣсницъ,
И на руки, къ нему глава твоя склонялась,
И матери нѣжнѣй тебя лелѣялъ онъ...
Стонъ замиралъ въ устахъ, дыханье уравнилось,

И тихъ, и сладокъ былъ твой сонъ...
А днесь... О, еслибы тогда тебѣ приснилось,
Что будущность для насъ обоихъ берегла...

Какъ уязвленная, ты-бъ съ воплемъ пробудилась
Иль въ сонъ иной бы перешла.

LXIX.

Что ты клонишь надъ водами
Ива, макушку свою
И дрожащими листьями,
Словно жадными устами,
Ловишь бѣглую струю?

Хоть томится, хоть трепещетъ
Каждый листъ твой надъ струей
Но струя бѣжитъ и плещетъ.
И, на солнцѣ нѣжась, блещетъ
И смѣется надъ тобой.

LXX.

Къ Н. Н.

Ты любишь, ты притворствовать умѣешь:
Когда въ толпѣ, украдкой отъ людей,
Моя нога касается твоей,
Ты мнѣ отвѣтъ даешь и не краснѣешь!...

Все тотъ же видъ разсѣянный, бездушный,
Движенье персей, взоръ, улыбка тажъ...
Межъ тѣмъ твой мужъ, сей ненавистный стражъ,
Любуется твоей красой послушной!

Благодаря и людямъ, и судьбѣ,
Ты тайнымъ радостямъ узнала цѣну,
Узнала свѣтъ... Онъ ставитъ намъ въ измѣну
Всѣ радости... Измѣна льститъ тебѣ...

Стыдливости румянецъ невозвратный,
Онъ улетѣлъ съ молодыхъ твоихъ ланить...
Такъ съ юныхъ розъ Авроры лучъ бѣжить
Съ ихъ чистою душою ароматной.

Но такъ и быть... въ палящій лѣтній зной
Лестнѣй для чувствъ, приманчивѣй для взгляда
Смотрѣть, въ тѣни, какъ въ кисти винограда
Сверкаетъ кровь сквозь зелени густой.

LXXI.

ФОНТАНЪ.

Смотри, какъ облакомъ живымъ
Фонтанъ сіяющій клубится,
Какъ пламенѣть, какъ дробится
Его на солнцѣ влажный дымъ.
Лучомъ поднявшись къ небу, онъ
Коснулся высоты завѣтной, —
И снова пылью огнецвѣтной
Ниспасть на землю осужденъ.

О, смертной мысли водометъ,
О, водометъ неистощимый!
Какой законъ непостижимый
Тебя стремить, тебя мятеть?
Какъ жадно къ небу рвешься ты!
Но длань незримо-роковая,
Твой лучъ упорный преломляя,
Свергаетъ въ брызгахъ съ высоты...

LXXII. .

Цицеронъ.

Ораторъ римскій говорилъ:
«Средь бурь гражданскихъ и тревоги,
Я поздно всталъ и на дорогъ
Застигнуть ночью Рима былъ!»
Такъ: но, прощаясь съ римской славой,
Съ Капитолійской высоты
Во всемъ величьи видѣлъ ты
Закатъ звѣзды его кровавой!...
Счастливъ, кто посѣтилъ сей мѣръ
Въ его минуты роковыя:
Его призвали Всеблагія,
Какъ собесѣдника на пиръ;
Онъ ихъ высокихъ зрѣлищъ зритель,
Онъ въ ихъ совѣтъ допущенъ былъ,
И заживо, какъ небожитель.
Изъ чаши ихъ безсмертье пилъ.

1837-1873.

I.

На смерть Пушкина.

Изъ чьей руки свинецъ смертельный
Поэту сердце растерзалъ!
Кто сей божественный фіалъ
Разрушилъ, какъ сосудъ скудельный?
Будь правъ или виновенъ онъ
Предъ нашей правдою землею,
На вѣкъ онъ вышею рукою
Въ «Цареубійцы» заклеименъ.

А ты, въ безвременную тьму
Вдругъ поглощенная со свѣта,
Миръ, миръ тебѣ, о тѣнь поэта,
Миръ свѣтлый праху твоему!...
На зло людскому суетловью,
Великъ и святъ былъ жребій твой:
Ты былъ боговъ органъ живой
Но съ кровью въ жилахъ... знойной кровью.

И сею кровью благородной
Ты жажду чести утолилъ
И оѣненный, опочилъ,
Хоругвью горести народной.
Вражду твою пусть Богъ разсудить,
Кто слышитъ пролитую кровь...
Тебя-жъ, какъ первую любовь,
Россіи сердце не забудеть!

29 Янв. 1837.

II.

Итальянская Вилла.

И распротѣсь съ тревогою житейской,
И кипарисной рощей заслонясь,
Блаженной тѣнью — тѣнью слисейской,
Она заснула въ добрый часъ.

И вотъ, тому ужъ вѣка два иль болѣ,
Волшебною мечтой ограждена,
Въ своей цвѣтущей опочивъ юдоли,
На волю неба предалась она.

Но небо здѣсь къ землѣ такъ благосклонно:
И много лѣтъ и теплыхъ южныхъ зимъ
Провѣяло надъ нею полу-сонной,
Не тронувши ея крыломъ своимъ.

По прежнему фонтанъ въ углу лепечеть,
Подъ потолкомъ гуляетъ вѣтерокъ,
И ласточка влетаетъ и щебечеть...
И спитъ она, и сонъ ея глубокъ.

И мы вошли: все было такъ спокойно,
Такъ все отъ вѣка мирно и темно!
Фонтанъ журчалъ; недвижимо и стройно
Сосѣдній кипарисъ глядѣлъ въ окно.

Вдругъ все смутилось: судорожный трепетъ
По вѣтвямъ кипариснымъ пробѣжалъ;
Фонтанъ замолкъ, и нѣкій чудный лепетъ
Какъ бы сквозь сонъ невнятно прошепталъ.

Что это, другъ! иль злая жизнь не даромъ, —
Та жизнь — увы! — что въ насъ тогда текла,
Та злая жизнь, съ ея мятежнымъ жаромъ,
Черезъ порогъ завѣтный перешла?

Дек. 1837.

III.

Такъ здѣсь-то суждено намъ было
Сказать послѣднее прости, —
Прости всему, чѣмъ сердце жило,
Что жизнь убивъ, ее испепелило
Въ твоей измученной груди!

Прости... Черезъ много, много лѣтъ
Ты будешь помнить съ содроганьемъ
Сей край, сей берегъ съ его полуденнымъ сіяньемъ,
Гдѣ вѣчный блескъ и ранній цвѣтъ,
Гдѣ позднихъ, блѣдныхъ розъ дыханьемъ
Декабрскій воздухъ разогрѣтъ.

Дек. 1837.

IV.

Душа моя — Элизіумъ тѣней!
Тѣней безмолвныхъ, свѣтлыхъ и прекрасныхъ,
Ни замысламъ години буйной сей,
Ни радостямъ, ни горю не причастныхъ.

Душа моя — Элизіумъ тѣней!
Что общаго межъ жизнью и тобою,
Межъ вами, призраки минувшихъ лучшихъ дней,
И сей безчувственной толпою? —

1837.

V.

* * *

Живымъ сочувствіемъ привѣта,
Съ недостижимой высоты,
О, не смущай, молю, поэта!
Но искушай его мечты!

Всю жизнь въ толпѣ людей затерянь,
Порой, доступенъ ихъ страстямъ,
Поэтъ, я знаю, суевѣренъ,
Но рѣдко служить онъ властямъ.

Передъ кумирами земными
Проходитъ онъ главу склонивъ,
Или стоитъ онъ передъ ними
Смущенъ и гордо-боязливъ.

Но если вдругъ живое слово
Съ ихъ устъ, сорвавшись, упадетъ,
И сквозь величія земнаго
Вся прелесть женщины мелькнетъ,

И человѣческимъ сознаньемъ
Ихъ всемогущей красоты
Вдругъ озарятся, какъ сіяньемъ,
Изящно-дивныя черты, —

О, какъ въ немъ сердце пламенѣтъ!
Какъ онъ восторженъ, умиленъ!
Пускай служить онъ не умѣетъ,
Боготворить умѣетъ онъ! —

Мюнхенъ, 1840.

VI.

Душа хотѣла-бъ быть звѣздой, —
Но не тогда, какъ съ неба полуночи
Сии свѣтила, какъ живыя очи
Глядятъ на сонный міръ земной, —

Но днемъ, когда, сокрытыя какъ дымомъ
Палащихъ солнечныхъ лучей,
Они какъ божества горятъ свѣтлѣй
Въ эфирѣ чистомъ и незримомъ.

1840.

VII.

Давно-ль, давно-ль, о югъ блаженный,
Я зрѣлъ тебя лицомъ къ лицу,
И какъ Эдемъ ты растворенный
Доступенъ былъ мнѣ, пришлецу?
Давно-ль, — хотя безъ восхищенья,
Но новыхъ чувствъ не даромъ полнъ, —
Я тамъ заслушивался пѣнья
Великихъ средиземныхъ волнъ!

И пѣснь ихъ, какъ во время оно,
Полна гармоніи была,
Когда изъ ихъ родного лона
Киприда свѣтлая всплыла...
Онѣ все тѣ же и понынѣ,
Все также блещутъ и звучать, —
По ихъ лазоревой равнинѣ
Родные призраки скользятъ.

Но я... Я съ вами распростился,
Я вновь на сѣверъ увлеченъ;
Вновь надо мною опустился
Его свинцовый небосклонъ.
Здѣсь воздухъ колетъ: снѣгъ обильный
На высотахъ и въ глубинѣ, —
И холодъ, чародѣй всеильный,
Одинъ господствуетъ вполнѣ.

Но тамъ, за этимъ царствомъ вьюги,
Тамъ — тамъ, на рубежѣ земли,
На золотомъ, на свѣтломъ югѣ,
Еще я вижу васъ вдали:
Вы блещете еще прекраснѣй,
Еще лазурнѣй и свѣжѣй,
И говоръ вашъ еще согласнѣй
Доходить до души моей.

1840.

VIII.

И гробъ опущенъ ужь въ могилу,
И все столпилось вокругъ,
Толкутся, дышать черезъ силу...
Спираетъ грудь тлетворный духъ.

И надъ могилою раскрытой,
Въ возглавіи, гдѣ гробъ стоитъ,
Ученый пастырь сановитый
Рѣчь погребальную гласить:

Вѣщаетъ брѣньность человѣчью,
Грѣхопаденъе, кровь Христа, —
И умною, пристойной рѣчью
Толпа различно занята, —

А небо такъ нетлѣнно-чисто,
Такъ безпредѣльно надъ землею,
И птицы рѣютъ голосисто
Въ воздушной безднѣ голубой.

IX.

Къ Ганкѣ — въ Прагѣ.

Вѣковать-ли намъ въ разлукѣ?

Не пора-ль очнуться намъ

И подать другъ другу руки

Нашимъ кровнымъ и друзьямъ?

Вѣки мы слѣпцами были

И, какъ жалкіе слѣпцы,

Мы блуждали, мы бродили,

Разбредись во всѣ концы;

А случилось-ли, порою,

Намъ столкнуться какъ нибудь,

Кровь не разъ лилась рѣкою,

Мечъ терзалъ родную грудь.

И вражды безумной сѣмя
Плодъ сторичный принесло:
Не одно погубло племя,
Иль въ чужбину отошло.

Г
Б
И
В

Иновѣрецъ, иноземецъ
Насъ раздвинулъ, разломилъ:
Тѣхъ обезъязычилъ Нѣмецъ,
Этихъ — Турокъ осрамилъ.

И
Въ
На
То.

Вотъ, среди сей ночи темной
Здѣсь, на Пражскихъ высотахъ,
Доблій мужъ рукою скромной
Засвѣтилъ маякъ въ потьмахъ.

на отъ-м

О, какими вдругъ лучами
Озарились всѣ края!
Обличилась передъ нами
Вся Славянская земля.



Горы, степи и поморья
День чудесный осіялъ,
Отъ Невы до Черногорья,
Отъ Карнатовъ за Ураль.



Разсвѣтаетъ надъ Варшавой,
Кіевъ очи отворилъ,
И съ Москвой золотоглавой
Вышеградъ заговорилъ.

И нарѣчій братскихъ звуки
Вновь понятны стали намъ,
На яву увидить внуки
То, что снилося отцамъ!

1841.

(Примѣтка сдѣланная во время перваго Славянскаго съѣзда въ Россіи
въ 1867 году.)

Такъ взывалъ я, такъ гласилъ я!
Тридцать лѣтъ съ тѣхъ поръ ушло:
Все упорнѣе усилъя,
Все назойливѣе зло.

Ты, стоящій днесъ предъ Богомъ,
Мужъ добра, святая тѣнь, —
Будь вся жизнь твоя залогомъ,
Что придетъ желанный день!

За твое же постоянство
Въ нескончаемой борьбѣ,
Первый праздникъ Всеславянства
Приношеньемъ будь тебѣ!...

Х.

Наполеонъ.

1.

Сынъ революціи! Ты съ матерью ужасной
Отважно въ бой вступилъ и изнемогъ въ борьбѣ:
Не одолѣлъ ея твой геній самовластный!...
Бой невозможный, трудъ напрасный:
Ты всю ее носилъ въ самомъ себѣ!...

2.

Два демона ему служили,
Двѣ силы чудно въ немъ слились:
Въ его главѣ — орлы парили,
Въ его груди — змѣи вились...
Ширококрылыхъ вдохновеній
Орлиный, дерзостный полетъ,
И въ самомъ буйствѣ дерзновеній
Змѣиной мудрости расчетъ!

Но освящающая сила,
Непостижимая уму,
Его души не озарила
И не приблизилась къ Нему...
Онъ былъ земной, не Божій пламень!
Онъ гордо плылъ, презритель волнъ!
Но о подводный Вѣры камень
Въ щепы разбился утлый чолнъ.

3.

И ты стоялъ — передъ тобой Россія! —
И вѣщій волхвъ, въ предчувствіи борьбы,
Ты самъ слова промолвилъ роковыя:
 « Да сбудутся ея судьбы! »...
И не напрасно было заклинанье:
Судьба откликнулась на голосъ твой.
Но новою загадкою въ изгнаньи
Ты возразилъ на отзывъ роковой.

.
Года прошли, и вотъ изъ ссылки тѣсной
На родину вернувшійся мертвецъ,
На берегахъ рѣки, тебѣ любезной,
Тревожный духъ, почилъ ты, наконецъ...

Но чутокъ сонъ и, по ночамъ тоскуя,
Порою вставъ, ты смотришь на Востокъ,
И вдругъ, смутясь, бѣжишь, какъ бы почуя
Передразсвѣтный вѣтерокъ.

1844.

— — — — —

XI.

Тебѣ, Колумбъ, тебѣ вѣнецъ!
Чертежъ земной ты выполнившій смѣло
И довершившій, наконецъ,
Судебъ неконченное дѣло!
Ты завѣсу расторгъ всеильною рукой —
И новый міръ, невѣдомый, неожиданный,
Изъ безпредѣльности туманной
На Божій свѣтъ ты вынесъ за собой.
Такъ связанъ, соединенъ отъ вѣка
Союзомъ кровнаго родства
Разумный геній человѣка
Съ живою силой естества.
Скажи завѣтное онъ слово —
И міромъ новымъ естество
Всегда откликнуться готово
На голосъ родственный его.

XII.

Глядѣлъ я, стоя надъ Невой,
Какъ Исаака великана,
Во мглѣ морознаго тумана,
Свѣтился куполь золотой.

Всходили робко облака
На небо зимнее ночное,
Бѣлѣла въ мертвенномъ покоѣ
Оледенѣлая рѣка.

Я вспомнилъ, грустно молчаливъ,
Какъ въ тѣхъ странахъ, гдѣ солнце грѣеть,
Теперь на солнцѣ пламенѣть
Роскошный Генуи заливъ...

О, сѣверъ, сѣверъ-чародѣй,
Иль я тобою околдованъ?
Иль въ самомъ дѣлѣ я прикованъ
Къ гранитной полосѣ твоей?

О, еслибъ мимолетный духъ,
Во мглѣ вечерней тихо вѣя,
Меня унесъ скорѣй, скорѣе
Туда, туда на теплый югъ.

21 Нояб. 1844.

XIII.

И такъ, опять увидѣлся я съ вами,
Мѣста не милыя, хотъ и родныя,
Гдѣ мыслилъ я и чувствовалъ впервые
И гдѣ теперь туманными очами,
При свѣтѣ вечерѣющаго дня,
Мой дѣтскій возрастъ смотритъ на меня.

О, бѣдный призракъ, немощный и смутный
Забытаго, загадочнаго счастья!...
О, какъ теперь безъ вѣры и участья
Смотрю я на тебя, мой гость минутный!
Куда какъ чуждъ ты сталъ въ моихъ глазахъ,
Какъ братъ меньшей, умершій въ пеленахъ!

Ахъ, нѣтъ! не здѣсь, не этотъ край безлюдный
Былъ для души моей родимымъ краемъ, —
Не здѣсь расцвѣлъ, не здѣсь былъ величаемъ
Великій праздникъ молодости чудной!
Ахъ, и не въ эту землю я сложилъ
То, чѣмъ я жилъ и чѣмъ я дорожилъ.

Сент. 1846.

XIV.

Ротенбургъ.

Надъ виноградными холмами
Плывутъ златыя облака,
Внизу зелеными волнами
Шумить померкшая рѣка;
Взоръ постепенно изъ долины,
Подъемясь, всходить къ высотамъ
И видить, на краю вершины,
Круглообразный, свѣтлый храмъ.
Тамъ въ горнемъ, не земномъ жилищѣ
Гдѣ смертной жизни мѣста нѣтъ,
И легче и пустынно-чище
Струя воздушная течетъ.
Туда взлетая, звукъ нѣмѣетъ, —
Лишь жизнь природы тамъ слышна,
И нѣчто праздничное вѣетъ,
Какъ дней воскресныхъ тишина.

1847.

XV.

День и ночь.

На міръ таинственный дѣховъ,
Надъ этой бездной безъимянной.
Покровъ наброшенъ златотканый
Высокой волею боговъ.
День — сей блистательный покровъ —
День — земнородныхъ оживленье,
Души болящей исцѣленье,
Другъ человѣковъ и боговъ!

Но меркнетъ день, настала ночь, —
Пришла — и съ міра роковаго
Ткань благодатную покова
Собравъ, отбрасываетъ прочь.
И бездна намъ обнажена
Съ своими страхами и мглами,
И вѣтъ преградъ межъ ей и нами:
Вотъ отчего намъ ночь страшна.

XVI.

О чемъ ты воешь, вѣтръ ночной,
О чемъ такъ сѣтуешь безумно?
Что значить странный голосъ твой,
То глухо-жалобный, то шумный?
Понятнымъ сердцу языкомъ
Твердишь о непонятной мукѣ,
И роешь, и взрываешь въ немъ
Порой неистовые звуки!

О, страшныхъ пѣсень сихъ не пой
Про древній хаосъ, про родимый!
Какъ жадно міръ души ночной
Внимаетъ повѣсти любимой!
Изъ смертной рвется онъ груди
И съ безпредѣльнымъ жаждетъ слиться...
О, бурь уснувшихъ не буди:
Подъ ними хаосъ шевелится!...

1847.

XVII.

Поэзія.

Ореди громовъ, среди огней,
Среди клокочущихъ зыбей,
Въ стихійномъ, пламенномъ раздорѣ,
Она съ небесъ слетаетъ къ намъ —
Небесная — къ земнымъ сынамъ,
Съ лазурной ясностью во взорѣ,
И на бунтующее море
Льетъ примирительный елей.

1848.

XVIII.

Еще томлюсь тоской желаній,
Еще стремлюсь къ тебѣ душой
И въ сумракѣ воспоминаній
Еще ловлю я образъ твой, —
Твой милый образъ, незабвенный...
Онъ предо мной вездѣ, всегда,
Недостижимый, неизмѣнный,
Какъ ночью на небѣ звѣзда.

1848.

XIX.

Море и утесъ.

И бунтуеть и клокочетъ,
Плещеть, свищеть и реветъ,
И до звѣздъ допрянуть хочетъ,
До незыблемыхъ высотъ!
Адъ ли, адская ли сила,
Подъ клокочущимъ котломъ,
Огнь геенскій разложила
И пучину взворотила,
И поставила вверхъ дномъ?

Волнъ неистовыхъ прибоемъ
Безпрерывно валъ морской
Съ ревомъ, свистомъ, визгомъ, воемъ
Бьетъ въ утесъ береговой!
Но, спокойный и надменный,
Дурью волнъ не обуянъ,

Неподвижный, неизмѣнный.
Мірозданью современный.
Ты стоишь, нашъ великанъ!

И озлобленная боемъ,
Какъ на приступъ роковой,
Снова волны лѣзутъ съ воемъ
На гранить громадный твой.
Но о камень неизмѣнный
Бурный натискъ преломивъ,
Валь отбрызнуть сокрушенный,
И клубится мутной пѣной
Обезсиленный порывъ...

Стой же ты, утесъ могучій!
Обожди лишь часъ, другой —
Надоѣстъ волнѣ гремячей
Воевать съ твоей пятой!
Утомясь потѣхой злою,
Присмирѣть вновь она,
И безъ вою и безъ бою,
Подъ гигантскою пятою,
Вновь уляжется волна.

1848.

XX.

Омотри, какъ на рѣчномъ просторѣ,
По склону вновь ожившихъ водъ,
Во всеобъемлющее море
За льдиной льдина вслѣдъ плыветъ.

На солнцѣ-ль радужно блистая,
Иль ночью въ поздней темнотѣ,
Но всѣ, неизбежно тая,
Онѣ плывутъ въ одной метѣ.

Всѣ вмѣстѣ — малыя, большія,
Утративъ прежній образъ свой,
Всѣ безразличны, какъ стихія,
Сольются съ бездной роковой!...

О, нашей мысли обольщенье,
Ты — человѣческое я!
Не таково-ль твое значенье,
Не такова-ль судьба твоя?

1848.

XXI.

Русская географія.

Москва и градъ Петровъ, и Константиновъ градъ
Вотъ Царства Русскаго завѣтныя столицы...
Но гдѣ предѣлъ ему?... и гдѣ его границы
На Сѣверъ, на Востокъ, на Югъ и на Закатъ?
Грядущимъ временамъ судьбы ихъ обличать...

Семь внутреннихъ морей и семь великихъ рѣкъ...
Отъ Нила до Невы, отъ Эльбы до Китая —
Отъ Волги по Ефратъ, — отъ Ганга до Дуная...
Вотъ Царство Русское... и не преидеть во вѣкъ
Какъ то провидѣль Духъ, и Даніилъ предрекъ.

1848.

XXII.

Вновь твои я вижу очи,
И одинъ твой южный взглядъ
Киммерійской грустной ночи
Вдругъ развѣялъ сонный хладъ...
Воскресаетъ предо мною
Край иной — родимый край,
Словно прадѣдовъ виною
Для сыновъ погибшій рай.

Лавровъ стройныхъ колыханье
Зыблетъ воздухъ голубой;
Моря тихое дыханье
Провѣваетъ лѣтній зпой.
Цѣлый день тамъ солнце грѣетъ
Золотистый виноградъ;
Баснословной былью вѣетъ
Изъ-подъ мраморныхъ аркадъ.

Сновидѣньемъ безобразнымъ
Скрылся сѣверъ роковой;
Сводомъ легкимъ и прекраснымъ
Свѣтитъ небо надо мной;
Снова жадными очами
Свѣтъ живительный я пью
И подъ чистыми лучами
Край волшебный узнаю.

1848.

XXIII.

О Ламартинѣ.

Какъ онъ любилъ родныя ели
Своей Савойи дорогой!
Какъ мелодически шумѣли
Ихъ вѣтви надъ его главой!
Ихъ мракъ торжественно угрюмый
И дикій заунывный шумъ
Какою сладостною думой
Его обворожали умъ.

1848.

— — — —

XXIV.

Близнецы.

Есть близнецы — для земнородныхъ
Два Божества — то смерть и сонъ,
Какъ братъ съ сестрою дивно сходныхъ —
Она — угрюмѣй, кротче — онъ...

Но есть другихъ два близнеца —
И въ мірѣ нѣтъ четы прекраснѣй
И обаянья ихъ ужаснѣй
Ей предающаго сердца...

Союзъ ихъ кровный, не случайной
И только въ роковые дни
Своей неразрѣшимой тайной
Обворожаютъ насъ они. —

И кто въ избыткѣ ощущеній,
Когда кипить и стынетъ кровь,
Не вѣдалъ вашихъ искушеній —
Самоубійство, и любовь!

1849.

XXV.

Тихой ночью, позднимъ лѣтомъ,
Какъ на небѣ звѣзды рдѣютъ,
Какъ подъ сумрачнымъ ихъ свѣтомъ
Нивы дремлющія зрѣютъ!...
Усыпительно-безмолвны,
Какъ блестятъ въ тиши ночной
Золотистыя ихъ волны,
Убѣленные луной!

1849.

XXVI.

Како дымный столбъ свѣтлѣетъ въ вышинѣ,
Како тѣнь внизу скользить неувовимо!
Вотъ наша жизнь, — промолвила ты мнѣ,
Не свѣтлый дымъ, блестящій при лунѣ,
А эта тѣнь, бѣгущая отъ дыма!

1849.

XXVII.

Вдали отъ солнца и природы,
Вдали отъ свѣта и искусства,
Вдали отъ жизни и любви,
Мелькнуть твои молодые годы,
Живыя помертвѣють чувства,
Мечты развѣются твои.

И жизнь твоя пройдетъ незрима
Въ краю безлюдномъ, безымянномъ,
На незамѣченной землѣ, —
Какъ исчезаетъ облакъ дыма,
На небѣ тускломъ и туманномъ,
Въ осенней безпредѣльной мглѣ.

1849.

XXVIII.

Разсвѣтъ.

Не въ первый разъ кричить пѣтухъ, --
Кричитъ онъ живо, бодро, смѣло;
Ужъ мѣсяцъ на небѣ потухъ,
Струя въ Босфорѣ заалѣла.

Еще молчать колокола,
А ужъ востокъ заря румянить:
Ночь безконечная прошла,
И скоро свѣтлый день настанетъ.

Вставай же, Русь! Ужъ близокъ часъ!
Вставай Христовой службы ради!
Ужъ не пора-ль, перекрестясь,
Ударить въ колоколъ въ Царьградѣ?

Раздайся, благовѣстный звонъ,
И весь Востокъ имъ огласися!
Тебя зоветь и будить онъ!
Вставай, мужайся, ополчися!

Въ доспѣхи вѣры грудь одѣнь,
И съ Богомъ, исполнишь державный!...
О, Русь, великъ грядущій день,
Вселенскій день и Православный!

1849.

XXIX.

Конченъ пиръ, умолкли хоры,
Опорожнены амфоры,
Опрокинуты корзины,
Не допиты въ кубкахъ вины,
На главахъ вѣнки измяты, —
Лишь курились ароматы
Въ опустѣвшей свѣтлой залѣ.
Кончивъ пиръ, мы поздно встали:
Звѣзды на небѣ сіяли,
Ночь достигла половины...

Какъ надъ безпокойнымъ градомъ,
Надъ дворцами, надъ домами,
Шумнымъ уличнымъ движенъемъ,
Съ тускло-рдянымъ освѣщенъемъ
И безумными толпами, —

Какъ надъ этимъ дольнымъ чадомъ,
Въ черномъ, выпренномъ предѣлѣ,
Звѣзды чистыя горѣли,
Отвѣчая смертнымъ взглядамъ
Непорочными лучами!

1850.

— — —

XXX.

Тогда лишь въ полномъ торжествѣ
Въ славянской міровой громадѣ
Строй вождедѣнный водворится,
Какъ съ Русью Польша помирится,
А помирятся-жъ эти двѣ —
Не въ Петербургѣ, не въ Москвѣ,
А въ Кіевѣ и въ Цареградѣ...

1850.

XXXI.

Не разсуждай, не хлопочи...
Безумство ищетъ, глупость судить;
Дневныя раны сномъ лечи,
А завтра быть тому, что будетъ.

Живя, умѣй все пережить:
Печаль, и радость. и тревогу.
Чего желать, о чемъ тужить?
День пережить — и слава Богу!
1850.

XXXII.

Пророчество.

Не гуль молвы прошелъ въ народѣ,
Вѣсть родилась не въ нашемъ родѣ —
То древній гласъ, то свыше гласъ:
«Четвертый вѣкъ ужъ на исходѣ, —
Свершится онъ и грянетъ часъ!
И своды древніе Софіи
Въ возобновленной Византіи
Вновь осѣнятъ Христовъ алтарь!»...
Пади предъ нимъ, о Царь Россіи,
И встань какъ всеславянскій Царь!

1950.

XXXIII.

Подъ дыханьемъ непогоды
Вздувшись, потемнѣли воды
И подернулись свинцомъ,
И сквозь глянецъ ихъ суровый
Вечеръ пасмурно-багровый
Свѣтитъ радужнымъ лучомъ.

Сыплеть искры золотыя,
Сѣетъ розы огневая —
И уносить ихъ потокъ:
Надъ волной темно-лазурной
Вечеръ пламенный и бурный
Обрываетъ свой вѣнокъ...

1850.

XXXIV.

Два голоса.

Мужайтесь, о други, боритесь прилежно,
Хоть бой и неравенъ, борьба безнадежна.
Надъ вами свѣтила молчать въ вышинѣ;
Подъ вами могилы — молчать и онѣ.

Пусть въ горнемъ Олимпѣ блаженствуютъ боги:
Безсмертье ихъ чуждо труда и тревоги;
Тревога и трудъ лишь для смертныхъ сердець...
Для нихъ нѣтъ побѣды, для нихъ есть конецъ.

Мужайтесь, боритесь, о храбрые други,
Какъ бой ни жестокъ, ни упорна борьба!
Надъ вами безмолвные звѣздные круги,
Подъ вами нѣмые, глухіе гроба.

Пускай Олимпійцы завистливымъ окомъ
Глядятъ на борьбу непреклонныхъ сердецъ
Кто ратуя палъ, побѣжденный лишь рокомъ,
Тотъ вырвалъ изъ рукъ ихъ побѣдный вѣнецъ.

1850.

XXXV.

Не остывшая отъ зною,
Ночь іюльская блистала.
И надъ тусклою землею
Небо, полное грозою,
Отъ зарницъ все трепетало...

Словно тяжкія рѣсницы
Разверзались порою,
И сквозь бѣглыя зарницы
Чьи-то грозныя зѣницы
Загорались надъ землею...

1850.

XXXVI.

На Невѣ.

И опять звѣзда ныряетъ
Въ легкой зыби неvesкихъ волнъ,
И опять любовь ввѣряетъ
Ей таинственный свой чолнъ.

И межъ зыбью и звѣздою
Онъ скользитъ, какъ бы во снѣ.
И два призрака съ собою
Вдаль уносить по волнѣ.

Дѣти-ль это праздной лѣни
Тратятъ здѣсь досугъ ночной,
Иль блаженныя двѣ тѣни
Покидаютъ міръ земной?

Ты, разлитая какъ море.
Пышно-струйная волна,
Пріюти въ твоємъ просторѣ
Тайну скромнаго челна!

1850.

XXXVII.

Слезы людскія, о слезы людскія,
Льетесь вы ранней и поздней порой, —
Льетесь безвѣстныя, льетесь незримыя,
Неистоцимыя, неисчислимыя, —
Льетесь, какъ льются струи дождевыя
Въ осень глухую, порою ночной.

1850.

XXXVIII.

Ишли Господь свою отраду
Тому, кто въ лѣтній жаръ и зной,
Какъ бѣдный нищій мимо саду,
Бредеть по жаркой мостовой.

Кто смотритъ вскользь черезъ ограду
На тѣнь деревьевъ, злакъ долинъ,
На недоступную прохладу
Роскошныхъ свѣтлыхъ луговинъ.

Не для него гостепріимной
Деревья сѣнью разрослись,
Не для него какъ облакъ дымной
Фонтанъ на воздухъ повисъ.

Лазурный гротъ, какъ изъ тумана,
Напрасно взоръ его манить,
И пыль росистая фонтана
Главы его не освѣжить.

Пошли Господь свою отраду
Тому, кто жизненной тропой,
Какъ бѣдный нищій мимо саду,
Бредеть по знойной мостовой.

1850.

XXXIX.

Обвѣянъ вѣщею дремотой,
Полураздѣтый лѣсъ грустить;
Изъ лѣтнихъ листьевъ развѣ сотый.
Блестя осенней позолотой,
Еще на вѣткѣ шелестить.

Гляжу съ участием умиленнымъ,
Когда, пробившись изъ-за тучъ,
Вдругъ по деревьямъ испещреннымъ
Молніевидный брызнетъ лучъ.

Какъ увядающее мило!
Какая прелесть въ немъ для насъ,
Когда, что такъ цвѣло и жило,
Теперь такъ немощно и хило,
Въ послѣдній улыбнется разъ!...

1850.

XL.

Какъ ни дышетъ полдень знойный
Въ растворенное окно, —
Въ этой хранилѣ спокойной,
Гдѣ все тихо и темно,

Гдѣ живыя благовонья
Бродятъ въ сумрачной тѣни,
Въ сладкій сумракъ полусонья
Погрузись и отдохни.

Здѣсь фонтанъ неутомимый
День и ночь поетъ въ углу
И кропитъ росой незримой
Очарованную мглу.

И въ мерцаньи полусвѣта,
Тайной страстью занята,
Здѣсь влюбленнаго поэта
Вѣетъ легкая мечта.

XLI.

Нѣтъ, карликъ мой, трусь безпримѣрный,
Ты, какъ ни жмися, какъ ни трусь,
Своей душою маловѣрной
Не соблазнишь святую Русь.

Иль всѣ святыя упованья,
Всѣ убѣжденья истребя,
Она отъ своего призванья
Вдругъ отречется для тебя?...

Иль такъ ты дорогъ Провидѣнью,
Такъ друженъ съ нимъ, — такъ за-одно,
Что дорожа твоею лѣнью,
Вдругъ остановится оно?...

Не вѣрь въ святую Русь кто хочетъ,
Лишь вѣрь она себѣ самой —
И Богъ побѣды не отсрочить
Въ угоду трусости людской.

То, что обѣщано судьбами
Ужь въ колыбели было ей,
Что ей завѣщано вѣками
И вѣрой всѣхъ ея Царей, —

То, что Олеговы дружины
Ходили добывать мечомъ,
То, что орелъ Екатерины
Ужь прикрывалъ своимъ крыломъ, —

Вѣнца и скиптра Византіи
Вамъ не удастся насъ лишить!
Всемирную судьбу Россіи —
Нѣтъ — вамъ ея не запрудить!...

1850.

XLII.

Графинѣ Ростопчиной.

(Въ отвѣтъ на ея письмо.)

Какъ подъ сугробомъ снѣжнымъ лѣни,
Какъ околдованный зимой,
Какимъ-то сномъ усопшей тѣни
Я спалъ зарытый, но живой!

И вотъ я чую, надо мною,
Не на яву и не во снѣ,
Какъ бы повѣяло весною,
Какъ бы запѣло о веснѣ...

Знакомый голосъ, голосъ чудный,
То лирный звукъ, то женскій вздохъ...
Но я, лѣннivecъ безпробудный,
Я вдругъ откликнуться не могъ...

Я спалъ, въ оковахъ тяжелой лѣни,
Подъ осьми-мѣсячной зимой,
Какъ дремлютъ праведныя тѣни
Во мглѣ стигійской роковой.

Но этотъ сонъ полу-могильный,
Какъ надо мной ни тяготѣлъ,
Онъ самъ же, чародѣй всеильный.
Ко мнѣ на помощь подоспѣлъ.

Пріязни давней выраженья, —
Ихъ для меня онъ уловилъ
И въ музыкальныя видѣнья
Знакомый голосъ воплотилъ...

Вотъ вижу я, какъ бы сквозь дымки.
Волшебный садъ, волшебный домъ...
И въ замкѣ феи-невидимки
Вдругъ очутились мы вдвоемъ —

Вдвоемъ! и пѣснь ея звучала,
И отъ завѣтнаго крыльца
Гнала и буйнаго нахала,
Гнала и пошлаго льстеца.

XLIII.

Гроза прошла. Еще курясь, лежалъ
Высокій дубъ, перунами сраженный,
И сизый дымъ съ вѣтвей его бѣжалъ
По зелени, грозою освѣженной:

А ужъ давно звучнѣе и полнѣй
Пернатыхъ пѣснь по роцѣ раздалася,
И радуга концомъ дуги своей
Въ зеленя вершины уперлася!...

1850.

XLIV.

Не даромъ милосердымъ Богомъ
Пугливой птичка создана :
Спасенья вѣрнаго залогомъ
Ей робость чуткая дана.

И нѣтъ для бѣдной птички проку
Въ свойствѣ съ людьми, съ семьей людской :
Чѣмъ ближе къ нимъ, тѣмъ ближе къ року —
Не сдобровать подъ ихъ рукой...

Вотъ птичку дѣвушка вскормила
Отъ первыхъ перушекъ съ гнѣзда,
Взлелѣяла и возростила
И не жалѣла, не щадила
Для ней ни ласки, ни труда.

Но какъ съ любовію тревожной
Ты, дѣва, ни пеклась о ней,
Настанетъ день, день непреложный:
Питомецъ твой неосторожный
Погибнетъ подъ ногой твоей...

1851.

XLV.

Дума за думой, волна за волной —
Два проявленья стихіи одной!
Въ сердцѣ-ли тѣсномъ, въ безбрежномъ-ли морѣ,
Здѣсь — въ заключеніи, тамъ — на просторѣ:
Тотъ же все вѣчный прибой и отбой!
Тотъ же все призракъ тревожно-пустой!

1851.

XLVI.

Какъ весель грохоть лѣтнихъ бурь,
Когда, взметая прахъ летучій,
Гроза нахлынувшая тучей
Смутить небесную лазурь,
И опрометчиво-безумно
Вдругъ на дубраву набѣжить, —
И вся дубрава задрожитъ
Широколиственно и шумно!
Какъ подъ незримою пятой
Лѣсные гнутся исполины;
Тревожно ропщутъ ихъ вершины,
Какъ совѣщаясь межъ собой, —
И сквозь внезапную тревогу
Немолчно слышенъ птичій свистъ,
И кой-гдѣ первый желтый листъ,
Крутясь, слетаетъ на дорогу.

1851.

XLVII.

Первый листъ.

Листъ зеленѣетъ молодой:

Смотри, какъ листьемъ молодымъ
Стоять обвѣяны березы,
Воздушной зеленью сквозной,
Полу-прозрачною какъ дымъ.

Давно имъ грезилося весной,
Весной и лѣтомъ золотымъ,
И вотъ, живыя эти грёзы,
Подъ первымъ небомъ голубымъ,
Пробились вдругъ на свѣтъ дневной.

О, первыхъ листьевъ красота,
Омытыхъ въ солнечныхъ лучахъ,

Съ новорожденною ихъ тѣнью!
И слышно намъ по ихъ движенью,
Что въ этихъ тысячахъ и тьмахъ
Не встрѣтишь мертваго листа.

1851

XLVIII.

День вечерѣтъ, ночь близка,
Длиннѣй съ горы ложится тѣнь,
На небѣ гаснутъ облака,
Ужъ поздно. Вечерѣтъ день.

Но мнѣ не страшенъ мракъ ночной,
Не жаль скудѣющаго дня, —
Лишь ты, волшебный призракъ мой,
Лишь ты не покидай меня!...

Крыломъ своимъ меня одѣнь,
Волненіе сердца утиши,
И благодатна будетъ тѣнь
Для очарованной души.

Кто ты? Откуда? Какъ рѣшить:
Небесный ты или земной —
Воздушный житель, — можетъ быть, —
Но съ страстной женскою душой!

1850.

12*

XLIX.

Сіяетъ солнце, воды блещутъ,
На всемъ улыбка, жизнь во всемъ,
Деревья радостно трепещутъ,
Купаясь въ небѣ голубомъ.

Поютъ деревья, блещутъ воды,
Любовью воздухъ растворенъ,
И міръ, цвѣтуцій міръ природы,
Избыткомъ жизни упоенъ.

Но и въ избыткѣ упоенья
Нѣтъ упоенія сильнѣй —
Одной улыбки умиленья
Измученной души твоей...

1851.

L.

О, не тревожь меня укорой справедливой:
Повѣрь, изъ насъ двоихъ завиднѣй часть твоя:
Ты любишь искренно и пламенно, а я —
Я на тебя гляжу съ досадою ревнивой.

И жалкій чародѣй передъ волшебнымъ міромъ,
Мной созданнымъ самимъ, безъ вѣры я стою,
И самого себя, краснѣя, сознаю
Живой души твоей безжизненнымъ кумиромъ.

1852.

ЛІ.

Не говори: меня онъ какъ и прежде любить.
Какъ прежде, мною дорожить...
О, нѣтъ! онъ жизнь мою безчеловѣчно губить,
Хоть вижу — ножъ въ рукѣ его дрожить.

То въ гнѣвѣ, то въ слезахъ, тоскуя, негодуя,
Увлечена, въ душѣ уязвлена,
Я страдаю, не живу... имъ, имъ однимъ живу я;
Но эта жизнь — о, какъ горька она!

Онъ мѣритъ воздухъ мнѣ такъ бережно и скудно,
Не мѣрятъ такъ и лютому врагу...
Охъ, я дышу еще болѣзненно и трудно,
Могу дышать, но жить ужъ не могу.

1852

LII.

Святая ночь на небосклонъ взошла
И день отраднѣй, день любезнѣй
Какъ золотой коверъ она свила, —
Коверъ, накинутый надъ бездной.
И, какъ видѣнье, вѣнчанный міръ ушелъ...
И человѣкъ, какъ сирота бездомный,
Стоитъ теперь и немощенъ и голъ,
Лицомъ къ лицу предъ этой бездной темной.
И чудится давно минувшимъ сномъ
Теперь ему все свѣтлое, живое,
И въ чуждомъ, неразгаданномъ ночномъ
Онъ узнаетъ наслѣдье роковое...

1852.

III.

Проблескъ.

Слыхалъ-ли въ сумракъ глубокомъ.
Воздушной арфы легкій звонъ,
Когда полночь ненарокомъ
Дремавшихъ струнъ встревожить сонъ?

То потрясающіе звуки,
То замирающіе вдругъ...
Какъ бы послѣдній ропотъ муки
Въ нихъ, отозвавшись, потухъ.

Дыханье каждое зефира
Взрываетъ скорбь въ ея струнахъ...
Ты скажешь: ангельская лира
Груститъ, въ пыли, на небесахъ.

О, какъ тогда съ земнаго круга
Душой къ безсмертному летимъ!
Минувшее, какъ призракъ друга,
Прижать къ груди своей хотимъ.

Какъ вѣримъ вѣрою живою,
Какъ сердцу радостно, свѣтло!
Какъ бы эфирною струею
По жиламъ небо протекло!

Но, ахъ, не намъ его судили;
Мы въ небѣ скоро устаемъ, —
И не дано ничтожной пыли
Дышать божественнымъ огнемъ.

Едва усилимъ минутнымъ
Прервемъ на часъ волшебный сонъ,
И взоромъ трепетнымъ и смутнымъ.
Привставъ, окинемъ небосклонъ,

И отягченною главою,
Однимъ лучомъ ослѣплены,
Вновь упадемъ не къ покою,
Но въ утомительные сны.

LIV.

Чему молилась ты съ любовью,
Что какъ святыню берегла,
Судьба людскому суесловью
На поруганье предала.

Толпа вошла, толпа вломилась
Въ святилище души твоей,
И ты невольно устыдилась
И тайнъ и жертвъ, доступныхъ ей...

Ахъ, еслибы живыя крылья
Души, парящей надъ толпой,
Ее спасали отъ насилья
Безсмертной пошлости людской!

1852.

LV.

Плаваніе.

На равнинѣ водъ лазурной
Пли мы вѣрною стезей;
Огнедышщій и бурный
Уносилъ насъ змѣй морской.

Съ неба звѣзды намъ свѣтили,
Снизу искрилась волна,
И мятью влажной пыли
Обдавала насъ она.

Мы на палубѣ сидѣли...
Многихъ сонъ одолѣвалъ...
Все звучнѣй колеса пѣли,
Разгребая шумный валъ.

Приутихъ нашъ кругъ веселый,
Женскій говоръ, женскій шумъ...
Подпираетъ локоть бѣлый
Много милыхъ, сонныхъ думъ.

Сны играютъ на просторѣ
Подъ магической луной,
И баюкаетъ ихъ море
Тихо-струйною волной.

1852.

LVI.

Ты, волна моя морская,
Своей волна,
Какъ, покоясь иль играя,
Чудной жизни ты полна!

Ты на солнце-ли смѣешься,
Отражая неба сводъ,
Иль мятешься ты и бьешься
Въ одичалой безднѣ водъ? —

Сладокъ мнѣ твой тихій шопотъ,
Полный ласки и любви;
Внятенъ мнѣ и буйный ропотъ,
Стоны вѣщіе твои.

Будь вѣрна стихіи бурной —
То угрюма то свѣтла;
Но въ ночи твоей лазурной
Сбереги, что ты взяла.

Не кольцо, какъ даръ завѣтный,
Въ зыбь твою я опустилъ,
И не камень самоцвѣтный
Я въ тебѣ похоронилъ.

Нѣтъ, въ минуту роковую,
Тайной прелестью влекомъ,
Душу, душу я живую
Схоронилъ на днѣ твоємъ.

1852.

LVII.

На смерть Жуковского.

Я видѣлъ вечеръ твой: онъ былъ прекрасенъ;
Послѣдній разъ прощаяся съ тобой,
Я любовался имъ: и тихъ и ясенъ
И весь насквозь проникнуть теплотой...
О, какъ они и грѣли и сіяли —
Твои, поэтъ, прощальные лучи...
А между тѣмъ замѣтно выступали
Ужъ звѣзды первыя въ его ночи.

Въ немъ не было ни лжи, ни раздвоенья...
Онъ все въ себѣ мирилъ и совмѣщалъ.
Съ какимъ радушіемъ благоволенья
Онъ были мнѣ Омировы читалъ!
Цвѣтушія и радужныя были
Младенческихъ, первоначальныхъ лѣтъ!
А звѣзды, между тѣмъ, на нихъ сводили
Таинственный и сумрачный свой свѣтъ.

По-истинѣ, какъ голубь чистъ и цѣль
Онъ духомъ былъ, хотъ мудрости змѣиной
Не презиралъ, понять ее умѣлъ, —
Но вѣялъ въ немъ духъ чисто-голубиный.
И этою духовной чистотою
Онъ возмужалъ, окрѣпъ и просвѣтлѣлъ.
Душа его возвысилась до строю:
Онъ стройно жилъ, онъ стройно пѣлъ...

И этотъ-то души высокій строй,
Создавшій жизнь его, проникшій лиру,
Какъ лучший плодъ, какъ лучший подвигъ свой,
Онъ завѣщалъ взволнованному міру.
Пойметъ-ли міръ, оцѣнитъ-ли его?
Достойны-ль мы священнаго залога?...
Иль не про насъ сказало Божество:
«Лишь сердцемъ чистые — тѣ узрятъ Бога.»

1852.

LVIII.

О, какъ убійственно мы любимъ,
Какъ, въ буйной слѣпотѣ страстей,
Мы то всего вѣрнѣе губимъ,
Что сердцу нашему милѣй!

Давно-ль, гордясь своей побѣдой,
Ты говорилъ: она моя...
Годъ не прошелъ, спроси и свѣдай,
Что уцѣлѣло отъ нея?

Куда ланить дѣвались розы,
Улыбка устъ и блескъ очей?
Все опалили, выжгли слезы
Горячей влагою своей.

Ты помнишь-ли, при вашей встрѣчѣ,
При первой встрѣчѣ роковой,
Ея волшебный взоръ и рѣчи
И смѣхъ младенчески-живой?

И что-жь теперь? И гдѣ все это?
И долговѣченъ-ли былъ сонъ?
Увы, какъ сѣверное лѣто
Былъ мимолетнымъ гостемъ онъ!

Судьбы ужаснымъ приговоромъ
Твоя любовь для ней была
И незаслуженнымъ позоромъ
На жизнь ея она легла!

Жизнь отреченья, жизнь страданья
Въ ея душевной глубинѣ...
Ей оставались воспоминанья...
Но измѣнили и онѣ.

И на землѣ ей дико стало,
Очарованіе ушло...
Толпа, нахлынувъ, въ грязь втоптала
То, что въ душѣ ея цвѣло.

И что-жь отъ долгаго мученья
Какъ перлъ сберечь ей удалось? —
Боль, злую боль ожесточенья,
Боль безъ отрады и безъ слезъ!

О, какъ убійственно мы любимъ!
Какъ, въ буйной слѣпотѣ страстей,
Мы то всего вѣрнѣе губимъ,
Что сердцу нашему милѣй!

1852.

LIX.

Чародѣйкою зимою
Околдованъ лѣсъ стоитъ —
И подъ снѣжной бахромою,
Неподвижною, нѣмою,
Чудной жизнью онъ блеститъ.

И стоитъ онъ, околдованъ,
Не мертвецъ и не живой —
Сномъ волшебнымъ очарованъ,
Весь опушанъ, весь окованъ
Легкой цѣпью пуховой.

Солнце зимнее-ли мечетъ
На него свой лучъ косой —
Въ немъ ничто не затрепещетъ —
Онъ лишь вспыхнетъ и заблещетъ
Ослѣпительной красой.

LX.

Нашъ вѣкъ.

Не плоть, а духъ растлился въ наши дни,
И человѣкъ отчаянно тоскуеть,
Онъ къ свѣту рвется изъ ночной тѣни
И свѣтъ обрѣтши, ропщетъ и бунтуеть.

Безвѣріемъ палимъ и изсушенъ,
Невыносимое онъ днесъ выносить...
И сознаетъ свою погибель онъ,
И жаждетъ вѣры... но о ней не просить.

Не скажетъ вѣкъ, съ молитвой и слезой
Какъ ни скорбитъ предъ замкнутою дверью:
«Впусти меня! Я вѣрю, Боже мой!
«Приди на помощь моему невѣрью!»...

1853.

LXI.

Венеція.

Но зеркалу зыбкаго дола,
Подъ темнымъ покровомъ ночнымъ,
Таинственной тѣнью гондола
Скользитъ по струямъ голубымъ.

Въ часы тишины и прохлады —
Синьора, услышавъ сквозь сонъ
Созвучья ночной серенады,
Не выйдетъ тайкомъ на балконъ.

Забыты октавы Торквато,
Умолкнулъ вселый напѣвъ,
Которымъ звучали когда-то
Уста гондольеровъ и дѣвъ.

Гондола скользитъ молчаливо
Вдоль мраморныхъ, мрачныхъ палатъ,
Изъ мрака онѣ горделиво,
Сурово и молча глядятъ.

1853.

LXII.

Я очи зналъ, — о, эти очи!
Какъ я любилъ ихъ — знаетъ Богъ!
Отъ ихъ волшебной, страстной ночи
Я душу оторвать не могъ.

Въ непостижимомъ этомъ взорѣ,
Жизнь обнажающемъ до дна,
Такое слышалось горе
Такая страсти глубина!

Дышалъ онъ грустный, углубленный
Въ тѣни рѣсницъ ея густой,
Какъ наслаждение — утомленный
И какъ страданье — роковой.

И въ эти чудныя мгновенья
Ни разу мнѣ не довелось
Съ нимъ повстрѣчаться безъ волненья
И любоваться имъ безъ слезъ.

LXIII.

Предопредѣленіе.

Любовь, любовь, — гласить преданье, —
Союзъ души съ душой родной,
Ихъ соединенье, сочетанье,
И роковое ихъ сліянье,
И поединокъ роковой.
И чѣмъ одно изъ нихъ нѣжнѣе
Въ борьбѣ неравной двухъ сердець,
Тѣмъ неизбѣжнѣй и вѣрнѣе,
Любя, страдая, грустно мѣя,
Оно изнаесть наконецъ.

1853

LXIV.

Проѣзжая черезъ Ковно.

Ты-ль это, Нѣманъ величавый?
Твоя-ль струя передо мной?
Ты столько лѣтъ, съ такою славой -
Россіи вѣрный часовой!
Одинъ лишь разъ, по волѣ Бога,
Ты супостата къ ней впустилъ,
И цѣлость русскаго порога
Ты тѣмъ навѣки утвердилъ.

Ты помнишь ли бывшее, Нѣманъ, —
Тотъ день години роковой,
Когда стоялъ онъ надъ тобой,
Онъ самъ — могучій, южный демонъ, —

И ты какъ нынѣ протекалъ,
Шумя подѣ вражьими мостами,
И онъ струю твою ласкалъ
Своими чудными очами?

Побѣдно шли его полки,
Знамена весело шумѣли,
На солнцѣ искрились штыки, —
Мосты подѣ пушками гремѣли, —
И съ высоты, какъ нѣкій богъ,
Казалось, онъ парилъ надѣ ними,
И двигалъ всѣмъ и все стерегъ
Очами чудными своими.

Лишь Одного онъ не видалъ:
Не видѣлъ онъ, воитель дивный,
Что тамъ, на сторонѣ противной
Стоялъ Другой — стоялъ и ждалъ..
И мимо проходила рать —
Все грозно-боевыя лица, —
И неизбежная Десница
Клала на нихъ свою печать.

Итакъ, побѣдно шли полки,
Знамена гордо развѣвались,

Струились молніей штыки
И барабаны заливались...
Несмѣтно было ихъ число...
И въ этомъ безконечномъ строѣ
Едва-ль десятое чело
Клеймо минуло роковое...

1853

— — — — —

LXV.

Какое лѣто, что за лѣто!
Да это, просто, колдовство,
И какъ, прошу, далось намъ это
Такъ, ни съ того и ни съ чего?

Гляжу тревожными глазами
На этотъ блескъ, на этотъ свѣтъ:
Не издѣваются-ль надъ нами?
Откуда намъ такой привѣтъ?

Увы, не такъ ли молодая
Улыбка женскихъ устъ и глазъ,
Не восхищая, не прельщая,
Подъ старость лишь тревожить насъ...

1854.

LXVI.

Олеговъ щить.

Молитва Магометанъ.

«**А**ллахъ! пролей на насъ твой свѣтъ!
Краса и сила правовѣрныхъ!
Гроза гяуровъ лицемерныхъ!
Пророкъ твой Магометъ!»...

Молитва Славянъ.

«О, наша крѣпость и оплотъ!
Великій Богъ! води насъ нынѣ,
Какъ нѣкогда Ты велъ въ пустыни
Свой избранный народъ!»...

* * *

Глухая полночь! Все молчить!
Вдругъ... изъ-за тучъ луна блеснула
И надъ воротами Стамбула
Олеговъ озарила щить.

1854.

LXVII.

Теперь тебѣ не до стиховъ,
О слово русское, родное!
Созрѣла жатва, жнецъ готовъ,
Настало время не земное...

Ложь воплотилася въ булатъ,
Какимъ-то Божьимъ попущеньемъ
Не цѣлый міръ, но цѣлый адъ
Тебѣ грозитъ ниспроверженьемъ...

Всѣ богохульные умы,
Всѣ богомерзкіе народы
Со дна воздвиглись царства тьмы
Во имя свѣта и свободы!

Тебѣ они готовятъ плѣнъ,
Тебѣ пророчать посрамленье, —
Ты — лучшихъ, будущихъ временъ
Глаголь, и жизнь, и просвѣщенье!

О, въ этомъ испытаньи строгомъ,
Въ послѣдней, въ роковой борьбѣ,
Не измѣни же ты себѣ
И оправдайся передъ Богомъ...

1854.

— - -

LXVIII.

По случаю приѣзда Австрійскаго Эрцгерцога на похороны
Императора Николая.

Нѣтъ, мѣра есть долготерпѣнью,
Безумству также мѣра есть...
Клянусь его вѣнчанной тѣнью,
Не все же можно перенести!

И какъ не грянетъ отовсюду
Одинъ всеобщій кличъ тоски:
Прочь, прочь австрійскаго Іуду
Отъ гробовой его доски!

Прочь съ ихъ предательскимъ лобзаньемъ,
И весь «апостольскій» ихъ родъ
Будь заклеимъ однимъ прозваньемъ:
Искаріотъ, Искаріотъ!

1855.

LXIX.

На новый 1855 годъ.

Въ Альбомъ А. П. Данилевскаго.

Отоимъ мы слѣпы предъ судьбою :
Не намъ сорвать съ нея покровъ...
Я не свое тебѣ открою,
А бредъ пророческій духовъ.

Еще намъ далеко до цѣли :
Гроза реветъ, гроза растетъ,
И вотъ въ желѣзной колыбели,
Въ громахъ, родится новый годъ.

Черты его ужасно строги,
Кровь на рукахъ и на челѣ;
Но не однѣ войны тревоги
Несетъ онъ людямъ на землѣ.

Не просто будетъ онъ воитель,
Но исполнитель Божьихъ каръ, —
Онъ совершитъ, какъ поздній мститель,
Давно задуманный ударъ.

Для битвъ онъ посланъ и расправы,
Съ собой несетъ онъ два меча:
Одинъ — сраженій мечъ кровавый,
Другой — сѣкира палача.

Но на кого?... Одна ли выя,
Народъ ли цѣлый обреченъ?...
Слова не ясны роковыя
И смутенъ замогильный стонъ.

LXX.

У вы, что нашего незнанья
И безпомощнѣй и грустнѣй?
Кто смѣетъ молвить: до свиданья!
Чрезъ бездну двухъ, или трехъ дней?

1855.

LXXI.

О, вѣщая душа моя,
О, сердце полное тревоги,
О, какъ ты бьешься на порогѣ
Какъ бы двойнаго бытія!...

Такъ, ты жилище двухъ міровъ,
Твой день — болѣзненный и страстный,
Твой сонъ — пророчески — неясный,
Какъ откровеніе духовъ...

Пускай страдальческую грудь
Волнуютъ страсти роковыя, —
Душа готова, какъ Марія,
Къ ногамъ Христа на вѣкъ прильнуть.

1855.

LXXII.

Гр. Ростопчиной.

О, въ эти дни — дни роковыя,
Дни испытаній и утратъ, —
Отраденъ будь для ней возвратъ
Въ мѣста душѣ ея родныя!

Пусть добрый, благосклонный геній
Скорѣй ведетъ на встрѣчу къ ней
И горсть живыхъ еще друзей,
И столько милыхъ, милыхъ тѣней!

1855.

LXXIII.

Пламя рдѣть, пламя пышетъ,
Искры брызжутъ и летятъ,
А на нихъ прохладой дышетъ
Изъ-за рѣчки темный садъ.
Сумракъ тутъ, тамъ жаръ и крики, —
Я брожу, какъ-бы во снѣ, —
Лишь одно я живо чую —
Ты со мной и вся во мнѣ.

Трескъ за трескомъ, дымъ за дымомъ,
Трубы голыя торчатъ,
А въ покоѣ нерушимомъ
Листья вѣютъ и шуршатъ,
Я, дыханьемъ ихъ обрѣянъ,
Страстный говоръ твой ловлю;
Слава Богу, я съ тобою,
А съ тобой мнѣ, какъ въ раю.

LXXIV.

Такъ, въ жизни есть мгновенія.

Ихъ трудно передать,

Они самозабвенія

Земнаго благодать.

Шумятъ верхи древесные

Высоко надо мной

И птицы лишь небесныя

Бесѣдуютъ со мной.

Все пошлое и ложное

Ушло такъ далеко,

Все мило-невозможное

Такъ близко и легко...

И любо мнѣ, и сладко мнѣ.

И миръ въ моей груди,

Дремотою обвѣянъ я —

О, время погоди!

LXXV.

Эти бѣдныя селенья,
Эта скудная природа —
Край родной долготерпѣнья.
Край ты русскаго народа?

Не пойметъ и не оцѣнитъ
Гордый взоръ иноплеменный,
Что сквозить и тайно свѣтитъ
Въ наготѣ твоей смиренной.

Удрученный ношей крестной,
Всю тебя, земля родная,
Въ рабскомъ видѣ, Царь Небесный
Исходилъ благословляя.

1855.

LXXVI.

Вотъ, отъ моря и до моря
Нить желѣзная бѣжитъ,
Много славы, много горя
Эта нить порой вѣститъ.

И за ней слѣдя глазами,
Путникъ видитъ, какъ порой,
Птицы вѣщія садятся
Вдоль по нити вѣстовой.

Вотъ съ поляны воронъ черный
Прилетѣлъ и сѣлъ на ней,
Сѣлъ, и каркнулъ, и крылами
Замахалъ онъ веселѣй.

И кричитъ онъ, и ликуетъ,
И кружится все надъ ней:
Ужъ не кровь-ли воронъ чуетъ
Севастопольскихъ вѣстей?

— — 15 Авг. 1855.

LXXVII.

Послѣдняя любовь.

О, какъ на склонѣ нашихъ лѣтъ
Нѣжнѣй мы любимъ и суевѣрнѣй...
Сіяй, сіяй прощальный свѣтъ
Любви послѣдней, зари вечерней!

Полнеба обхватила тѣнь
Лишь тамъ на западѣ бродить сіянье,
Помедли, помедли, вечерній день,
Продлись, продлись очарованье.

Пускай скудѣетъ въ жилахъ кровь,
Но въ сердцѣ не скудѣетъ нѣжность...
О, ты, послѣдняя любовь!
Блаженство ты и, безнадежность.

1857.

LXXVIII.

Смотри, какъ роща зеленѣеть.
Палящимъ солнцемъ облита,
И въ ней какою нѣгой вѣетъ
Отъ каждой вѣтки и листа!

Войдемъ и сядемъ надъ корнями
Деревъ, поймыхъ родникомъ, —
Тамъ, гдѣ обвѣянный ихъ мглами,
Онъ шепчетъ въ сумракѣ нѣмомъ.

Надъ нами бредятъ ихъ вершины
Въ полдневный зной погружены,
И лишь порою крикъ орлиный
До насъ доходитъ съ вышины...

LXXIX.

Народный праздникъ.

Надъ этой темною толпой
Непробужденнаго народа
Взойдешь-ли ты когда, свобода,
Блеснетъ-ли лучъ твой золотой?

Блеснетъ твой лучъ и оживить,
И сонъ разгонить и туманы...
Но старыя гнилыя раны,
Рубцы насилій и обидъ,

Растлѣнныя душъ и пустота,
Что гложетъ умъ и въ сердцѣ ноетъ...
Кто ихъ излѣчить, кто прикроетъ?
Ты риза чистая Христа...

15 Авг. 1857.

LXXX.

Есть въ осени первоначальной
Короткая, но дивная пора:
Весь день стоитъ какъ бы хрустальный,
И лучезарны вечера...

Гдѣ бодрый серпъ гулялъ и падалъ колосъ
Теперь ужъ пусто все — просторъ вездѣ, —
Лишь паутины тонкій волосъ
Блестить на празднои бороздѣ.

Пустьбѣтъ воздухъ, птицъ не слышно болѣ,
Но далеко еще до первыхъ зимнихъ бурь,
И льется чистая и теплая лазурь
На отдыхающее поле.

1857.

LXXXI.

Царское Село.

Осенней, позднею порою
Люблю я Царскосельскій садъ,
Когда онъ тихой полумглою
Какъ бы дремотою объять.
И бѣлокрылыя видѣнья,
На тускломъ озера стеклѣ,
Безгласны, тихи, безъ движенья —
Бѣлбюгъ въ этой полумглѣ...

И на широкія ступени
Екатерининскихъ дворцовъ
Ложатся сумрачныя тѣни
Октябрьскихъ раннихъ вечеровъ.
И въ тайнѣ сумрака нѣмаго
Лишь слабо свѣтитъ, подъ звѣздой,
Какъ память дальнаго былова,
Пустынный куполь золотой.

1858.

LXXXII.

Въ часы, когда бываетъ
Такъ тяжело на груди,
И сердце изнываетъ,
И тьма лишь впереди,

Безъ силъ и безъ движенья,
Мы такъ удручены,
Что даже утѣшенья
Друзей намъ не смѣшны, —

Вдругъ солнца лучъ привѣтный
Войдетъ украдкой къ намъ
И брызнетъ огнецвѣтной
Струюю по стѣнамъ;

Со тверди благосклонной,
Съ лазуревыхъ высотъ —
Вдругъ воздухъ благовонный
Въ окно на насъ пахнетъ...

Уроковъ и совѣтовъ
Они намъ не несутъ,
И отъ судьбы навѣтовъ
Они насъ не спасутъ,

Но силу ихъ мы чуемъ,
Ихъ слышимъ благодать,
И меньше мы тоскуемъ,
И легче намъ дышать...

Такъ мило благодатна,
Воздушна и свѣтла —
Душѣ моей стократно
Любовь твоя была.

1858.

LXXXIII.

Когда, что звали мы своимъ,
На вѣкъ отъ насъ ушло,
И какъ подъ камнемъ гробовымъ
Намъ станетъ тяжело,

Пойдемъ и взглянемъ вдоль рѣки,
Туда, по склону водъ,
Куда, стремглавъ, бѣгутъ струи,
Куда потокъ несетъ, —

Неодолимъ, неудержимъ.
И не вернется вспять...
И чѣмъ мы далѣе глядимъ,
Тѣмъ легче намъ дышать...

И слезы льются изъ очей,
И видимъ мы сквозь слезъ,
Какъ все быстрѣе и быстрѣй
Волненье понеслось...

Душа впадаетъ въ забытье
И чувствуетъ она,
Что вотъ умчала и ее
Великая волна...

1858.

LXXXIV.

Она сидѣла на полу
И груду писемъ разбирала,
И какъ остывшую золу,
Брала ихъ въ руки и бросала.

Брала знакомые листы
И чудно такъ на нихъ глядѣла,
Какъ души смотреть съ высоты
На ими брошенное тѣло.

И сколько жизни было тутъ,
Невозвратимо пережитой,
И сколько горестныхъ минутъ
Любви и радости убитой!

Стоялъ я молча, въ сторонѣ,
И пасть готовъ былъ на колѣни, —
И страшно, грустно стало мнѣ,
Какъ отъ присущей милой тѣни.

LXXXV.

Дорога изъ Кенигсберга въ Петербургъ.

1.

Родной ландшафтъ подъ дымчатымъ навѣсомъ
Огромной тучи снѣговой;
Синѣетъ даль съ ея угрюмымъ лѣсомъ,
Окутаннымъ осенней мглой!
Все голо такъ, и пусто, необъятно,
Въ однообразіи нѣмомъ,
Мѣстами лишь просвѣчиваютъ пятна
Стоячихъ водъ, покрытыхъ первымъ льдомъ.

Ни звуковъ здѣсь, ни красокъ, ни движенія;
Жизнь отошла, и покорясь судьбѣ,
Въ какомъ-то забытѣи изнеможенія,
Здѣсь человѣкъ лишь снится самъ себѣ.

Какъ свѣтъ дневной, его тускнѣютъ взоры;
Не вѣрить онъ, хотъ видѣлъ ихъ вчера,
Что есть края, гдѣ радужныя горы
Въ лазурныя глядятся озера...

LXXXVI.

2.

Грустный видъ и грустный часъ !
Дальній путь торопитъ насъ...
Вотъ, какъ призракъ гробовой,
Мѣсяцъ всталъ, и изъ тумана
Освѣтилъ безлюдный край...
Путь далекъ, не унывай !

Ахъ, и въ этотъ самый часъ,
Тамъ, гдѣ нѣтъ теперь ужъ насъ,
Тотъ же мѣсяцъ, но живой
Дышетъ въ зеркалъ Лемана !
Чудный видъ, и чудный край
Путь далекъ, не вспоминай !

1859.

LXXXVII.

Е. Н. Анненковой.

И въ нашей жизни повседневной
Бываютъ радужные сны —
Въ край незнакомый, въ край волшебный
И чуждый намъ и задушевный,
Мы ими вдругъ увлечены.

Мы видимъ: съ голубаго своду
Нездѣшнимъ свѣтомъ вѣетъ намъ —
Другую видимъ мы природу,
И безъ заката, безъ восходу,
Другое солнце свѣтитъ тамъ...

Все лучше тамъ, свѣтила шире —
Такъ отъ земнаго далеко...
Такъ разнo съ тѣмъ, что въ нашемъ мірѣ —
— И въ чистомъ пламенномъ эфирѣ
Душѣ такъ радостно легко.

Проснулись мы, — конецъ видѣнью
Его ничѣмъ не удержать,
И, тусклой, неподвижной тѣнью,
Отдашься общему теченью —
И жизнь охватить насъ опять !

Но долго звукъ неуловимый
Звучить надъ нами въ вышинѣ —
И предъ душой, тоской томимой,
Все тотъ же взоръ неотразимый,
Все та-жь улыбка, что во снѣ.

1859.

LXXXVIII.

Не двинулась ночная тѣнь —
Высоко въ небѣ мѣсяцъ свѣтитъ,
Царить себѣ — и не замѣтитъ
Что ужъ родился юный день,
Что хоть лѣниво и не смѣло
Лучъ возникаетъ за лучемъ —
А небо такъ еще всецѣло
Ночнымъ сіяетъ торжествомъ...
Но не пройдетъ двухъ-трехъ мгновений,
Ночь испарится надъ землею, —
И въ полномъ блескѣ проявленій
Вдругъ насъ охватитъ міръ дневной.

Дек., 8 ч. утра, 1859.

LXXXIX.

Н. Н.

(При полученіи отъ него въ подарокъ очковъ.)

Есть много мелкихъ, безымянныхъ
Созвѣздій въ горней вышинѣ, —
Для нашихъ слабыхъ глазъ туманныхъ
Недосягаемы онѣ...

И какъ онѣ бы ни свѣтили,
Не намъ о блескѣ ихъ судить, —
Лишь телескопа дивной силѣ
Онѣ подвластны, можетъ быть...

Но есть созвѣздія иныя,
Отъ нихъ иные и лучи:
Какъ солнца пламенно-живыя,
Онѣ сіяютъ намъ въ ночи...

Ихъ бодрый, радующій души,
Свѣтъ путеводный, свѣтъ благой,
Вездѣ — и въ морѣ и на сушѣ —
Вездѣ мы видимъ предъ собой.

Для міра дольняго отрада,
Они, краса небесъ родныхъ,
Для этихъ звѣздъ очковъ не надо, —
И близорукой видитъ ихъ...

1859.

XC.

Memento.

Ея послѣдніе я помню взоры
На этотъ край, на озеро и горы,
Въ роскошной славѣ западныхъ лучей:
Какъ сквозь туманъ болѣзни многотрудной,
Она, порой, ловила призракъ чѹдный, —
Весь этотъ міръ былъ такъ сочувственъ ей!

Какъ эти горы, волны и свѣтила,
И въ полутъмѣ своей она любила,
Своею чуткой, любящей душой, —
И предъ грозой, ужь близкой, разрушенъ,
Какія въ ней бывали умиленъя —
Предъ этой жизнью вѣчно-молодой!

Свѣтились Альпы, озеро дышало, —
И тутъ же намъ, сквозь слѣзъ, понятно стало,

Что чья душа такъ царственно свѣтла,
Кто до конца сберегъ ее живую, —
И въ страшную минуту роковую
Все той же будетъ, чѣмъ была!...

Женева, 1860, Сент.

ХСІ.

На юбилей князя П. А. Вяземскаго.

У Музы есть различныя пристрастья,
Дары ея даются не равно;
Стократъ она божественнѣе счастья,
Но своенравно какъ оно:

Иныхъ она лишь на зарѣ лелѣетъ,
Цѣлуетъ шелкъ ихъ кудрей молодыхъ,
Но вѣтерокъ чуть жарче лишь новѣетъ,
И съ первымъ сномъ она бѣжитъ отъ нихъ.

Тѣмъ у ручья, на луговинѣ тайной,
Нежданная, является порой,
Порадуетъ улыбкою случайной,
Но послѣ первой встрѣчи — нѣтъ второй!

Не то отъ ней присуждено вамъ было :
Васъ юношей настигнувъ въ добрый часъ,
Она въ душѣ васъ крѣпко полюбила
И долго всматривалась въ васъ.

Досужная, она не мимоходомъ
Пеклась о васъ, ласкала, берегла,
Растила вашъ талантъ, и съ каждымъ годомъ
Любовь ея нѣжнѣе все была.

И какъ съ годами крѣпнетъ, пламенѣя,
Сокъ благодатный виноградныхъ лозъ, —
И въ кубокъ вашъ все жарче и свѣтлѣе
Такъ вдохновеніе лилось.

И никогда такимъ виномъ какъ нынѣ
Вашъ славный кубокъ вѣнчанъ не бывалъ...
Давайте-жь, князь, подыmemъ въ честь богинѣ
Вашъ полный, пѣнистый фіалъ, —

Богинѣ въ честь, хранящей благородно
Залогъ всего, что свято для души,
Родную рѣчь... расти она свободно —
И подвигъ свой великій доверши!

Пототъ мы всѣ, въ молитвенномъ молчаньѣ,
Священныя поминки сотворимъ, —
Мы сотворимъ тройное возліянье
Тремъ незабвенно дорогимъ.

Нѣтъ отклика на голосъ ихъ зовущій,
Но въ свѣтлый праздникъ вашихъ именинъ,
Кому-жъ они не близки, не присущи,
Жуковскій, Пушкинъ, Карамзинъ!...

Такъ вѣримъ мы, незримыми гостями
Теперь они, покинувъ горній міръ,
Сочувственно витають между нами
И освящаютъ этотъ пиръ.

За ними, князь, во имя музы вашей,
Подносимъ вамъ заздравное вино,
И долго, долго, въ этой свѣтлой чашѣ
Пускай кипитъ и искрится оно!...

2 Марта 1861.

ХСII.

Я зналъ ее еще тогда,
Въ тѣ баснословные года,
Какъ передъ утреннимъ лучомъ
Первоначальныхъ дней звѣзда
Ужъ тонетъ въ небѣ голубомъ.

И все еще была она
Такъ свѣжей прелести полна,
Той доразсвѣтной темноты, —
Какъ бы незрима, не слышна,
Роса ложилась на цвѣты.

И жизнь ея тогда была
Такъ совершенна, такъ цѣла,
И такъ средѣ земной чужда,
Что, мнится, и она зашла, —
А не погибла, — какъ звѣзда.

27 Марта 1861.

ХСІІІ.

[ри посылкѣ Новаго Завѣта.

Не легкій жребій, не отрадный,
Быль вынута для тебя судьбой,
И рано съ жизнью безпощадной
Вступила ты въ неравный бой.

Ты билась съ мужествомъ немногихъ,
И въ этомъ роковомъ бою —
Изъ испытаній самыхъ строгихъ
Всю душу вынесла свою.

Нѣтъ, жизнь тебя не побѣдила,
И ты въ отчаянной борьбѣ
Ни разу, другъ, не измѣнила
Ни правдѣ сердца, ни себѣ.

Но скудны всѣ земныя силы:
Разсвирѣпѣтъ жизни зло —
И намъ, какъ на краю могилы,
Вдругъ станетъ страшно, тяжело.

Вотъ, въ эти-то часы, съ любовью,
О книгѣ сей ты вспомяни —
И всей душой, какъ къ изголовью,
Къ ней припади — и отдохни.

1861.

XCIV.

А. А. Фету.

Тебѣ сердечный мой поклонъ
И мой, каковъ ни есть, портретъ,
И пусть, сочувственный поэтъ,
Тебѣ, хотъ молча, скажетъ онъ:
Какъ дорогъ былъ мнѣ твой привѣтъ,
Какъ имъ въ душѣ я умиленъ.

Инымъ достался отъ природы
Инстинктъ пророчески-слѣпой —
Они имъ чуютъ, слышать воды
И въ темной глубинѣ земной...

Великой матерью любимый,
Стократъ завиднѣй твой удѣлъ —
Не разъ подъ оболочкой зримой
Ты самоё ее узрѣлъ...

1861.

ХСV.

Хоть я и свилъ гнѣздо въ долину,
Но чувствую порой и я,
Какъ животворно на вершинѣ
Бѣжить воздушная струя, —
Какъ рвется изъ густаго слоя,
Какъ жаждетъ горнихъ наша грудь,
Какъ все удушливо-земное
Она хотѣла-бъ оттолкнуть!

На недоступныя громады
Смотрю по цѣлымъ я часамъ, —
Какія росы и прохлады
Оттуда съ шумомъ льются къ намъ!
Вдругъ просвѣтлѣютъ огнецвѣтно
Ихъ непорочные свѣта :
По нимъ проходитъ незамѣтно
Небесныхъ Ангеловъ нога...

10 Окт. 1861.

XCVI.

Играй покуда надъ тобою
Еще безоблачна лазурь —
Играй съ людьми, играй съ судьбою.
Ты, жизнь, ужъ призванная къ бою —
Ты сердце, жаждущее будь!

Какъ часто, грустными мечтами
Томимый, на тебя гляжу —
И взоръ туманится слезами —
Зачѣмъ? Что общаго межъ нами?
Ты жить идешь — я ухожу.

Я слышалъ утреннія грёзы —
И первый, милый, лепетъ дня —
Но позднія, живыя грозы,
Но взрывъ страстей, но страсти слёзы
Нѣтъ, это все, не для меня...

Но, можетъ быть въ разгарѣ лѣта
Вздохнешь ты по своей веснѣ —
И вспомнишь и про время это
Какъ про забытый, до разсвѣта
Мелькнувшій призракъ въ первомъ снѣ.

1862.

ХСVII.

Когда въ кругу убійственныхъ заботъ
Намъ все мерзить, и жизнь, какъ камней грудa,
Лежить на насъ, — вдругъ, знаетъ Богъ откуда,
Намъ на душу отрадное дохнетъ,
Минувшимъ насъ обвѣсть и обниметь —
И страшный грузъ минутно приподниметь.
Такъ иногда осеннею порой,
Когда поля ужъ пусты, рощи голы,
Блѣднѣе небо, пасмурнѣе доли, —
Вдругъ вѣтръ подуетъ, теплый и сырой,
Опавшій листъ погонитъ предъ собою
А душу намъ обдастъ какъ бы весною.

1862.

ХСVIII.

Къ Н. С. А—ой.

Какъ лѣтней иногда порою
Вдругъ птичка въ комнату влетитъ
И жизнь и свѣтъ внести съ собою,
Все огласить и озарить.

Весь міръ, цвѣтущій міръ природы,
Въ нашъ уголь вносить за собой,
Зеленый лѣсъ, живыя воды
И отблескъ неба голубой:

Такъ мимолетной и воздушной
Явилась гостьей къ намъ она,
Въ нашъ міръ и чопорный, и душный,
И пробудила всѣхъ отъ сна.

Ея присутствіемъ согрѣта
Жизнь вострепелася живѣй,
И даже Питерское лѣто
Чуть не оттаяло при ней.

При ней и старость молодѣла
И опытъ сталъ ученикомъ:
Она вертѣла какъ хотѣла,
Дипломатическимъ клубкомъ...

1863.

XCIX.

Къ Н. С. А—ой.

И самый домъ нашъ будто ожилъ
Ее жилищею избравъ :
И насъ ужъ менѣе тревожилъ
Неугомонный телеграфъ.

Но кратки всѣ очарованья,
Имъ не дано у насъ гостить,
И вотъ сошлись мы — для прощанья;
Но долго, долго не забыть

Нежданно-милыхъ впечатлѣній,
Тѣ ямки розовыхъ ланить,
Ту нѣгу стройную движеній
И станъ оправленный въ магнитъ;

Радужный смѣхъ и звучный голосъ,
Полудукавый свѣтъ очей,
И этотъ длинный тонкій волосъ,
Едва доступный пальцамъ фей...

1863.

С.

Ужасный сонъ отяготѣлъ надъ нами,
Ужасный, безобразный сонъ:
Въ крови до пять, мы бьемся съ мертвецами,
Воскресшими для новыхъ похоронъ.

Осьмой ужъ мѣсяцъ длятся эти битвы,
Геройскій пылъ, предательство и ложь,
Притонъ разбойничій въ дому молитвы,
Въ одной рукѣ распятіе и ножъ,

И цѣлый міръ, какъ опьяненный ложью,
Всѣ виды зла, всѣ ухищренья зла!...
Нѣтъ никогда такъ дерзко правду Божью
Людская кривда къ бою не звала!...

И этотъ кличъ сочувствія слѣпаго,
Всемирный кличъ къ неистовой борьбѣ,
Развратъ умовъ и искаженье слова —
Все поднялось и все грозитъ тебѣ,

О, край родной! такого ополченья
Міръ не видалъ съ первоначальныхъ дней...
Велико знать, о Русь, твое значенье!
Мужайся, стой, крѣпись и одолѣй!

Москва, Авг. 1863.

СІ.

Сентябрь холодный бушевалъ,
Съ деревьевъ ржавый листъ валился,
День потухающій дымился,
Сходила ночь, туманъ вставалъ.

И все для сердца и для глазъ
Такъ было холодно-безцвѣтно,
Такъ было грустно-безотвѣтно,
Но чья-то пѣснь вдругъ раздалась.

И вотъ, какимъ-то обаяньемъ,
Туманъ, свернувшись, улетѣлъ;
Небесный сводъ поголубѣлъ
И вновь подернулся сияньемъ,

И все опять зазеленѣло,
Все обратилось въ веснѣ...
И эта греза снилась мнѣ,
Пока мнѣ птичка ваша пѣла.

СІІ.

Князю А. А. С.....ву.

Гуманный внукъ воинственнаго дѣда,
Простите намъ, нашъ симпатичный князь,
Что русскаго честимъ мы людоѣда ¹⁾,
Мы, Русскіе, Европы не спросясь!...

Какъ извинить предъ вами эту смѣлость?
Какъ оправдать сочувствіе къ тому,
Кто отстоялъ и спасъ Россіи цѣлость,
Всѣмъ жертвуя народу своему;

Кто всю отвѣтственность, весь трудъ и бремя,
Взялъ на себя въ отчаянной борьбѣ —
И бѣдное, замученное племя,
Воздвигнувъ къ жизни, вынесъ на себѣ?...

¹⁾ Гр. М. И. Муравьева, какъ называли его враги.

Кто, избранный для всѣхъ крамоль мишенью,
Всталъ и стоитъ, спокоенъ, невредимъ,
На зло врагамъ, ихъ лжи и озлобленью,
На зло, увы! и пошlostямъ роднымъ.

Такъ будь и намъ позорною уликой
Письмо къ нему отъ насъ, его друзей!
Но намъ сдается, князь, вашъ дѣдъ великій
Его скрѣпилъ бы подписью своей.

12 Ноябр. 1863.

СІІІ.

Смотри, какъ западъ загорѣлся
Вечернимъ заревомъ лучей,
Востокъ померкнувшій одѣлся
Холодной, сизой чешуей!

Въ враждѣ-ль они между собою?
Иль солнце не одно для нихъ
И, неподвижною средою
Дѣля, не соединяетъ ихъ?

1863.

CIV.

КЪ Н. Н.

Како ни бѣсилося злорѣче,
Како ни трудилося надъ ней,
Но этихъ глазъ чистосердечье, —
Оно всѣхъ демоновъ сильнѣй.

Все въ ней тако искренно и мило,
Тако всѣ движенья хороши;
Ничто лазури не смутило
Ея безоблачной души.

Къ ней и пылинка не пристала
Отъ глупыхъ сплетней, злыхъ рѣчей;
И даже клевета не смяла
Воздушный шелкъ ея кудрей.

1863.

CV.

Князю Горчакову.

Вамъ выпало призванье роковое,
Но тотъ, кто призвалъ васъ, и соблюдетъ.
Все лучшее въ Россіи, все живое
Глядитъ на васъ и вѣритъ вамъ и ждетъ.

Обманутой, обиженной Россіи
Вы честь спасли, — и выше нѣтъ заслугъ;
Днесъ подвиги вамъ предстоятъ иные:
Отстойте мысль ея, спасите духъ...

1864

CVI.

На смерть Графа Д. Н. Блудова.

И тихими послѣдними шагами
Онъ подошелъ къ окну. День вечерѣлъ,
И чистыми, какъ благодать, лучами
На западѣ свѣтился и горѣлъ.
И вспомнилъ онъ годину обновленья —
Великій день, новозавѣтный день, —
И на лицѣ его отъ умиленья
Предсмертная вдругъ озарилась тѣнь.

И разъ еще два образа родные, —
Ихъ какъ святыню въ сердцѣ онъ носилъ, —
Предстали передъ нимъ — Царь и Россія,
И отъ души онъ ихъ благословилъ.

Потомъ головой припалъ онъ къ изголовью
Послѣдняя свершалася борьба, —
И самъ Спаситель отпустилъ съ любовью
Послушнаго и вѣрнаго раба!...

19 Февр. 1864.

CVII.

Весь день она лежала въ забытѣи,
И всю ее ужь тѣни покрывали;
Лилъ теплый лѣтній дождь, его струи
По листьямъ весело звучали.

И медленно опомнилась она,
И начала прислушиваться къ шуму,
И долго слушала — увлечена,
Погружена въ сознательную думу...

И вотъ, какъ бы бесѣдуя съ собой,
Сознательно она проговорила
(Я былъ при ней, убитый, но живой):
«О, какъ все это я любила!»

Любила ты, и такъ какъ ты любить —
Нѣтъ, никому еще не удавалось,
О Господи!... И это пережить!...
И сердце на клочки не разорвалось!

..... Июль 1864.

CVIII.

Утихла буря, легче дышетъ
Лазурный сонмъ женевскихъ водъ,
И лодка вновь по нимъ плыветъ,
И снова лебедь ихъ колышетъ.

Весь день, какъ лѣтомъ, солнце грѣетъ,
Деревья блещутъ пестротой,
И воздухъ ласковой волной
Ихъ вѣтхость пышную делѣетъ.

А тамъ въ торжественномъ покоѣ,
Разоблаченная съ утра,
Сіяетъ Бѣлая Гора
Какъ откровенье неземное...

Женева, Окт. 1864.

СІХ.

Е. И. В. Государынѣ Импера-
трицѣ Маріи Александровнѣ.

1.

Кто-бъ ни былъ ты, но встрѣтись съ ней,
Душою чистой иль грѣховной,
Ты вдругъ почувствуешь живѣй
Что есть міръ лучшій, міръ духовной. —

Няца, 1864.

СХ.

2.

Вакъ не разгаданная тайна,
Живая прелесть дышетъ въ ней; —
Мы смотримъ съ трепетомъ тревожнымъ
На тихій свѣтъ ея очей:

Земное-ль въ ней очарованье,
Иль не земная благодать?
Душа хотѣла-бъ ей молиться,
А сердце рвется обожать...

Няцца, 1 Нояб. 1864.

СХІ.

О этотъ югъ, о эта Ницца!...
О, какъ ихъ блескъ меня тревожить!
Мысль, какъ подстрѣленная птица,
Подняться хочетъ и не можетъ...
Нѣтъ ни полета, ни размаху;
Висятъ поломанныя крылья,
И вся дрожить, прижавшись къ праху,
Въ сознаньи грустнаго безсилья...

Ницца, 21 Нояб. 1864.

СХІІ.

Encyclica.

Былъ день, когда Господней правды молотъ
Громилъ, дробилъ ветхозавѣтный храмъ,
И собственнымъ мечомъ своимъ заколотъ —
Въ немъ издыхалъ первосвященникъ самъ.

Еще страшнѣй, еще неумолимѣй
И въ наши дни, дни Божьяго суда,
Свершится казнь въ отступническомъ Римѣ
Надъ лже-намѣстникомъ Христа.

Столѣтья шли, ему прощалось много,
Кривые толки, темныя дѣла;
Но не простится правдой Бога
Его послѣдняя хула.

Не отъ меча погибнетъ онъ земнаго,
Мечомъ земнымъ владѣвшій столько лѣтъ!
Его погубить роковое слово:
«Свобода совѣсти есть бредъ.» —

21 Дек. 1864.

СХІІІ.

Какъ хорошо ты, о море ночное!
Здѣсь лучезарно, тамъ сиво-черно!
Въ лунномъ сіяніи, словно живое,
Ходить, и дышетъ, и блещетъ оно.

На безконечномъ, на вольномъ просторѣ
Блескъ и движеніе, грохотъ и громъ...
Тусклымъ сіяньемъ облитое море,
Какъ хорошо ты въ безлюдьи ночномъ!

Зыбь ты великая, зыбь ты морская!
Чей это праздникъ такъ празднуешь ты?
Волны несутся, гремя и сверкая,
Чуткія звѣзды глядятъ съ высоты...

Въ этомъ волненіи, въ этомъ сіяньи,
Вдругъ онѣмѣвъ, я потерянь стою,
И какъ охотно въ ихъ обаяньи
Всю потопилъ бы я душу свою!

_____ Ницца, 2 Январ. 1865.

СХІV.

Дочери Д. Θ. То—й.

Когда на то нѣтъ Божьяго согласья,
Какъ ни страдай она любя,
Душа, увы, не выстрадаетъ счастья,
Не можетъ выстрадать себя!

Душа, душа, которая всецѣло
Одной завѣтной предалась любви
И ей одной дышала и болѣла,
Господь тебя благослови!

Онъ милосердый, всемогущій,
Онъ грѣющій Своимъ лучомъ
И пышный цвѣтъ на воздухѣ цвѣтущій,
И чистый перлъ на днѣ морскомъ...

Няцца, 18 Фев. 1865.

СХV.

На кончину Е. И. В. Государя
Наслѣдника Николая Але-
ксандровича.

Все рѣшено, и онъ спокоенъ, —
Онъ, претерпѣвшій до конца...
Знать, онъ предъ Богомъ былъ достоинъ
Другаго, лучшаго вѣнца!

Другаго, лучшаго наслѣдства,
Наслѣдства Бога своего, —
Онъ, наша радость съ малолѣтства,
Онъ былъ не нашъ, онъ былъ Его...

Но между нимъ и между нами
Есть связи естества сильнѣй:
Со всѣми русскими сердцами
Теперь онъ молится о ней, —

О ней, чью горечь испытанья
Пойметъ, измѣрить только Та,
Кто, освятивъ собой страданье,
Стояла, плача, у креста...

12 Апр. 1865.

СХVI.

Телеграмма въ Петергофъ Князю П. А. Вяземскому.

Везпомощный и убогой,
И съ усилениемъ и съ тревогой,
Къ вамъ пишу, съ одра привставъ,
И привѣтъ мой хромоногой
Окрылить пусть телеграфъ.

Пусть умчить его, играя,
Въ дивный, свѣтлый уголь тотъ,
Гдѣ весь день, не умолкая,
Словно буря дождевая
Въ купахъ зелени поеть.

29 Іюня 1865.

CXVII.

Est in arundineis modulatio musica ripis.

Извучесть есть въ морскихъ волнахъ,
Гармонія въ стихійныхъ спорахъ,
И стройный мусикійскій шорохъ
Струится въ зыбкихъ камышахъ.

Невозмутимый строй во всемъ,
Созвучье полное въ природѣ, —
Лишь въ нашей призрачной свободѣ
Разладъ мы съ нею сознаемъ.

Откуда, какъ разладъ возникъ?
И отчего-же въ общемъ хорѣ
Душа не то поетъ, что море,
И ропщетъ мыслящій тростникъ?

11 Мая 1865.

СХVIII.

Какъ неожиданно и ярко,
По влажной неба синевѣ,
Воздушная воздвиглась арка
Въ своемъ минутномъ торжествѣ!
Одинъ конецъ въ лѣса вонзила,
Другимъ за облака ушла;
Она полнеба обхватила
И въ высотѣ изнемогла!

О, въ этомъ радужномъ видѣньи
Какая нѣга для очей!
Оно дано намъ на мгновенье, —
Лови его, лови скорѣй!
Смотри: оно ужъ поблѣднѣло;
Еще минута, двѣ — и что-жь?
Ушло, какъ то уйдетъ всецѣло,
Чѣмъ ты и дышешь и живешь.

Еще минута, и во всей
Неизмѣримости эфирной
Раздастся благовѣсть всемірный
Побѣдныхъ солнечныхъ лучей...

Москва, 25 Іюля 1865.

CXXI.

Ночное небо такъ угрюмо,
Заволокло со всѣхъ сторонъ:
То не угроза и не дума —
То вялый, безотрадный сонъ!
Однѣ зарницы огневия,
Воспламеняясь чередой,
Какъ демоны глухонѣмые,
Ведутъ бесѣду межъ собой.

Какъ по условленному знаку,
Вдругъ неба вспыхнетъ полоса,
И быстро выступятъ изъ мраку
Поля и дальніе лѣса!
И вотъ опять все потемнѣло,
Все стихло въ чуткой темнотѣ,
Какъ бы таинственное дѣло
Рѣшалось тамъ на высотѣ...

18 Авг. 1865.

СХХІІ.

Графинѣ А. Д. Блудовой.

Какъ жизнь ни сдѣлалась скуднѣе,
Какъ ни пришлось намъ уяснить
То, что намъ съ каждымъ днемъ яснѣе,
Что пережить — не значить жить...

Во имя милаго былова,
Во имя вашего отца,
Дадимъ же мы другъ другу слово —
Не измѣняться до конца. —

1 Марта 1866.

СХХІІІ.

И въ Божьемъ мірѣ то-жъ бываетъ,
И въ маѣ снѣгъ идетъ порой,
А все-жъ весна не унываетъ
И говоритъ: чередъ за мной!...
Безсильна, какъ она ни злися,
Несвоевременная дурь!
Мятели, вьюги улеглися,
Ужъ близко время лѣтнихъ бурь...

11 Мая 1866.

СХХІV.

Небо блѣдно-голубое
Дышетъ свѣтомъ и тепломъ,
Что-то радостно-родное
Вѣетъ, свѣтится во всемъ.

Воздухъ, полный теплой влаги,
Зелень свѣжую поить
И торжественные флаги
Зыбью тихою струить.

Чистымъ пламенемъ, спокойно
По ночамъ горять огни...
Очарованныя ночи,
Очарованные дни!

Словно, строгій чинъ природы
Преданъ былъ, на эти дни,
Духу жизни и свободы,
Духу свѣта и любви.

Словно въ вѣкъ ненарушимый.
Былъ нарушенъ вѣчный строй
И любившей и любимой —
Человѣческой душой.

Въ этомъ ласковомъ сіяньѣ,
Въ этомъ воздухѣ живомъ
Чье-то чудится дыханье,
Чей-то слышется пріемъ.

И нѣмое умиленье,
Съ благодатью чистыхъ слёзъ,
Къ намъ сошло, какъ откровенье,
И во всѣхъ отозвалось.

Не бывалое доселѣ
Понялъ вѣщій нашъ народъ,
И Дагмарова недѣля
Перейдетъ изъ рода въ родъ.

17 Сент. 1866.

СХХV.

Тихо въ озерѣ струится
Отблескъ кровель золотыхъ,
Много въ озерѣ глядится
Достопазностей бывшихъ.
Жизнь играетъ, солнце грѣетъ,
Но подъ нею и подъ нимъ
Здѣсь бывшее чудно вѣетъ
Обаяніемъ своимъ.

Солнце свѣтитъ золотое
Блещутъ озера струи,
Здѣсь великое бывшее
Словно дышетъ въ забытіи;
Дремлетъ сладко, беззаботно,
Не смущая дивныхъ сновъ
И тревогой мимолетной
Лебединыхъ голосовъ.

Царское-Село, 1866.

СХХVI.

На Смерть Графа М. Н.
Муравьева.

На гробовой его покровъ

Мы, вмѣсто всѣхъ вѣнковъ, кладемъ слова простыя:

Не много было-бъ у него враговъ,

Когда бы не твои, Россія!

1866.

CXXVII.

Умомъ Россію не понять,
Аршиномъ общимъ не измѣрить;
У ней особенная статья —
Въ Россію можно только *вприть*.
22 Нояб. 1866.

СХХVIII.

На юбилей Н. М. Карамзина.

Великій день Карамзина
Мы, поминая братской тризной,
Что скажемъ здѣсь передъ отчизной,
На что-бъ откликнулась она?

Какой хвалой благоговѣйной,
Какимъ сочувствіемъ живымъ,
Мы этотъ славный день почтимъ —
Народный праздникъ и семейный?

Какой пошлемъ тебѣ привѣтъ —
Тебѣ, нашъ добрый, чистый геній,
Средь колебаній и сомнѣній
Много-тревожныхъ этихъ лѣтъ?

При этой смѣси безобразной —
Безсильной правды, дерзкой лжи —
Такъ ненавистной для души
Высокой и ко благу страстной,

Души, какой твоя была,
Какъ здѣсь она еще боролась.
Но на призывный Божій голосъ
Неудержимо къ цѣли шла?

Мы скажемъ: будь намъ путеводной,
Будь вдохновительной звѣздой,
Свѣти въ нашъ сумракъ роковой,
Духъ цѣломудренно-свободный,

Умѣвшій все совокупить
Въ ненарушимомъ полномъ строѣ.
Все человѣчески-благое,
И русскимъ чувствомъ закрѣпить, —

Умѣвшій, не сгибая выи
Предъ обаяніемъ вѣнца,
Царю быть другомъ до конца
И вѣрноподаннымъ Россіи...

СХХІХ.

Когда дряхлѣющія силы
Намъ начинаютъ измѣнять,
И мы должны какъ старожилы
Пришельцамъ новымъ мѣсто дать,

Спаси тогда насъ добрый геній
Отъ малодушныхъ укоризнъ —
Отъ клеветы, отъ озлобленій
На измѣняющую жизнь;

Отъ чувства затаенной злости
На новый современный міръ,
Гдѣ новые садятся гости
За уготованный имъ пиръ;

Ото всего, что тѣмъ задорнѣй
Чѣмъ глубже крылось съ давнихъ поръ —
И старческой любви позорнѣй
Сварливый старческій задоръ.

Отъ желчи горькаго сознанья,
Что насъ потокъ ужъ не несётъ
И что другія есть призванья,
Другіе вызваны впередъ.

1866.

СХХХ.

Ты долго-ль будешь за туманомъ
Скрываться, Русская звѣзда,
Или оптическимъ обманомъ
Ты обличишься навсегда?

Ужель на встрѣчу жаднымъ взорамъ,
Къ тебѣ стремящимся въ ночи,
Пустымъ и ложнымъ метеоромъ
Твои разсыплются лучи?

Все гуще мракъ, все пуще горе,
Все неминуемѣй бѣда :
Взгляни, чей флагъ тамъ гибнетъ въ морѣ,
Проснись теперь, иль никогда...

Дек. 1866.

CXXXI.

...она сошла съ лица земнаго, —
 ...умъ Царей для правды есть пріютъ.
 ...не слыхалъ торжественнаго слова?
 ...вѣкамъ его передають.

И что-жь теперь? Увы, что видимъ мы?
 Кто пріютить, кто призрѣть гостью Божью?
 Ложь, злая ложь растила всѣ умы,
 И цѣлый міръ сталъ воплощенной ложью!...

Опять Востокъ дымится свѣжей кровью!
 Опять рѣзня... повсюду вой и плачь,
 И снова правъ пирующій палачъ,
 А жертвы преданы злословью!

О этотъ вѣкъ, воспитанный въ крамолахъ,
 Вѣкъ безъ души, съ озлобленнымъ умомъ,
 На площадяхъ, въ палатахъ, на престолахъ
 Вездѣ онъ правды личнымъ сталъ врагомъ!

Но есть еще одинъ пріютъ державный,
Для правды есть одинъ святой Алтарь:
Въ твоей душѣ онъ, Царь нашъ Православный,
Нашъ благодушный, честный, Русскій Царь! —

31 Дек. 1866.

СХХХІІ.

Два Единства.

Изъ переполненной Господнимъ гнѣвомъ чаши
Кровь льётся черезъ край, и Западъ тонетъ въ ней.
Кровь хлынетъ и на Васъ, друзья и братья наши,
Славянскій міръ сомкнись тѣснѣй...

«Единство» — возвѣстилъ оракулъ нашихъ дней,
Быть можетъ спаено желѣзомъ лишь и кровью,
Но мы попробуемъ спаять его любовью —
А тамъ увидимъ — что прочнѣй.

1866.

СХХХІІІ.

Графинѣ А. Д. Блудовой при
полученіи отъ нея книги Гр.
Д. Н. Б.

Какъ этого посмертнаго альбома
Мнѣ дороги завѣтные листы,
Какъ все на нихъ такъ родственно-знакомо,
Какъ полно все душевной теплоты!

Какъ этихъ строкъ сочувственная сила
Всего меня обвѣяла былымъ:
Храмъ опустѣлъ, потухъ огонь кадила,
Но жертвенный еще курится дымъ.

1 Марта 1867.

СХХХІV.

Напрасный трудъ! Нѣтъ, ихъ не вразумишь:
Чѣмъ либеральнѣй, тѣмъ они пошлѣе;
Цивилизація для нихъ фетишъ,
Но недоступна имъ ея идея.

Какъ передъ ней ни гнитесь, господа,
Вамъ не снискать признанья отъ Европы:
Въ ея глазахъ вы будете всегда
Не слуги просвѣщенья, а холопы!

Май 1867.

СХХХV.

ДЫМЪ.

(Повѣсть И. С. Тургенева.)

Здѣсь нѣкогда, могучій и прекрасный,
Шумѣлъ и зеленѣлъ волшебный лѣсъ, —
Не лѣсъ, а цѣлый міръ разнообразный,
Исполненный видѣній и чудесъ:

Лучи сквозили, трепетали тѣни;
Не умолкалъ въ деревьяхъ птичій гамъ;
Мелькали въ чащѣ быстрые олени,
И ловчій рогъ вызывалъ по временамъ.

На перекресткахъ, съ рѣчью и привѣтомъ,
На встрѣчу намъ, изъ полутьмы лѣсной,
Обвѣянный какимъ-то чуднымъ свѣтомъ,
Знакомыхъ лицъ слетался цѣлый рой.

Какая жизнь, какое обаянье,
Какой для чувств роскошный, свѣтлый пиръ!
Намъ чудились не здѣшнія созданья,
Но близокъ былъ намъ этотъ дивный міръ.

И вотъ опять къ таинственному лѣсу
Мы съ прежнею любовью подошли.
Но гдѣ же онъ? Кто опустилъ завѣсу,
Спустилъ ее отъ неба до земли?

Что это: призракъ, чары ли какія?
Гдѣ мы? И вѣрить-ли глазамъ своимъ?
Здѣсь дымъ одинъ, какъ пятая стихія, —
Дымъ безотрадный, безконечный дымъ!

Кой-гдѣ насквозь торчать, по обнаженнымъ
Пожарищамъ, уродливые пни,
И бѣгаютъ по сучьямъ обожженнымъ,
Съ зловѣщимъ трескомъ, бѣлые огни.

Нѣтъ, это сонъ! Нѣтъ, вѣтерокъ повѣетъ
И дымный призракъ унесетъ съ собой,
И вотъ, опять нашъ лѣсъ зазеленѣетъ,
Все тотъ же лѣсъ — волшебный и родной?

СХХХVІ.

На юбилей князя А. М.
Горчакова.

Въ тѣ дни криваво-роковые,
Когда, прервавъ борьбу свою,
Въ ножны вложила мечъ Россія,
Свой мечъ иззубренный въ бою, —

Онъ волей призванъ былъ державной
Стоять на стражѣ, — и онъ сталь,
И бой отважный, бой неравный,
Одинъ съ Европой продолжалъ.

И вотъ двѣнадцать лѣтъ ужъ длится
Упорный поединокъ тотъ:
Иноплеменный міръ дивится,
Одна лишь Русь его пойметъ.

Онъ первый угадалъ въ чемъ дѣло,
И имъ впервые русскій духъ
Союзной силой признанъ смѣло, —
И вотъ вѣнецъ его заслугъ.

Іюнь 1867.

СXXXVII.

Князю П. А. Вяземскому.

Теперь не то, что за полгода,
Теперь не тѣсный кругъ друзей,
Но вся великая природа
Вашъ торжествуетъ юбилей.

Смотрите, на какомъ просторѣ
Она устроила свой пиръ, —
Весь этотъ берегъ, это море,
Весь этотъ чудный лѣтній міръ.

Смотрите, какъ облитый свѣтомъ,
Ступивъ на крайнюю ступень,
Съ своимъ прощается поэтомъ
Великолѣпный этотъ день...

Онъ первый угадалъ въ чемъ дѣло,
И имъ впервые русскій духъ
Союзной силой признанъ смѣло, —
И вотъ вѣнецъ его заслугъ.

Іюнь 1867.

СXXXVII.

Князю П. А. Вяземскому.

Теперь не то, что за полгода,
Теперь не тѣсный кругъ друзей,
Но вся великая природа
Вашъ торжествуетъ юбилей.

Смотрите, на какомъ просторѣ
Она устроила свой пиръ, —
Весь этотъ берегъ, это море,
Весь этотъ чудный лѣтній міръ.

Смотрите, какъ облитый свѣтомъ,
Ступивъ на крайнюю ступень,
Съ своимъ прощается поэтомъ
Великолѣпный этотъ день...

Хотя враждебною судьбиной
И были мы разлучены,
Но все же мы — народъ единый,
Единой матери сыны!
Но все же, братья, мы родные...
Вотъ, вотъ что ненавидать въ насъ:
Вамъ — не прощается Россія,
Россіи — не прощаютъ васъ!

Смущаетъ ихъ, и до испугу,
Что вся славянская семья
Въ лицо и недругу и другу
Впервые скажетъ — это я!
При неотступномъ воспоминаньѣ
О длинной цѣпи злыхъ обидъ,
Славянское самосознанье,
Какъ Божья кара, ихъ страшить!

Давно на почвѣ европейской,
Гдѣ ложь такъ пышно разрослась,
Давно наукой фарисейской
Двойная правда создалась:
Для нихъ — законъ и равноправность,
Для насъ — насилье и обманъ...
И закрѣпила стародавность
Ихъ, какъ наслѣдіе Славянъ.

И то, что дѣлалось вѣками,
Не оскудѣло и по-днесь,
И тяготѣть и надъ нами —
Надъ нами, собранными здѣсь...
Еще болить отъ старыхъ болей
Вся современная пора:
Не тронута Коссово поле,
Не скрыта Бѣлая гора!

А между тѣмъ позоръ не малый
Въ славянской, всѣмъ родной средѣ, —
Лишь тотъ ушелъ отъ ихъ опалы
И не подвергся ихъ враждѣ
Кто для своихъ всегда и всюду
Злодѣемъ былъ передовымъ:
Они лишь нашего Гуду
Честять лобзаніемъ своимъ.

Опально-міровое племя!
Когда же будешь ты народъ?
Когда же упразднится время
Твоей и розни и невзгодъ,
И грянетъ кликъ къ объединенью,
И рухнетъ то, что дѣлитъ насъ?...
Мы ждемъ и вѣримъ Провидѣнью:
Ему извѣстны день и часъ...

И эта вѣра въ правду Бога
Ужъ въ нашей не умереть груди,
Хоть много жертвъ и горя много
Еще мы видимъ впереди...
Онъ живъ — Верховный Промыслитель,
И судъ Его не оскудѣлъ...
И слово — Царь Освободитель —
За русскій выступить предѣлъ!

1867.

СXXXIX.

Свершается заслуженная кара
За тяжкій грѣхъ, тысячелѣтній грѣхъ...
Не отвратить, не избѣжать удара,
И правда Божья видима для всѣхъ.

То Божьей правды праведная кара,
И ей въ отпоръ чью помощь ни зови, —
Свершится судъ... и папская тіара
Въ послѣдній разъ купается въ крови!

А ты, — ея носитель неповинный,
Спаси тебя Господь и отрезви —
Молись Ему, чтобы твои сѣдины
Не осквернились въ пролитой крови.

29 Окт. 1867.

CXL.

По прочтеніи депешъ Императорскаго Кабинета, напечатанныхъ въ
«Journal de St-Petersbourg».

Когда свершится искупленье,
И озарится вновь Востокъ, —
О, какъ поймутъ тогда значенье
Великолѣпныхъ этихъ строкъ!

Какъ первый яркій лучъ денницы,
Коснувшись, ихъ воспламенить,
И эти вѣщія страницы
Озолотить и освятить!

И въ изліяньи чувствъ народныхъ,
Какъ Божья чистая роса,
Племеньъ признательно свободныхъ,
На нихъ затеплится слеза!

На нихъ записана вся повѣсть
О томъ, что было и что есть, —
Изобличивъ Европы совѣсть,
Онѣ спасли Россіи честь.

Дек. 1867.

CXLI.

„Man muss die Slaven an die
Wand drücken!“

(Слова Австрійскаго Министра фонъ Бейста.)

Они кричатъ, они грозятся:
«Вотъ къ стѣнкѣ мы Славянъ прижмемъ!»
Ну, какъ бы имъ не оборваться
Въ задорномъ натискѣ своемъ!

Да, стѣнка есть — стѣна большая,
И васъ не трудно къ ней прижать, —
Да польза-то для нихъ какая?
Вотъ, вотъ что трудно угадать.

Ужасно та стѣна упруга,
Хоть и гранитная скала,
Шестую часть земнаго круга
Она давно ужъ обошла...

Ее не разъ и штурмовали —
Кой-гдѣ срывали камня три,
Но напоследокъ отступали,
Съ разбитымъ лбомъ, богатыри...

Стоить она какъ и стояла,
Твердыней смотреть боевой;
Она не то, чтобъ угрожала,
Но... каждый камень въ ней живой.

Такъ пусть же бѣшенымъ напоромъ
Тѣснятъ насъ Нѣмцы и прижмутъ
Къ ея бойницамъ и затворамъ, —
Посмотримъ, что они возьмутъ?

Какъ ни бѣсись, вражда слѣпая,
Какъ ни грози вамъ буйство ихъ, —
Не выдастъ васъ стѣна родная
Не оттолкнетъ она своихъ.

Она разступится предъ вами
И, какъ живой для васъ оплотъ,
Межъ вами станетъ и врагами
И къ нимъ по ближе подойдетъ.

СХLII.

Въ небѣ таютъ облака
И, лучистая, на зноѣ
Въ искрахъ катится рѣка,
Словно зеркало стальное.

Часъ отъ часу жаръ сильнѣй,
Тѣнь ушла къ нѣмымъ дубровамъ —
И съ бѣлѣющихъ полей
Вѣетъ запахомъ медовымъ.

Чудный день! — пройдутъ вѣка,
Также будутъ въ вѣчномъ строѣ
Течь и искриться рѣка,
И поля дышать на зноѣ.

2 Авг. 1868.

СХLIII.

Памяти Егора Петровича
Ковалевского.

И вотъ въ рядахъ отечественной рати
Опять не стало смѣлаго бойца, —
Опять вздохнуть о горестной уtratѣ
Всѣ честныя, всѣ русскія сердца.

Душа живая, онъ неборимо
Всегда себѣ былъ вѣренъ и вездѣ, —
Живое пламя, часто не безъ дыма
Горѣвшее въ удушливой средѣ.

Но въ правду вѣрилъ онъ — и не смущался,
И съ пошлостью боролся весь свой вѣкъ,
Боролся — и ни разу не поддался, —
Онъ на Руси былъ рѣдкій человѣкъ!

И не Руси одной по немъ сгрустнется:
Онъ дорогъ былъ и тамъ, въ землѣ чужой, --
И тамъ, гдѣ кровь такъ безотрадно льется,
Почтутъ его признательной слезой.

1868.

CXLIV.

М. П. Погодину.

При посылкѣ ему экземпляра Стихотвореній.

Стиховъ моихъ вотъ списокъ безобразный,
Но все равно, дарю теперь имъ васъ.
Не могъ склонить своей я лѣни праздной,
Чтобъ хоть на мигъ она имъ занялась .
Въ нашъ вѣкъ стихи живутъ два-три мгновенья.
Родятся утромъ — къ вечеру умрутъ:
Чего-жь тутъ толковать? Рука забвенья
Исправить ихъ чрезъ нѣсколько минутъ.

1868.

CXLV.

Насъ всѣхъ, собравшихся на общій праздникъ снова,
Учило нынче насъ Евангельское Слово
Въ своей священной простотѣ —
Не утаится Градъ отъ зрѣнія людскаго
«Стоя на горной высотѣ»...

Будь это и для насъ возвѣщено не все —
Завѣтомъ будь оно и Намъ —
И мы, великій день здѣсь братски торжествуя,
Поставимъ нашъ союзъ на высоту такую,
Чтобъ всѣмъ онъ видѣнъ былъ, — всѣмъ братскимъ
племенамъ.

11 Мая 1869.

CXLVI.

Ю. Ф. Абазѣ.

Такъ — гармоническихъ орудій
Власть беспредѣльна надъ душой,
И любятъ всё живые люди
Языкъ ихъ темный, но родной.

Въ нихъ что-то стонетъ, что-то бьется
Какъ въ узахъ заключенный духъ,
На волю просится и рвѣтся
И хочетъ высказаться вслухъ...

Не то совсѣмъ при вашемъ плѣнѣ,
Не то мы чувствуемъ въ себѣ:
Тутъ полнота освобожденья,
Конецъ и плѣну и борьбѣ...



Изъ тяжелой вырвавшись юдоли
И всѣ оковы разрѣша,
На всей своей ликуетъ волѣ
Освобожденная душа...

По всемогущему призыву
Свѣтъ отдѣляется отъ тьмы,
И мы на звуки *душу живу*
Въ нихъ вашу душу слышемъ мы.

1869.

CXLVII.

Двѣ силы есть, — двѣ роковыя силы,
Всю жизнь свою у нихъ мы подъ рукой,
Отъ колыбельныхъ дней — и до могилы, —
Одна есть смерть, — другая судъ людской.

И та и тотъ равно неотразимы
И безотвѣтственны и тотъ и та, —
Пощады нѣтъ — протесты нетерпимы,
Ихъ приговоръ смыкаетъ всѣмъ уста...

Но смерть честнѣй — чужда лицепріятія —
Не тронута ничѣмъ, не смущена,
Смиренную иль ропчущую братью
Своей косою равняетъ всѣхъ она.

Свѣтъ не таковъ — борьбы, разноголосья
Ревнивый властелинъ — не терпитъ онъ —
Не косить сплошь, — но лучшіе колосья
Не рѣдко съ корнемъ вырываетъ вонъ.

И горе ей — увы, двойное горе
Той гордой силѣ — гордо молодой
Вступающей съ рѣшимостью во взорѣ,
Съ улыбкой на устахъ — въ неровный бой! —

Когда она при роковомъ сознаньи
Всѣхъ правъ своихъ — съ отвагой красоты
Безтрепетно, въ какомъ то обаяньи
Идетъ сама на встрѣчу клеветы,

Личиною чела не прикрываетъ,
И не даетъ принизиться челу,
И съ кудрей молодыхъ — какъ пыль свѣваетъ
Угрозы, брань и страшную хулу, —

Да, горе ей! — и чѣмъ простосердечнѣй,
Тѣмъ кажется виновнѣе она —
Таковъ ужъ свѣтъ, онъ тамъ безчеловѣчнѣй
Гдѣ человѣчно-искреннѣй вина.

1869.

CXLVIII.

А. Н. Муравьеву.

Тамъ, гдѣ на высотѣ обрыва
Воздушный, свѣтозарный храмъ
Уходитъ выспрь — очамъ на диво —
Какъ бы парящій къ небесамъ;
Гдѣ Первозваннаго Андрея
Еще поднесъ сіяетъ крестъ,
На небѣ Кіевскомъ бѣлѣя,
Святой блюститель здѣшнихъ мѣстъ:

У ногъ его, свою обитель
Его покровомъ осѣня,
Живешь ты въ ней — не праздный житель,
На склонѣ трудового дня.
И кто бы могъ, безъ умиленья,
И нынѣ не почтить въ тебѣ
Единство жизни и стремленья
И твердость стойкую въ борьбѣ?

Да, много, много испытаній
Ты перенесъ и одолѣлъ!
Живи-жъ, не въ суетномъ сознаньи
Тобой свершенныхъ добрыхъ дѣлъ;
Живи и бодрствуй — для примѣра,
Намъ заявляющаго вновь,
Что могутъ дѣйственная вѣра
И непреклонная любовь.

1869.

— — — — —

СХLIX.

Чехамъ, въ годовщину Гуса,
при посылкѣ Чаши въ
Прагу.

На ваши, братья, празднества,
На встрѣчу вашимъ ликованьямъ,
На встрѣчу вамъ идетъ Москва
Съ благоговѣйнымъ упованьемъ...

Въ среду восторженныхъ тревогъ —
Въ разгаръ великаго волненья —
Она приноситъ вамъ залогъ,
Залогъ любви и единенья.

Примите же изъ рукъ ея
То, что и вашимъ прежде было,
Что старочешская семья
Такой цѣной себѣ купила.

Такою страшною цѣной —
Что память эта и по нынѣ
И вашей лучшею святыней —
И вашей жизненной струей.

Примите Чашу — вамъ звѣздой
Въ ночи судебъ она свѣтила
И вашу немощь возносила
Надъ человѣческой средой.

О, вспомните какимъ Она
Была вамъ знаменьемъ любимымъ —
И что въ кострѣ неугасимомъ
Она для васъ обрѣтена.

И этой-то великой мзды,
Отцевъ великихъ достоянье,
За всѣ ихъ тяжкіе труды
За всѣ ихъ жертвы и страданья

Себя лишать даете вы,
Иноплеменной дерзкой ложью —
Даете ей срамить, увы —
И честь отцевъ, и Правду Божью.

И долго-ль, долго-ль этотъ плѣнъ,
Изъ всѣхъ тягчайшій плѣнъ, духовный —
Еще сносить ты осужденъ,
О чешскій людъ единокровный?

Нѣтъ, нѣтъ, не даромъ благодать
На васъ сзывали предки ваши —
И будетъ вамъ дано понять,
Что нѣтъ спасенья вамъ безъ Чаши.

Она лишь разрѣшить въ конецъ
Призваніе вашего народа,
Въ ней и духовная свобода
И единенія вѣнецъ.

Придите-жь къ дивной Чашѣ сей —
Добытой лучшей вашей кровью, —
Придите, приступите къ Ней
Съ Надеждой, Вѣрой и Любовью!...

Москва, 1869.

СЛ.

Въ деревнѣ.

Нападеніе собаки — друга дома, на стаю гусей.

Что за отчаянные крики,
И гамъ и трепетанье крылъ;
Кто этотъ гвалтъ безумно-дикій
Такъ неумѣстно возбудилъ?!
Ручныхъ гусей и утокъ стая
Вдругъ одичала и летить,
Летить куда? Сама не зная,
И какъ шальная голосить.

Какой внезапною тревогой
Звучать всѣ эти голоса!
Не песъ, а бѣсъ четвероногой,
Бѣсъ обернувшійся во пса,

Въ порывѣ буйства, для забавы,
Самоувѣренный нахаль,
Смутилъ покой ихъ величавый
И ихъ размыкалъ, разогналъ!

И словно самъ онъ, вслѣдъ за ними,
Для довершенія обидъ,
Съ своими нервами стальными,
На воздухъ взвившись, полетить!
Какой же смыслъ въ движеніи этомъ?
Зачѣмъ вся эта трата силъ?
Зачѣмъ испугъ такимъ полетомъ
Гусей и утокъ окрылилъ?

Да тутъ есть цѣль! въ лѣнивомъ стадѣ
Замѣченъ страшный былъ застой,
И нуженъ сталъ, прогресса ради,
Внезапный натискъ роковой, —
И вотъ, благое Провидѣнье
Съ цѣпи спустило сорванца,
Чтобъ крыль своихъ предназначенье
Не позабыть имъ до конца.


Такъ, современныхъ проявленій
Смыслъ иногда и безтолковъ, —

Но тотъ-же современный геній
Всегда ихъ выяснить готовъ!
Иной, ты скажешь, просто лаеъ,
А онъ свершаетъ высшій долгъ,
Онъ, осмысля, развиваетъ
Утиный и гусиный толкъ!

19 Авг. 1869.

СЛІ.

Императрица Евгенія на
торжествѣ открытія Суэц-
каго канала.

 лаги вѣютъ на Босфорѣ,
Пушки празднично гремятъ;
Небо ясно, блещетъ море,
И ликуетъ Цареградъ.

И не даромъ онъ ликуетъ:
На волшебныхъ берегахъ
Нынѣ весело пируетъ
Благодушный падишахъ.

Угощаетъ онъ на славу
Милыхъ западныхъ друзей:
И свою бы всю державу
Заложилъ для нихъ, ей, ей...

Изъ премудраго далёка
Франкистанской ихъ земли
Погулять на счетъ Пророка
Всѣ они сюда пришли.

Пушекъ громъ и мусикія!
Здѣсь Европы всей привалъ.
Здѣсь всѣ силы міровыя
Свой справляютъ карнавалъ.

И при крикахъ изступленныхъ,
Бойкій западный разгулъ
И въ гаремахъ потаенныхъ
Двери настежь распахнулъ.

Какъ въ роскошной этой рамѣ
Дивныхъ горъ и двухъ морей
Веселится объ Исламѣ
Христіанскій съѣздъ князей!

И конца нѣтъ ихъ привѣтамъ
Обнимаетъ брата братъ...
О, какимъ отраднымъ свѣтомъ
Звѣзды Запада горять!

И всѣхъ ярче и милѣе
Свѣтитъ тутъ звѣзда одна,
Коронованная фея,
Рима дочь — ея жена.

Съ пресловутаго театра
Всѣхъ изяществъ и затѣй,
Какъ вторая Клеопатра,
Въ сонмѣ царственныхъ гостей.

На Востокъ она явилась,
Всѣмъ на радость, не на зло,
И предъ нею все склонилось:
Солнце съ Запада возшло!

Только тамъ, гдѣ тѣни бродятъ
По долинамъ и горамъ —
И куда ужъ не доходятъ
Эти клики, этотъ гамъ, —

Только тамъ, гдѣ тѣни бродятъ,
Тамъ въ ночи, изъ свѣжихъ ранъ
Кровью медленно исходятъ
Милліоны христіанъ...

Октябрь 1869.

СЛII.

А. Θ. Гильфердину.

(По случаю забалотировки его въ И. Академіи Наукъ.)

Спѣшу поздравить съ неудачей!

Она — блистательный успѣхъ,

Для васъ почетна наипаче

И назидательна для всѣхъ.

Что русскимъ словомъ, столько лѣтъ,

Вы славно служите Россіи —

Про это знаетъ цѣлый свѣтъ:

Не знаютъ Нѣмцы лишь *родные*...

Ахъ нѣтъ, то знаютъ и они;

И что въ Славянскомъ вражьемъ мірѣ

Вы совершили, — вы одни —

Все вѣдаютъ — *et inde irae*.

Во всемъ обширномъ этомъ краѣ
Они встрѣчали васъ не разъ —
Въ Балканахъ, Чехахъ, на Дунаѣ,
Вездѣ, вездѣ встрѣчали васъ.

И какъ же могъ бы безъ измѣны,
Высокодоблестный досѣль,
Въ Академическія стѣны,
Въ завѣтную ихъ цитадель,

Казною русской содержимый
Для этихъ славныхъ оборонъ —
Васъ, васъ впустить — непобѣдимый
Нѣмецкій храбрый гарнизонъ?

17 Дек. 1869.

СЛІІІ.

Гусъ на костръ.

(По поводу живої картины.)

Костёръ сооруженъ и роковое —

Готово вспыхнуть пламя — все молчить.

Лишь слышенъ легкій трескъ — и въ нижнемъ слоѣ

Костра, огонь предательски сквозить.

Дымъ побѣжалъ — народъ столпился гуще.

Вотъ всѣ они — весь этотъ темный міръ —

Тутъ и гнетомый людъ — и людъ гнетущій,

Ложъ и насилье — рыцарство и клиръ.

Тутъ вѣроломный Кесарь — и Князей

Имперскихъ и державныхъ сонмъ верховный;

И самъ Онъ — Римскій Іерархъ, въ своей

Непогрѣшимости грѣховной.

Тутъ и она — та старица простая,
Не позабытая съ тѣхъ поръ,
Что принесла, крестясь и воздыхая,
Вязанку дровъ, какъ лепту на костеръ.

И на кострѣ, какъ жертва предъ закланьемъ —
Вотъ Праведникъ великій предстоитъ —
Уже обвѣянъ огненнымъ сіяньемъ
Онъ молится — и голосъ не дрожить.

Народа Чешскаго Святой учитель,
Безтрепетный Свидѣтель о Христѣ
И Римской лжи суровый обличитель
Въ своей высокой простотѣ,

Не измѣнивъ ни богу ни народу,
Боролся онъ и былъ неборимъ —
За правду Божью, за ея свободу,
За все, за все, что бредомъ назвалъ Римъ.

Онъ духомъ въ небѣ — братскою-жъ любовью
Еще онъ здѣсь — еще въ средѣ своихъ —
И свѣтель онъ, что собственною кровью
Христову кровь онъ отстоялъ для нихъ.

О Чешскій край — о родъ единокровный!
Не отвергай наслѣдья своего —
О доверши же подвигъ свой духовный
И братскаго единства торжество.

И цѣпь порвавъ съ юродствующимъ Римомъ,
Гнетущую тебя ужь такъ давно —
На Гусовомъ кострѣ неугасимомъ
Расплавъ ея послѣднее звѣно.

17 Марта 1870.

CLIV.

Экспромптъ.

Въ альбомъ г. Ваккара, служившаго членомъ Комитета Иност. Цензуры
въ то время какъ Ѳ. И. былъ председатель онаго.

Велѣнью вышему покорны,
У мысли стоя на часахъ,
Не очень были мы задорны,
Хоть и со штуцеромъ въ рукахъ.

Мы имъ владѣли не охотно,
Грозили рѣдко — и скорѣй
Не арестантскій, а почетный
Держали караулъ при ней.

Окт. 1870.

CLV.

Природа сфинксъ. И тѣмъ она вѣрнѣй
Своимъ искусомъ губить человѣка,
Что, можетъ статься, никакой отъ вѣка
Загадки нѣтъ и не было у ней.

1870.

CLVI.

Надъ Русской Вильной стародавней
Родные теплются кресты,
И звономъ мѣди православной
Всѣ огласились вышины.

Минули вѣки искушенья,
Забыты страшныя дѣла,
И даже мерзость запустѣнья
Здѣсь райскимъ криномъ разцвѣла.

Преданье ожило святое
Первоначальныхъ лучшихъ дней,
И только позднее былое
Здѣсь въ царство отошло тѣней.

Оттуда смутнымъ сновидѣньемъ
Еще дано ему порой
Передъ всеобщимъ пробужденьемъ
Живыхъ тревожить здѣсь покой.

Природа сфинксъ. И тѣмъ она вѣрнѣй
Своимъ искусомъ губить человѣка,
Что, можетъ статься, никакой отъ вѣка
Загадки нѣтъ и не было у ней.

1870.

И
Въ
М
З
И
З
Пр
Пер
То
Вс
Л
Е
Е
В

CLVI.

Надъ Русской Вильной стародавней
Родные теплются кресты,
И звономъ мѣди православной
Всѣ огласились вышины.

Минули вѣки искушенья,
Забыты страшныя дѣла,
И даже мерзость заустѣня
Здѣсь райскимъ криномъ разцвѣла.

Преданье ожило святое
Первоначальныхъ лучшихъ дней,
И только позднее былое
Здѣсь въ царство отошло тѣней.

Оттуда смутнымъ сновидѣньемъ
Еще дано ему порой
Передъ всеобщимъ пробужденьемъ
Живыхъ тревожить здѣсь покой.

Въ тотъ часъ, какъ съ неба мѣсяцъ сходитъ
Въ холодной зимней полумглѣ,
Еще какой-то призракъ бродить
По оживающей землѣ.

1870.

CLVII.

На кончину Брата.

(Н. И. Тютчева.)

Братъ, столько лѣтъ сопутствовавшій мнѣ,
И ты ушелъ, куда мы всѣ уйдемъ,
И я теперь на голой вышинѣ
Стою одинъ — и пусто все кругомъ.

И долго-ль мнѣ стоять здѣсь одному?
День, годъ, другой — и пусто будетъ тамъ,
Гдѣ я теперь смотрю въ ночную тьму,
— Но что со мной — не сознавая самъ...

Безслѣдно все, и такъ легко не быть!
При мнѣ иль безъ меня — что нужды въ томъ?
Все будетъ тожь — и вьюга также выть,
И тотъ же мракъ, и та же степь кругомъ.

Прямъ честности, съ гордыней —
Все рушится само собой.

И вотъ: «Свободная стихия.
— Сказали бы нашу постъ родной —
Шумишь ты какъ в дни былые
«И Катень въины голубья
«И блещешь грядомъ красой!»...

Пятнадцать лѣтъ тебя держало
Насилье въ западномъ плѣну —
Ты не сдавалась и роптала —
Но часъ пробилъ — насилье пало —
Оно пошло какъ ключъ ко дну.

Опять зовешь и къ дѣлу нудить
Родную Русь, твоя волна —
И къ распрѣ той, что Богъ разсудить...
Великій Севастополь будить
Отъ заколдованнаго сна.

И то, что ты во время оно
Отъ бранныхъ скрыла непогодъ,
Въ свое сочувственное лоно —

Отдашь ты намъ и безъ урона —
Безсмертный черноморскій флотъ.

Да, — въ сердцѣ русскаго народа
Святиться будетъ этотъ день —
Онъ наша внѣшняя свобода —
Онъ Петропавловскаго свода
Освѣтитъ гробовую сѣнь.

2 Марта 1871.

СЛІХ.

Князю Горчакову.

Да, вы сдержали ваше слово :
Не двинувъ пушки, ни рубля,
Въ свои права вступить готова
Родная русская земля.

И намъ завѣщанное море
Опять свободною волной,
О краткомъ позабывъ позорѣ,
Лобзаеть берегъ свой родной.

Счастливъ, въ нашъ вѣкъ, кому побѣда
Далась не кровью, а умомъ,
Счастливъ, кто точку Архимеда
Умѣлъ найти въ себѣ самомъ.

Но кончено-ль противоборство?
И какъ могучій нашъ рычагъ
Ослабитъ въ умникахъ упорство
И сдвинетъ глупость въ дуракахъ?

CLX.

Въ Альбомъ А. В. Плетневой.

Чему бы жизнь насъ ни учила,
Но сердце вѣрить въ чудеса :
Есть нескудбѣющая сила,
Есть и нетлѣнная краса.

Нѣтъ — то не призрачныя тѣни,
Не мѣръ лишь видимый во снѣ, —
Онѣ — превыше всѣхъ сомнѣній —
Ужъ потому, что то — онѣ...

Нѣтъ! увяданіе земное,
Цвѣтовъ не тронетъ не земныхъ,
И отъ полуденнаго зноя
Роса не высохнетъ на нихъ —

И эта вѣра не обманетъ
Того, кто ею лишь живетъ:
Не все, что здѣсь цвѣло, увянетъ...
Не все, что было здѣсь, пройдетъ!...

Но этой вѣры для немногихъ,
Лишь тѣмъ доступна благодать,
Кто въ искушеньяхъ жизни строгихъ,
Какъ вы, умѣлъ, любя, страдать.

Чужіе врачевать недуги
Своимъ страданіемъ умѣлъ,
Кто душу положилъ за други
И до конца все претерпѣлъ.

1871.

CLXI.

По дорогѣ во Вчижѣ.

Отъ жизни той, что бушевала здѣсь —
Отъ крови той, что здѣсь рѣкой лилась
Что уцѣлѣло, что дошло до насъ?
Два, три кургана видимъ мы поднесъ...

Да два, три дуба выросли на нихъ —
Раскинувшись и широко и смѣло —
Красуются, шумять и нѣтъ имъ дѣла,
Чей прахъ, чью память кроютъ корни ихъ.

Природа знать не знаетъ о быломъ,
Ей чужды наши призрачные годы,
И передъ ней мы смутно сознаёмъ
Себя самихъ — лишь грёзою природы.

Поочередно всѣхъ своихъ дѣтей,
Свершающихъ свой подвигъ бесполезный,
Она равно привѣтствуетъ — своей
Всепоглощающей и миротворной бездной.

17 Авг. 1871.

CLXII.

Дочери М. Θ. Б—ой.

(На праздникъ Пасхи.)

День православнаго Востока,
Святой, святой, великій день,
Разлей свой благовѣсть широко
И всю Россію имъ одѣнь.

Но и святой Руси предѣломъ
Его призыва не стѣсняя:
Пусть слышенъ будетъ въ мірѣ цѣломъ,
Пускай онъ льется черезъ край,

Своею крайнею волною
И ту долину захвата,
Гдѣ бьется съ немощію злою
Мое родимое дитя.

Тотъ свѣтлый край, куда въ изгнанье
Она судьбой увлечена,
Гдѣ неба южнаго дыханье
Какъ врачевство лишь пьетъ она.

О, дай болящей исцѣленье,
Оградой въ душу ей полей,
Чтобы въ Христово Воскресенье
Всецѣло жизнь воскресла въ ней...

1872.

СЛХШ.

Памяти А. Θ. Гильфердингу.

Онъ родомъ былъ не Славянинъ,
Но былъ Славянствомъ всёмъ усвоенъ:
Онъ дѣломъ доказалъ, что въ полѣ и одинъ
Быть можетъ доблестный и храбрый воинъ!

1873.

ПЕРЕВОДЫ.

I.

Къ Нисѣ.

Ниса, Ниса, Богъ съ тобою!
Ты презрѣла дружнѣй гласъ,
Ты поклонниковъ толпою
Оградилася отъ насъ.

Равнодушно и безпечно,
Легковѣрное дитя,
Нашу дань любви сердечной
Ты отвергнула путя.

Нашу вѣрность промѣняла
На невѣрный блескъ, пустой, —
Нашихъ чувствъ тебѣ, знать, мало:
Ниса, Ниса, Богъ съ тобой!

1824.

II.

О Наполеонѣ.

(Изъ Манцони.)

Высокаго предчувствія
Порывы и томленье;
Души, господства жаждущей,
Кипящее стремленье,
И замысловъ событіе
Несбыточныхъ какъ сонъ:

Все испыталъ онъ. Счастіе.
Побѣду, заточенье,
И все судьбы пристрастіе,
И все ожесточенье.
Два раза брошенъ былъ во прахъ
И два раза на тронъ!...

Явился: два столѣтія
Въ бореніи жестокомъ,

Его узрѣвъ, смирились вдругъ,
Какъ предъ всеильнымъ рокомъ:
Онъ повелѣлъ умолкнуть имъ
И сѣлъ межъ нихъ судьей!

Исчезъ, и въ ссылкѣ довершилъ
Свой вѣкъ неимовѣрный —
Предметъ безмѣрной зависти
И жалости безмѣрной,
Предметъ вражды неистовой,
Преданности слѣпой!...

.
.

Какъ часто предъ кончиной дня —
Дня безотрадной муки —
Потупивъ молніи очей,
Крестомъ сложивши руки,
Стоялъ онъ, и минувшее
Овлаждѣвало имъ.

Онъ зрѣлъ въ умѣ: подвижные
Шатры, равнины боевъ,
Рядовъ пѣхоты длинный блескъ,
Потоки конныхъ строевъ —

Желѣзный міръ и дышущій
Велѣніемъ однимъ !...

О, подъ толикимъ бременемъ
Въ немъ сердце истомилось
И духъ упалъ... Но сильная
Къ нему рука спустилась
И къ небу, милосердая,
Его приподняла!...

1824.

III.

Пѣснь скандинавскихъ
воиновъ.

Хладенъ, свѣтелъ,
День проснулся —
Ранній петель
Встрепенулся —
Дружина, воспрянь!
Вставайте, о други!
Бодръй, бодръй
На пиръ мечей,
На брань!...

Предъ нами нашъ вождь!
Мужайтесь, о други. —
И вслѣдъ за могучимъ
Ударимъ грозой!...

Вихремъ помчимся,
Сквозь тучи и громъ,
Къ солнцу побѣды
Вслѣдъ за орломъ!

Гдѣ битва мрачнѣе, воители чаще,
Гдѣ срослися щиты, гдѣ сплелися мечи,
Туда онъ ударить — перунъ вседробящій,
И слѣдъ огневъзвѣздный и кровью горящій —
Пророетъ дружинѣ въ желѣзной ночи.

За нимъ, за нимъ въ ряды враговъ,
Смѣлѣй, друзья — за нимъ!...
Какъ груды скалъ, какъ море льдовъ —
Прорвемъ ихъ и стѣснимъ!

Хладенъ, свѣтель,
День проснулся —
Ранній петель
Встребенулся
Дружина, воспрянь!

Не кубокъ кипящій душистаго меда
Румяное утро героямъ вручить;
Не сладостныхъ женъ любовь и бесѣда
Вамъ душу согрѣетъ и жизнь оживить;

Но вась обновленныхъ прохлагоу сна,
Кровавая битвы подыметъ волна!...

Дружина, воспрянь!

Смерть иль побѣда!

На брань!...

1826.

IV.

Подражаніе Арабскому.

Клянусь коня волнистой гривой
И брызгомъ искръ его копытъ,
Что голосъ Бога справедливой
Надъ міромъ скоро прогремить!...

Клянусь вечернею зарею
И блескомъ утра золотымъ :
Онъ семь небесъ своей рукою
Одно воздвигнулъ надъ другимъ.

Не Онъ ли яркими огнями
Зажегъ сей безпредѣльный сводъ
И онъ же, легкими крылами
Парящихъ птицъ хранитъ полётъ?

Когда же пламенной струею
Сверкають гордо небеса
Надъ озаренною землею —
Не Бога ли блеснить краса?...

Безъ вѣры въ Бога — мимо, мимо
Промчится радость Бытія!...
Пошлетъ ли онъ огонь безъ дыма?
И дымъ пошлетъ ли безъ огня?...

1827.

V.

Пѣснь Радости.

(Шиллера.)

Радость, первенецъ творенья,
Дщерь великаго Отца,
Мы, какъ жертву прославленья
Предаемъ тебѣ сердца!
Все что дѣлать прихоть свѣта
Твой Алтарь сближаетъ вновь —
И душа тобой согрѣта
Пѣть въ лучахъ твоихъ любовь!

Хоръ.

Въ кругъ единый Божьи чада!
Вашъ отецъ глядитъ на васъ!
Святъ Его призывный гласъ,
И вѣрна Его награда!

Кто небесъ провидѣлъ сладость,
Кто любилъ на сей земли,
Въ миломъ взорѣ черпалъ радость, —
Радость нашу раздѣли:
Всѣ чье сердце сердцу друга
Въ братской вторило груди;
Кто жъ не могъ любить, — изъ круга
Прочь, съ слезами отойди!...

Хоръ.

Душъ родство! о лучъ небесный
Вседержащее звено!
Къ небесамъ ведетъ оно,
Гдѣ витаетъ Неизвѣстный!

У груди благой природы
Все что дышетъ, Радость пьетъ!
Всѣ созданья, всѣ народы,
За собой она ведетъ:
Намъ друзей дала въ несчастьѣ —
Гроздїй сокъ, вѣнки Харить, —
Насѣкомымъ — сладострастье —
Ангель — Богу предстоить.

Хоръ.

Что, сердца, благовѣстите?
Иль Творецъ сказался вамъ?
Здѣсь, лишь тѣни — Солнце тамъ. —
Выше звѣздъ Его ищите!...

Душу Божьяго творенья
Радость вѣчная поить,
Тайной силою броженъя
Кубокъ жизни пламенить;
Травку выманила къ свѣту
Въ солнцы — хаосъ развила
И въ пространствахъ, — звѣздочету
Неподвластныхъ — разлила.

Хоръ.

Какъ міры катятся слѣдомъ
За вседвижущимъ перстомъ,
Къ нашей цѣли потечёмъ
Бодро, какъ герой къ побѣдамъ.

Въ яркомъ истины зеркалѣ
Образъ твой очамъ блеситъ

Въ горькомъ опыта фіалъ
Твой алмазъ на днѣ горитъ.
Ты какъ облакъ прохладенья,
Намъ предходишь средь трудовъ —
Свѣтишь утромъ возрожденья
Сквозь разсѣлины гробовъ.

Хоръ.

Вѣрьте правящей Десницѣ! —
Наши скорби, слезы, вздохъ,
Въ ней хранятся какъ залогъ
И искупаются сторицей!

Кто постигнетъ Провидѣнье?
Кто явить стези Его?
Въ сердцѣ сыщемъ откровенье,
Сердце скажетъ Божество!
Прочь вражда съ земнаго круга!
Породнись душа съ душой!
Жертвой мести — купимъ друга
Пурпуръ — вретница цѣной.

Хоръ.

Мы врагамъ своимъ простили
Въ книгѣ жизни нѣтъ долговъ —

Тамъ, въ святилищѣ міровъ
Судитъ Богъ какъ мы судили.

Радость грозды наливаетъ —
Радость кубки пламенить,
Сердце дикаго смягчаетъ,
Грудь отчаянья живить.
— Въ искрахъ къ небу брызжетъ пѣна,
Сердце чувствуетъ полнѣй; —
Други, братья, — на колѣна!
Всеблаговому кубокъ сей!...

Хоръ.

Ты, чья мысль духовъ родила,
Ты, чей взоръ міры зажегъ!
Пьемъ Тебѣ, Великій Богъ!
Жизнь міровъ и душъ свѣтило.

Слабымъ — братскую услугу —
Добрымъ — братскую любовь,
Вѣрность клятвъ — врагу и другу —
Долгу въ дань — всю сердца кровь!
Гражданина голосъ смѣлой
На совѣтъ къ земнымъ богамъ;

Торжествуй святое Дѣло —
Вѣчный стыдъ его врагамъ !

Хоръ.

Нашу длань къ Твоей, Отецъ,
Простираемъ въ безконечность!
Нашимъ клятвамъ даруй вѣчность
Наши клятвы — гимнъ сердецъ !

Мюнхенъ, 1823.

VI.

Поминки.

(Изъ Шиллера.)

Пала царственная Троя,
Сокрушенъ Пріамовъ градъ,
И Ахеяне, устроя
Свой на родину возвратъ,
На судахъ своихъ сидѣли,
Вдоль Эгейскихъ береговъ,
И пѣанъ хвалебный пѣли,
Громко славя всѣхъ боговъ...
Раздавайся, гласъ побѣдный!
Вы, къ брегамъ родной земли
Окрыляйтесь, корабли,
Въ путь возвратный, въ путь безбѣдный!

И сидѣла въ длинномъ строѣ
Грустно, блѣдная семья:

Жены, дѣвы падшей Трои,
Голося и слёзы лья, —
Въ горѣ общемъ и великомъ
Плача о себѣ самихъ...
И съ побѣднымъ, буйнымъ кликомъ
Дико вопль сливался ихъ:

«Ждетъ насъ горькая неволя
Тамъ, вдали, въ странѣ чужой!
Ты, прости, нашъ край родной!
Какъ завидна мертвыхъ доля!»

И предсталъ передъ святыней
Приноситель жертвъ, Калхасъ,
Градовиждущей Аѳинѣ,
Градорушащей — молясь —
Посейдона силѣ грозной
Опоясавшаго міръ,
И тебѣ, эгидоносный
Зевсѣ, сгущающій эфиръ!...
Опрокинуть, уничтоженъ,
Градъ великій, Иліонъ!
Долгій, долгій споръ рѣшенъ —
Судъ безсмертныхъ непреложенъ!

Грозныхъ полчищъ воевода
Царь царей, Атревъ сынъ,

Обозрѣлъ толпы народа
Уцѣлѣвшій строй дружинъ.
И поникъ онъ головою,
Грустной думой одержимъ:
Много ихъ пришло подъ Трою;
Мало ихъ вернется съ нимъ...
Такъ возвысьтежъ гласъ хвалебный!
Пой и радуйся стократъ,
У кого златой возвратъ
Не похитилъ рокъ враждебный!

Но не всѣмъ сужденъ отъ Бога
Мирно-радостный возвратъ:
У домашняго порога
Многихъ Керы сторожатъ...
Живъ и цѣль вернулся съ бою —
Гибнетъ въ храминѣ своей!...
Рекъ, Аеиной всеблагою
Вдохновенный Одисей...
Тотъ лишь домъ и твердъ и проченъ,
Гдѣ семейный твердъ уставъ!
Легковѣренъ женской нравъ,
И измѣнчивъ, и пороченъ!...

И супругой возвращенной —
Снова счастливый Атридъ:

Красотой ея священной
Страстный взоръ свой веселить!...
Злое — злой конецъ пріемлетъ!
За нечестьемъ казнь слѣдитъ!
Въ небѣ судъ боговъ не дремлетъ!
Право царствуетъ Кронидъ...

Злой конецъ — началу злomu!
Правоправящій Кронидъ
Вѣроломцу страшно мститъ
И семьѣ его и дому!

Хорошо, любимцамъ счастья,
— Рекъ Аякса братъ меньшей —
Олимпійцевъ самовластье
Величать своей хвалою!...
Неподвластно Вышней силѣ
Счастье въ прихотяхъ своихъ:
Другъ Патроклъ давно въ могилѣ,
И Терситъ еще въ живыхъ!...

Счастье жеребін сѣтъ
Своевольною рукой
Веселись и пѣсни пой
Тотъ, кого свѣтило грѣтъ!

Будь утѣшенъ, братъ любимый!
Память вѣчная тебѣ!

Ты, оплотъ несокрушимый
Чадъ Ахейскихъ въ ихъ борьбѣ!
Въ день ужасный, въ день кровавый
Ты одинъ за всѣхъ стоялъ!
Но, не сильный, а лукавый
Мзду великую стяжалъ?...

Не врага рукой побѣдной —
Отъ руки ты палъ своей...
Ахъ! и лучшихъ изъ людей
Часто губить гнѣвъ зловерный!

И твоей теперь, державной
Тѣни, доблестный Пелидъ,
Сынъ твой, Пирръ, воитель славный,
Возліяніе творить:
«Какъ тебя, о, мой родитель!
Никого — онъ возгласилъ —
Зевсъ, великій промыслитель,
На землѣ не возносилъ!

На землѣ, гдѣ все измѣнно,
Выше славы блага нѣтъ!
Наша персть — земля возметъ
Имя славное нетлѣнно!...

Хоть о падшихъ, побѣжденныхъ
И молчить побѣдный кликъ;

Но, и въ родахъ отдаленныхъ,
Гекторъ, будешь ты великъ!...
Вѣчной памяти достойнъ,
— Сынъ Тизеевъ провѣщаль —
Кто, какъ честный, храбрый воинъ,
Край отцовъ спасая, палъ!...

Честъ тому, кто не робѣя,
Жизнь за братій положилъ!
Побѣдитель... побѣдилъ; —
Слава падшаго святѣе!...

Старецъ Несторъ, днесъ — маститый
Братникъ, кубокъ взявъ, встаетъ —
И сосудъ, плющомъ обвитый,
Онъ Гекубѣ подаетъ:
Мать! вкуси струи цѣлебной
И забудь весь свой уронъ!
Силенъ Вакха сокъ волшебный!
Дивно насъ врачуетъ онъ!

Мать! вкуси струи цѣлебной
И забудь судебъ законъ —
Дивно насъ врачуетъ онъ,
Бога Вакха даръ волшебный!

И Ніобы древней сила,
Горемъ злымъ удручена,

Соку дивнаго вкусила —
И утѣшилась она!
Лишь сверкнетъ въ застольной чашѣ
Благодатное вино —
Въ Лету рухнетъ горе наше
И поидеть, какъ ключъ, на дно...
Да, пока играетъ въ чашѣ
Всемогущее вино,
Горе въ Лету снесено,
Въ Летѣ тонетъ горе наше!

И воздвиглась на прощаньѣ
Провозвѣстница — жена,
И исполнилась вѣщанья
Вдохновеннаго она --
И пожарище родное
Обозрѣвъ въ послѣдній разъ:
«Дымъ и паръ здѣсь все земное!
Вѣчность, боги, лишь у васъ!
Какъ уходятъ клубы дыма —
Такъ уходятъ наши дни!
Боги, вѣчны вы одни!...
Все земное идетъ мимо!»

VII.

(Изъ Шиллера.)

«Es lächelt der See.»

Съ озера вѣетъ прохлада и нѣга —
Отрокъ заснулъ, убаюканъ у берега.

Блаженные звуки
Онъ слышитъ во снѣ:
То ангеловъ лики
Поютъ въ вышинѣ.

И вотъ онъ очнулся отъ райскаго сна, —
Его обнимая, ласкаетъ волна,
И слышитъ онъ голосъ,
Какъ ропотъ струи:
«Приди, мой красавецъ,
Въ объятья мои!»

VIII.

Wilhelm Meister.

(Изъ Гёте.)

«Wer nie sein Brod mit Thränen ass.»

Кто съ хлѣбомъ слезъ своихъ не ѣлъ,
Кто въ жизни цѣлыми ночами,
Стеня, на ложѣ не сидѣлъ, —
Тотъ не знакомъ съ небесными властями!
.
Нѣтъ на землѣ проступка безъ отищенья!

IX

Wilhelm Meister.

(Изъ Гёте.)

«Wer sich der Einsamkeit ergibt.»

Кто хочетъ міру чуждымъ быть,
Тотъ скоро будетъ чуждъ, —
Ахъ, людямъ есть кого любить,
Что имъ до нашихъ нуждъ!

Такъ! Что вамъ до меня!
Что вамъ бѣда моя!
Она лишь про меня —
Съ ней не разстанусь я!

Какъ крадется къ милой любовникъ тайкомъ :

«Откликнись, другъ милый, одна-ль?»

Такъ бродить и ночью и днемъ,
Кругомъ меня тоска,
Кругомъ меня печаль!...

Ахъ, развѣ лишь въ гробу
Отъ нихъ укрытся мнѣ —
Въ гробу, въ землѣ сырой —
Тамъ бросать и онѣ!...

Х.

Wilhelm Meister.

(Изъ Гёте.)

«Kennst du das Land?»

Ты знаешь край, гдѣ миртъ и лавръ растеть,
Глубокъ и чистъ лазурный неба сводъ,
Цвѣтетъ лимонъ и апельсинъ златой
Какъ жаръ горить подъ зеленью густой?...
Ты знаешь край?... Туда, туда съ тобой
Хотѣла-бъ я укрыться, милый мой!...

Ты знаешь высь съ стезей по крутизнамъ,
Лошакъ бредеть въ туманѣ, по скаламъ,
Въ ущельяхъ горъ отродѣ змѣй живетъ,
Гремитъ обвалъ и водопадъ реветъ?...
Ты знаешь путь?... Туда и намъ съ тобой
Слѣдъ проложенъ: уйдемъ, Властитель мой!

Ты знаешь домъ, на мраморныхъ столбахъ,
Сіяетъ залъ и куполь весь въ лучахъ;
Глядятъ кумиры молча и грустя:
«Что, что съ тобою, бѣдное дитя?...»

Ты знаешь домъ?... Туда, туда съ тобой
Уйдемъ скорѣй, уйдемъ, родитель мой!

XI.

Саконтала.

(Изъ Гёте.)

Чтò юный годъ даетъ цвѣтамъ —
Ихъ дѣвственный румянецъ,
Чтò зрѣлый годъ даетъ плодамъ —
Ихъ царственный багрянецъ,
Чтò нѣжить взоръ и веселить
Какъ перлъ, въ моряхъ цвѣтущій,
Чтò грѣетъ душу и живить
Какъ нектаръ всемогущій,
Весь цвѣтъ сокровищницъ мечты,
Весь полный цвѣтъ творенья,
И, словомъ, небо красоты
Въ лучахъ воображенья, —
Все, все поэзія слила
Въ тебѣ одной, Саконтала.

ХП.

Привѣтствіе духа.

(Изъ Гёте.)

На старой башнѣ, у рѣки,
Духъ рыцаря стоитъ
И лишь завидитъ челноки,
Привѣтомъ ихъ дарить:

«Кипѣла кровь и въ сей груди,
«Кулакъ былъ изъ свинца,
«И богатырскій мозгъ въ кости,
«И кубокъ до конца!

«Пробушевалъ полжизни я
«Другую проволокъ;
«А ты плыви, плыви, ладья,
«Куда несетъ потокъ.

XIII.

Изъ Фауста.

(Изъ Гёте.)

.....ФАУСТЪ.....

Зачѣмъ губить въ уныніи пустомъ
Сего часа благое достоянье?...
Смотри, какъ хижины кругомъ
Осыпало вечернее сіянье...
День пережить, и къ небесамъ инымъ
Свѣтило дня несетъ животворенье...
О, гдѣ крыло, чтобъ взвиться вслѣдъ за нимъ,
Прильнуть къ его лучамъ, слѣдить его теченье!
У ногъ моихъ лежитъ прекрасный міръ
И, вѣчно-вечерѣющій, смѣется...
Всѣ выси въ заревѣ, во всѣхъ долинахъ миръ,
Сребристый ключъ въ златыя рѣки льется.
Надъ цѣпью дикихъ горъ, лѣсистыхъ странъ
Полетъ богоподобный вѣть,
И ужъ вдали открылся и свѣтлѣетъ

Съ заливами своими океанъ...
Но свѣтлый богъ главу въ пучины клонить
И вдругъ крыла таинственная мочь
Вновь ожила и вслѣдъ за уходящимъ гонить,
И вновь душа въ потокахъ свѣта тонетъ.
Передо мною день, за мною ночь,
У ногъ равнина водъ и небо надъ главою!
Прекрасный сонъ!... и суетный!... прости!...
Къ крыламъ души, парящимъ надъ землею,
Не скоро намъ тѣлесныя найти!...
Но сей порывъ, сіе и вверхъ и вдаль стремленье,
Оно природное внушенье,
У всѣхъ людей оно въ груди
И оживаетъ въ нихъ порою,
Когда весной, надъ нашей головою,
Изъ облаковъ пѣснь жавронка звенить,
Когда надъ крутизной лѣсистой
Орелъ, ширяся, парить,
Поверхъ озеръ изъ степи чистой
Журавль на родину спѣшить...

XIV.

Egmont.

(Изъ Гёте.)

«Freudvoll
Und leidvoll.»

Радость и горе въ живомъ упоеньи,
Думы и сердце въ вѣчномъ волненьи
Въ небѣ ликуя, томясь на земли,
 Страстно ликующей
 Страстно тоскующей
Жизни блаженство въ одной лишь любви... —

1870.

XV.

Завѣтный кубокъ.

(Изъ Гёте.)

Былъ Царь, какъ мало ихъ нынѣ, —
По смерть онъ вѣренъ былъ:
Отъ милой, при кончинѣ,
Онъ кубокъ получилъ.

Цѣнилъ его высоко,
И часто осушалъ ;
Въ немъ сердце сильно билось,
Лишь кубокъ въ руки бралъ.

Когда-жъ сей міръ покинуть
Пришелъ его чередъ:
Онъ дѣлитъ все наслѣдство, —
Но кубокъ не даетъ.

И въ замокъ что надъ моремъ
Друзей своихъ созвалъ —
И съ ними на прощанье,
Тамъ сидя, пиروвалъ.

Въ послѣдній разъ упился
Онъ влагой огневой —
Надъ бездной наклонился
И, въ море кубокъ свой.

На дно палъ кубокъ морское —
Онъ палъ — пропалъ изъ глазъ, —
Забилось ретивое —
Царь пилъ въ послѣдній разъ !

XVI.

Пѣвецъ.

(Изъ Гёте.)

Что тамъ за звуки предъ крыльцомъ?
«За гласы предъ вратами?...
«Въ высокомъ теремѣ моемъ
«Раздайся пѣснь предъ нами!...»
Король сказалъ и Пажъ бѣжить,
Вернулся Пажъ, Король гласить:
«Скорѣй впустите старца!...» —
«Хвала Вамъ, Витязи, и честь
«Вамъ, дамы, обожанья!...
«Какъ звѣзды въ небѣ перечестъ!
«Кто знаетъ ихъ названья!...
«Хоть взоръ манить сей рай чудесъ,
«Закройся взоръ, — не время здѣсь,
«Васъ праздно тѣшить, очи!» —

Сѣдой пѣвецъ глаза смѣжилъ,
И въ струны грянулъ живо.
У смѣлыхъ взоръ смѣлѣй горить
У женъ поникъ — стыдливо...
Плѣнился Царь его игрой,
И плѣтъ за цѣпью золотой
Почтить пѣвца сѣдаго!...

«Златой мнѣ цѣпи не давай, —
«Награды сей не стою;
«Ее ты Рыцарямъ отдай
«Безстрашнымъ среди бою;
«Отдай ее своимъ Дьякамъ
«Прибавъ къ ихъ прочимъ тяготамъ
«Сіе златое бремя!...
«По Божьей волѣ я пою
«Какъ птичка въ поднебесьѣ,
«Не чая мзды за пѣснь свою —
«Мнѣ пѣснь сама возмездье!...
«Просилъ бы милости одной: —
«Вели мнѣ кубокъ золотой,
«Виномъ наполнить свѣтлымъ!»

Онъ кубокъ взялъ и осушилъ,

И слово молвилъ съ жаромъ:

«Тотъ домъ самъ Богъ благословилъ
«Гдѣ это — скуднымъ даромъ!...


«Свою вамъ милость Онъ пошли,
«И васъ утѣшь на сей земли,
«Какъ я утѣшенъ Вами!...»

XVII.

(Изъ Гётева Западо-Восточнаго Дивана.)

Западъ, Нордъ и Югъ въ крушеньи
Троны, Царства въ разрушеньи —
На Востокъ укройся дальной
Воздухъ пить патріархальной!
Въ пѣсняхъ, играхъ, пированьѣ,
Обнови существованье.

Тамъ проникну, въ сокровенныхъ
До истоковъ потаенныхъ
Первородныхъ поклоненій —
Гласу Божіихъ вельній
Непосредственно внимавшихъ
И ума не подрывавшихъ!...



Память праотцевъ святившихъ
Иноземію претившихъ
Гдѣ во всемъ хранилась мѣра
Мысль тѣсна, просторна вѣра,
Слово, — въ силѣ и почтеньѣ
Какъ живое откровенье!...

То у Пастырей подъ кущей
То въ оазисѣ цвѣтущей,
Съ караваномъ отдохну я,
Ароматами торгуя:
Изъ пустыни въ поселенья
Изслѣжу всѣ направленья.

Пѣсни Гафиза святыя
Услаждать стези крутыя
Ихъ, вожатый голосистой
Распѣвая въ тверди чистой
Въ позднемъ небѣ звѣзды будить
И шаги верблюдовъ нудить.

То упыюся въ баняхъ лѣнью —
Вѣрный Гафиза ученью: —
Дѣва-другъ фату бросаетъ
Амвру съ кудрей отрясаетъ

И поэта сладкопѣвность
Въ дѣвахъ Райскихъ будить ревность !

И сіе высокопѣрье
Не вмѣняйте въ суевѣрье —
Знайте: всѣ слова поэта
Легкимъ сонмомъ жаднымъ свѣта,
У дверей стучатся Рая
Даръ безсмертья вымоляя !

XVIII.

Съ чужой стороны.

(Изъ Гейне.)

На сѣверѣ мрачномъ, на дикой скалѣ
Кедръ одинокій подъ снѣгомъ бѣлѣть,
И сладко заснулъ онъ въ инистой мглѣ,
И сонъ его вьюга лелѣть.

Про юную пальму все снится ему,
Что въ дальнихъ предѣлахъ Востока,
Подъ пламеннымъ небомъ, на знойномъ холму,
Стоить и цвѣтеть одинока...

XIX.

(Изъ Гейне.)

Такъ порою свѣтлый мѣсяцъ
Выплываетъ изъ-за тучъ, —
Такъ, одинъ, въ ночи былого,
Свѣтитъ мнѣ отрадный лучъ.

Всѣ на палубѣ сидѣли,
Вдоль по Рейну неслись, —
Зеленѣющіе брега
Передъ нами раздались.

И у ногъ прелестной дамы
Я въ раздуміи сидѣлъ, —
И на миломъ, блѣдномъ лицѣ
Тихій вечеръ пламенѣлъ.

Дѣти пѣли, въ бубны били,
Шуму не было конца,

И лазурный стало небо,
И просторнее сердца.

Сновиденьемъ пролетѣли
Горы, замки на горахъ —
И свѣтились, отражаясь,
Въ милыхъ спутницы очахъ.

XX.

(Изъ Гейне.)

Другъ, откройся предо мною:
Ты не призракъ ли какой,
Какъ выводить ихъ порою
Мозгъ поэта огневой!...

Нѣтъ, не вѣрю: этихъ щочекъ,
Этихъ глазокъ милый свѣтъ,
Этотъ ангельскій роточекъ
Не создастъ никакъ поэтъ,

Василиски и вампиры,
Конь крылатъ и змѣй зубастъ —
Вотъ мечты его кумиры,
Ихъ творить поэтъ гораздъ.

Но тебя, твой станъ эфирный,
Сихъ ланить волшебный цвѣтъ,
Этотъ взоръ лукаво-смирный —
Не создать никакъ поэтъ.

XXI.

Вопросы.

(Изъ Гейне, Nordsee.)

1.

Надъ моремъ, дикимъ полуночнымъ моремъ,
Мужъ, юноша стоять.
Въ груди тоска, въ душѣ сомнѣнье, —
И сумрачный — онъ вопрошаетъ волны:
«О, разрѣшите мнѣ загадку жизни,
Мучительно — старинную загадку —
Надъ коей, сотенъ тысячи головъ
Въ Египетскихъ, Халдейскихъ шапкахъ —
Гіероглифами ушитыхъ,
Въ чалмахъ, и митрахъ, и скуфьяхъ,
И съ париками, и обритыхъ —
Тьмы бѣдныхъ человѣческихъ головъ
Кружилися, и сохли, и потѣли —
Скажите мнѣ что значить человѣкъ?
Откуда онъ, куда идетъ,

И кто живетъ надъ звѣзднымъ сводомъ?
Попрежнему шумять и ропщутъ волны,
И дуетъ вѣтеръ, и гонить тучи,
И звѣзды свѣтятъ хладно-ясно; —
Глупецъ стоитъ и ждетъ отвѣта!
За нашимъ вѣкомъ мы идемъ,
Какъ шла Креуза за Энеемъ,
Пройдемъ немного — ослабѣемъ,
Убавимъ шагу — отстаемъ!

XXII.

Кораблекрушеніе.

(Изъ Гейне, Nordsee.)

2.

Надежда и любовь, все, все погибло!...

И самъ я блѣдный, обнаженный трупъ,

Изверженный сердитымъ моремъ,

Лежу на берегу.

На дикомъ голомъ берегу!...

Передо мной пустыня водяная,

За мной лежить и горе и бѣда —

А надо мной бредутъ лѣниво тучи,

Уродливыя дщери неба!

Онѣ, въ туманные сосуды,

Морскую черпаютъ волну,

И съ ношей вдаль, усталыя, влекутся

И снова выливаютъ въ море!...

Нерадостный и безконечный трудъ!

И суетный, какъ жизнь моя!...

Волна шумить, морская птица стонетъ,
Минувшее повѣяло мнѣ въ душу —
Былые сны, потухшія видѣнья,
Мучительно-отрадныя встаютъ! —

— Живетъ на Севѣрѣ жена!

Прелестный образъ, царственно-прекрасный,
Ея какъ пальма, стройной станъ,
Обхваченъ бѣлой сладострастной тканью —
Кудрей роскошныхъ тѣмная волна
Какъ ночь боговъ блаженныхъ, льется
Съ увѣнчанной косами головы; —
И въ легкихъ кольцахъ тихо вѣетъ
Вкругъ блѣднаго умильнаго лица,
И изъ умильно-блѣднаго лица,
Отверсто-пламенное око,
Какъ черное сіяетъ солнце!...

О черно-пламенное солнце,
О, сколько, сколько разъ въ лучахъ твоихъ
Я пилъ восторга дикій пламень,
И пилъ, и млѣлъ, и трепеталъ, —
И съ кротостью невинно-голубиной
Твои уста улыбка освѣтила,
И гордо-милыя уста
Дышали тихими какъ лунной свѣтъ рѣчами
И сладкими, какъ запахъ розъ...

И духъ, во мнѣ, оживши воскрылялся,
И къ солнцу, какъ орелъ, парилъ!...

Молчите птицы, не шумите волны,
Все, все погбло, счастье и надежда,
Надежда и любовь!... Я здѣсь одинъ —
На дикій берегъ заброшенный грозою,
Лежу, простерть — и рдѣющимъ лицомъ,
Сырой песокъ морской пучины рою!...

XXIII.

(Изъ Шекспира.)

Любовники, безумцы и поэты
Изъ одного воображенья слиты...
Тотъ зрять бѣсовъ, какихъ и въ адѣ нѣтъ
(Безумецъ то есть); сей, равно безумный,
Любовникъ страстный, видитъ, очарованъ,
Елены красоту, въ цыганкѣ смуглой.
Поэта око, въ свѣтломъ изступленьи,
Круговращаясь, блещетъ и скользитъ
На землю съ неба, на небо съ земли,
И лишь создать воображенье виды
Существъ невѣдомыхъ, поэта жезлъ
Ихъ претворяетъ въ лица и даетъ
Тѣнямъ воздушнымъ мѣстность и названье!

XXIV.

Пѣсня.

(Изъ Шекспира.)

Заревѣль голодный левъ,
И на мѣсяцъ волкъ завылъ;
День съ трудомъ преодолевъ,
Бѣдный пахарь опочилъ.

Угли гаснуть на кострѣ,
Дико филинъ прокричалъ
И больному на одрѣ
Скорый саванъ провѣщалъ.

Всѣ кладбища, сей порой,
Изъ зіяющихъ гробовъ,
Въ сумракъ мѣсяца сырой
Высылають мертвецовъ!...

XXV.

Въ Альбомъ друзьямъ.

(Изъ Байрона.)

Какъ медлить путника вниманье
На хладныхъ камняхъ гробовыхъ,
Такъ привлечь друзей моихъ
Руки знакомой начертанье!...

Чрезъ много, много лѣтъ оно
Напомнить имъ о прежнемъ другѣ:
«Его ужъ нѣту въ нашемъ кругѣ,
Но сердце здѣсь погребено!»...

XXVI.

Микель-Анджело.

(Четырестишие.)

Молчи, прошу, не смѣй меня будить!
О, въ этотъ вѣкъ преступный и постыдный,
Не жить, не чувствовать, удѣлъ завидный, —
Отрадно спать, отраднѣй камнемъ быть!

1855.

XXVII.

Въ альбомъ княгини Т...о...и.

(Переводъ съ французскаго.)

Средь Рима древняго сооружалось зданье —
То Неронъ воздвигалъ дворецъ свой золотой;
Подъ самою дворца гранитною пятой
Былинка съ Кесаремъ вступила въ состязанье:
«Не уступлю тебѣ, знай это, Царь земной,
И ненавистное твое я сброшу — бремя.»
— Какъ, мнѣ не уступить? Мнѣ гнется подо мной —
— «Весь мнръ тебѣ слугой, а мнѣ слугою — время.» —

1866.

ПОЛИТИЧЕСКІЯ СТАТЬИ.

XXV.

Въ Альбомъ друзьямъ.

(Изъ Байрона.)

Какъ медлить путника вниманье
На хладныхъ камняхъ гробовыхъ,
Такъ привлечетъ друзей моихъ
Руки знакомой начертанье!...

Чрезъ много, много лѣтъ оно
Напомнить имъ о прежнемъ другѣ:
«Его ужъ нѣту въ нашемъ кругѣ,
Но сердце здѣсь погребено!»...

XXVI.

Микель-Анджело.

(Четырестишіе.)

Молчи, прошу, не смѣй меня будить!
О, въ этотъ вѣкъ преступный и постыдный,
Не жить, не чувствовать, удѣлъ завидный, —
Отрадно спать, отраднѣй камнемъ быть!

1855.



I.

Россія и Германія¹⁾.

М. Г. Приемъ оказанный вами нѣсколькимъ замѣткамъ, которыя я имѣлъ смѣлость адресовать къ вамъ, а равно и очень разумный и умѣренный комментарий, которыми вы ихъ снабдили, возбудилъ во мнѣ странную мысль. Что бы вышло, если бы вы и я, мы попробовали бы достигнуть соглашенія на счетъ самой сущности вопроса? Я не имѣю чести знать васъ лично, и если пишу къ вамъ, то обращаюсь прямо къ Всеобщей Газетѣ (*Allgemeine Zeitung*). При нынѣшнемъ положеніи Германіи Аугсбургская Всеобщая Газета въ моихъ глазахъ нѣчто болѣе обыкновенной газеты: это первая германская политическая трибуна...

¹⁾ Въ подлинникѣ, написаномъ по французски въ Мюнхенѣ въ 1844 году, статья эта озаглавлена «Lettre à M. le D^r Gustave Kolb, rédacteur de la Gazette Universelle.» Поводомъ къ этой статьѣ О. И. Тютчева послужили бѣшеные нападки на Россію публицистовъ самой Германіи. Въ то время политика Петербургскаго Кабинета управляла политикою всѣхъ нѣмецкихъ правительствъ, сдерживала *Statu quo*, созданное Священнымъ Союзомъ, и Государь Николай Павловичъ, когда посѣщалъ Германію, и появлялся въ сонмѣ нѣмецкихъ властителей, казался вер-

Если бы Германія имѣла счастье быть единою, ея правительство могло бы во многихъ отношеніяхъ признать это изданіе какъ законный органъ своей мысли. Вотъ почему я обращаюсь къ вамъ. Я Русскій, м. г., какъ я уже имѣлъ честь вамъ объяснить, Русскій сердцемъ и душою, глубоко преданный своей землѣ, въ мирѣ со своимъ правительствомъ и совершенно независимый по своему положенію ¹⁾. Стало бытъ мнѣніе, которое я попытаюсь здѣсь высказать — мнѣніе русское, но свободное и совершенно чуждое всякихъ расчетовъ. И не опасайтесь, чтобы, въ качествѣ Русскаго, я ввязался, въ свою очередь, въ жалкую полемику, вызванную недавно однимъ жалкимъ памфлетомъ. Нѣтъ, м. г., это дѣло не на столько серьезно. Книга г. Кюстина служить новымъ доказательствомъ того умственного безстыдства и духовнаго растлѣнія (отличительной черты нашего времени, особенно во Франціи) благодаря которымъ дозволяютъ себѣ относиться къ самымъ важнымъ и возвышеннымъ вопросамъ болѣе нервами, чѣмъ разсудкомъ; дерзаютъ судить весь міръ менѣе серь-

ховнымъ надъ нимъ повелителемъ, — *comme un souverain parmi ses vassaux*, по выраженію Тютчева въ его устномъ разговорѣ. Тѣмъ обиднѣе и несноснѣе было такое тяготѣніе Россіи для самого Германскаго общества; оно видѣло въ Россіи помѣху какъ своимъ либеральнымъ стремленіямъ, такъ и еще болѣе стремленіямъ къ политическому единству. Тютчевъ доказываетъ въ своей статьѣ, что самая разумная политика для Германіи — это держаться Россіи, что Германія только Россіи обязана своимъ освобожденіемъ отъ Франціи, равно и самымъ своимъ тридцатилѣтнимъ мирнымъ, національнымъ развитіемъ,» и. т. д. (Александръ, О. И. Тютчевъ, біографическій очеркъ, Москва, 1874). Статья эта была читана и Государемъ, который, по прочтеніи ея, сказалъ, что «тутъ выражены всѣ Его мысли и полюбоствовалъ узнать, кто ея авторъ» (Тамъ же, стр. 40.)

¹⁾ О. И. былъ тогда въ отставкѣ.

озно, чѣмъ бывало относились къ критическому разбору водевиля. Что-же касается до противниковъ г. Кюстина, до такъ называемыхъ защитниковъ Россіи, то они конечно искреннѣе его; но они уже слишкомъ просты... Они представляются мнѣ людьми, которые, въ избыткѣ усердія, въ состояніи поспѣшно поднять свой зонтикъ, чтобы предохранить отъ дневнаго зноя вершину Монблана!... Нѣтъ, милостивый государь, мое письмо не будетъ заключать въ себѣ апологіи Россіи. Апологія Россіи... Боже мой! Эту задачу принялъ на себя мастеръ, который выше насъ всѣхъ и который, мнѣ кажется, выполнялъ ее до сихъ поръ довольно успѣшно. Истинный защитникъ Россіи — это *исторія*; ею въ теченіи трехъ столѣтій неустанно разрѣшаются въ пользу Россіи всѣ испытанія, которымъ подвергается она свою таинственную судьбу...

Обращаясь къ вамъ, я намѣренъ вести рѣчь о васъ самихъ, милостивый государь, о вашей собственной странѣ, о ея существенныхъ, самыхъ очевидныхъ интересахъ и если дѣло коснется до Россіи, то лишь по непосредственнымъ ея отношеніямъ къ судьбамъ Германіи.

Я знаю, что никогда еще умы въ Германіи не были озабочены въ такой мѣрѣ какъ теперь великою задачею Германскаго единства. И такъ, милостивый государь, очень-ли поразилъ-бы я васъ (бдительнаго и передоваго стража) если-бы сказалъ вамъ, что, среди этой всеобщей озабоченности, нѣсколько-внимательный взоръ могъ-бы услѣдить множество стремленій, которыя, въ своемъ дальнѣйшемъ, развитіи, могли-бы сильно повредить дѣлу этого *единства*, составляющему повидимому всеобщую заботу? Въ особенности одно изъ этихъ стремленій, самое гибельное изъ всѣхъ... Я не скажу ничего такого, чего бы не было въ

устахъ у каждаго; а въ тоже время мнѣ нельзя прибавить ни одного слова безъ того, чтобы не коснуться жгучихъ вопросовъ; но я сохраняю убѣжденіе, что въ наше время, какъ и въ средніе вѣка, когда руки чисты и намѣренія правдивы, то можно безнаказанно касаться до всего...

Вамъ извѣстенъ, милостивый государь, характеръ отношеній, связывающихъ великія и малыя правительства Германіи въ теченіи 30 лѣтъ съ Россіею. Я не считаю нужнымъ спрашивать васъ здѣсь, что думаютъ объ этихъ отношеніяхъ такая-то партія или такое-то направленіе. Тутъ дѣло идетъ о фактѣ, а фактъ заключается въ томъ, что никогда эти отношенія не были болѣе доброжелательны, болѣе тѣсны, что никогда не существовало болѣе искренно-душевного единомыслія между этими государствами и Россіею.

Для всякаго, кто стоитъ на почвѣ дѣйствительности, а не витаетъ въ области фразъ, очевидно, что подобная политика истинная, законная, естественная политика Германіи и что ея правители, сохраняя въ неприкосновенности это великое преданіе эпохи вашего возрожденія, слѣдовали въ этомъ случаѣ внушеніямъ самаго просвѣщеннаго патріотизма; но, повторяю еще разъ, я не имѣю притязаній ни на какія чудотворныя силы; я не считаю возможнымъ внушить это мнѣніе всему міру, въ особенности тѣмъ, кто считаетъ его для себя смертельно-враждебнымъ. Къ тому-же здѣсь идетъ рѣчь въ настоящую минуту не о какомъ нибудь мнѣніи, а о фактѣ, и этотъ фактъ, мнѣ кажется, на столько очевиденъ и осязателенъ, что едва-ли можетъ многими быть отрицаемъ...

Рядомъ и одновременно съ этимъ политическимъ направленіемъ вашихъ правительствъ, нужно-ли мнѣ указывать на тѣ внушенія, на тѣ стремленія, которыя безустанно

стараятся вселить Германскому общественному мнѣнію по отношенію къ Россіи? Въ настоящую минуту я также воздержусь отъ оцѣнки по достоинству тѣхъ жалобъ и обвиненій всякаго рода, которыя не перестаютъ возводить на нее съ истинно-замѣчательнымъ постоянствомъ. Здѣсь вопросъ заключается собственно въ достигнутыхъ результатахъ. Слѣдуетъ сознаться, что эти результаты, если и не утѣшительны, за то полны, такъ что ихъ виновники могутъ похвалиться своими трудами. То государство, которое великое поколѣніе 1813 г. привѣтствовало съ благодарнымъ восторгомъ, ту державу, вѣрный союзъ и дѣятельная, безкорыстная дружба которой въ теченіи 30-ти лѣтъ неизмѣнно принадлежали какъ народамъ, такъ и государямъ Германіи, удалось съ помощью припѣва, постоянно повторяемаго настоящему поколѣнію, при его naroжденіи, почти удалось, говорю я, эту-же самую державу преобразовать въ чудовище для большинства людей нашего времени, и многіе, уже возмужалые умы не усомнились вернуться къ простодушному ребячеству перваго возраста, чтобы доставить себѣ наслажденіе взирать на Россію, какъ на какого-то людоѣда 19-го вѣка. Все это положительно вѣрно. Враги Россіи, быть можетъ, возликують въ виду этихъ признаній; но прошу позволенія продолжать.

И такъ, вотъ два направленія вполнѣ противоположныхъ (разъединеніе очевидно и возрастаетъ ежедневно): съ одной стороны у васъ государи, правительство Германіи, съ ихъ строгою, обдуманною политикою, съ ихъ опредѣленнымъ направленіемъ; съ другой этотъ второй владыка нашего времени — общественное мнѣніе, которое склоняется туда, куда влекутъ его вѣтры и волны. Позвольте мнѣ, милостивый государь, обратиться къ вашему

патріотизму и къ вашимъ познаніямъ и спросить васъ, что вы думаете о подобномъ порядкѣ вещей? Какихъ послѣдствій ожидаете вы отъ него для благоденствія, для будущности вашего отечества? При этомъ поймите меня, что дѣло идетъ въ настоящую минуту объ одной лишь Германіи. Боже мой! Если-бы у васъ могли догадаться, въ какой степени всѣ эти нападенія мало чувствительны для Россіи: быть можетъ, даже самые ярые противники ея призадумались-бы.

Очевидно, что, покуда миръ не будетъ нарушенъ, это разномысліе не можетъ привести къ какому нибудь важному и явному разстройству: зло будетъ разпространяться подъ землю. Ваши правительства, разумѣется, не измѣнять своего направленія, не пожелаютъ возмутить весь строй внѣшней политики Германіи, чтобы достигнуть соглашенія съ нѣсколькими фанатичными, беспорядочными умами; а послѣдніе, съ своей стороны, подъ вліяніемъ противорѣчія будутъ увлекаться настроеніемъ противоположнымъ тому, которое они осуждаютъ, и такимъ образомъ продолжая повторять о Германскомъ единствѣ, со взорами постоянно обращенными къ Германіи, они приблизятся, такъ сказать, въ обратномъ направленіи къ роковой стезѣ, къ краямъ пропасти, въ которую ваше отечество уже неоднократно низвергалось... Я знаю, что, покуда мы сохраняемъ миръ, указываемая мною опасность будетъ казаться воображаемою; но если настанетъ кризисъ, предчувствуемый Европою, если наступятъ тѣ бурные дни, которые создаютъ все въ нѣсколько часовъ, которые вырываютъ послѣднее слово у всѣхъ мнѣній, у всѣхъ партій—что будетъ тогда, милостивый государь?... Ужели правда, что для цѣлыхъ народовъ, еще болѣе чѣмъ для

отдѣльныхъ личностей, существуетъ злополучная судьба, неумолимая, незагладимая? Слѣдуетъ ли вѣрить, что она преисполнена такихъ стремленій, которыя сильнѣе всякой воли и всякаго благоразумія, преисполнена органическихъ недуговъ, которые никакое искусство и система управленія не могутъ отразить? Ужели таковъ долженъ быть удѣлъ этого стремленія къ разрушенію, которое, подобно роковому фениксу, постоянно возстаетъ во всѣ великія историческія эпохи вашего благороднаго отечества? Это стремленіе, которое возникло въ средніе вѣка путемъ нѣчестивой и антихристіанской борьбы духовенства съ имперією, которое вызвало эту смертоносную распрю между императоромъ и государями, которое, ослабѣвъ на время при всеобщемъ изнуреніи Германіи, вновь окрѣпло и разцвѣло благодаря реформаціи и, воспринявъ отъ нея окончательную форму (такъ сказать, законное посвященіе) принялось за дѣло съ большимъ чѣмъ когда либо рвеніемъ, укрываясь подъ всякимъ знаменемъ, хватаясь за всякій предлогъ, оставаясь тѣмъ же подъ разными названіями, до той поры, когда, по достиженіи конечнаго удара въ тридцатилѣтнюю войну, оно призываетъ къ себѣ на помощь чужеземца — Швецію, потомъ пріобщаетъ къ себѣ противника — Францію и, благодаря этому сочетанію силъ, довершаетъ со славою менѣе чѣмъ въ два столѣтія смертоносное призваніе, на него возложенное!

По истинѣ роковыя воспоминанія! Какимъ образомъ не ощущаете вы, въ виду подобныхъ воспоминаній, ужаса при малѣйшемъ признакѣ, возвѣщающемъ возрожденіе этой ненависти въ общемъ настроеніи вашей страны? Ужели не спросите вы себя со страхомъ, не пробужденіе ли это вашего прежняго, страшнаго недуга?

Истекшія нынѣ тридцать лѣтъ могутъ по справедливости быть причтены къ лучшимъ годамъ вашей исторіи; со временъ славнаго царствованія Салическихъ императоровъ, никогда еще лучше дни не оваряли Германіи, никогда еще она въ такой степени не принадлежала самой себѣ, не признавала себя столь *единою*, столь самостоятельною; въ теченіи многихъ столѣтій она не имѣла столь твердаго, столь значительнаго положенія относительно своей старинной соперницы. Она всюду ее сдерживала. Взгляните даже по ту сторону Альповъ, и тамъ ваши славнѣйшіе императоры никогда не проявляли болѣе дѣйствительной силы, чѣмъ та, которою располагаетъ нынѣ одно изъ Германскихъ государствъ. Жители прирейнскіе вновь Германцы и сердцемъ и душою; Бельгія, которая послѣднимъ Европейскимъ потрясеніемъ казалась кинутою въ объятія Франціи, остановилась на пути, и теперь очевидно, что она къ вамъ возвращается; Бургундскій союзъ возобновляется; Голландія рано или поздно не можетъ не примкнуть къ вамъ. Таковъ конечный исходъ великаго поединка, длившагося въ продолженіи двухъ вѣковъ между вами и Франціею; вы вполне восторжествовали, за вами осталось послѣднее слово. — Но сознайтесь однако: для всякаго, кто слѣдилъ за этою борьбою съ самаго начала, кто наблюдалъ за всѣми ея видоизмѣненіями, за всѣми ея превратностями до послѣдняго роковаго, рѣшительнаго дня, подобный исходъ трудно было предвидѣть. Внѣшнія примѣты говорили не въ вашу пользу, успѣхъ склонялся не въ вашу сторону; со временъ среднихъ вѣковъ могущество Франціи, не взирая на временный застой, не переставало расти, сосредоточиваясь и совершенствуясь, и съ той же самой поры импе-

рія, благодаря своимъ религіознымъ распрямъ, вступила въ свой послѣдній періодъ законнаго разложенія; даже побѣды, вами одерживаемыя, оставались безплодными для васъ, потому что онѣ не могли остановить внутренняго распадѣнія и часто даже способствовали къ его ускоренію. При Людовикѣ XIV, несмотря на всѣ неудачи великаго короля, Франція восторжествовала, ея вліяніе вполнѣ поработило Германію; наконецъ настала революція, которая, истребивъ во Французской національности до корня послѣдніе слѣды ея Германскихъ началъ и сродства и возвративъ Франціи ея исключительно Романскій характеръ, начала противъ Германіи, противъ самаго принципа ея существованія послѣднюю борьбу, борьбу на жизнь и смерть... И именно съ той минуты, когда вѣнчаннй воинъ этой революціи на обломкахъ имперіи, основанной Карломъ Великимъ, разыгрывалъ пародію на имперію великаго Карла, вынуждая для большаго униженія народы Германіи принимать участіе въ этой пародіи—съ этой именно минуты переворотъ совершился, и все измѣнилось!

Какимъ-же образомъ совершился этотъ знаменательный переворотъ? Кѣмъ былъ онъ подготовленъ?... Онъ былъ подготовленъ появленіемъ третьей силы на полѣ битвы Европейскаго Запада; но эта третья сила была цѣлый особый міръ...

Здѣсь, милостивый государь, для того, чтобы мы поняли другъ друга, вы должны мнѣ дозволить краткое отступленіе. О Россіи много говорятъ; въ наше время она служить предметомъ пламеннаго, тревожнаго любопытства; очевидно, что она сдѣлалась одною изъ главнѣйшихъ заботъ нашего вѣка; но эта загадка ни въ чемъ не схожая съ остальнымъ чѣмъ его волнуетъ (нельзя не сознаться)

скорѣе гнететъ его, чѣмъ возбуждаетъ... И оно не могло быть иначе. Современное настроеніе, дѣтище Запада, чувствуетъ тебя въ этомъ случаѣ передъ стихіей, если и не враждебной, то вполнѣ ему чуждой, стихіей, ему неподвластной, и оно какъ будто боится измѣнить самому себѣ, подвергнуть сомнѣнію свою собственную законность, если оно признаетъ вполнѣ справедливымъ вопросъ ему предложенный и если оно серьезно, добросовѣстно пожелало-бы понять и разъяснить его... Что такое Россія? Каковъ смыслъ ея существованія, ея историческій законъ? Откуда явилась она? Куда стремится? Чтѣмъ выражаетъ собою?... Правда, что вселенная указала ей видное мѣсто; но философія исторіи еще не соблаговолила признать его за нею. Нѣкоторые рѣдкіе умы, два или три въ Германіи, одинъ или два во Франціи, болѣе дальновидные, чѣмъ остальная масса умственныхъ силъ, провидѣли разгадку задачи, приподняли было уголокъ этой завѣсы; но ихъ слова до настоящей минуты мало понимались или имъ не внимали!...

Въ теченіи весьма долгаго времени понятія Запада о Россіи напоминали въ нѣкоторомъ смыслѣ отношенія современниковъ къ Колумбу. Это было тоже заблужденіе, тотъ же оптический обманъ. Вамъ извѣстно, что очень долго люди стараго свѣта, при всемъ ихъ восхваленіи безсмертнаго открытія, упорно отказывались вѣрить въ существованіе новаго материка; они находили болѣе естественнымъ и основательнымъ предполагать, что вновь открытыя страны составляютъ лишь дополненіе, продолженіе того полушарія, которое имъ уже было извѣстно. Такова-же была судьба и тѣхъ понятій, которыя составили себѣ о томъ другомъ новомъ свѣтѣ — восточной Европы, гдѣ Россія во всѣ времена служила душою и двигательною силою и была при-

звана придать ему свое имя, въ награду историческаго бытія, этимъ свѣтомъ отъ нея уже полученнаго или ожидаемаго. Въ теченіи цѣлыхъ столѣтій Европейскій Западъ съ полнѣйшимъ простодушіемъ вѣрилъ, что не было и не могло быть другой Европы кромѣ его. Правда ему было извѣстно, что за его предѣлами существовали еще народы и государи, называвшіе себя христіанами; во времена своего могущества, онъ касался границъ этого невѣдомаго міра, отторгъ даже отъ него нѣсколько клочковъ и присвоилъ ихъ себѣ, стараясь исказить и подавить ихъ національный характеръ; но чтобы внѣ этихъ крайнихъ предѣловъ существовала другая Европа, восточная Европа, законная сестра христіанскаго Запада, христіанская какъ и онъ, правда не феодальная и не іерархическая, но потому самому еще болѣе искренно-христіанская; чтобы существовалъ тамъ цѣлый міръ, *единый* по своему началу, солидарный въ своихъ частяхъ, живущій своею собственною органическою, самобытною жизнью—этого допустить было невозможно, и многіе понынѣ готовы въ томъ сомнѣваться... Долгое время это заблужденіе было извинительно; въ продолженіи цѣлыхъ вѣковъ созидаящая сила оставалась какъ-бы скоронена среди хаоса; ея дѣйствіе было медленно, почти незамѣтно; густая завѣса скрывала тихое созиданіе этого міра... Но, наконецъ, когда судьбы свершились, рука исполина сдернула эту завѣсу, и Европа Карла Великаго очутилась лицомъ къ лицу съ Европою Петра Великаго!

Тогда, какъ скоро открытіе совершилось и все сдѣлалось яснымъ, понятнымъ, не могла уясниться дѣйствительная причина этихъ быстрыхъ успѣховъ, этого необычайнаго расширенія Россіи, поразившихъ вселенную изумленіемъ;

сдѣлалось очевиднымъ, что эти мнимыя завоеванія, эти мнимыя насилія были дѣломъ самымъ органическимъ, самымъ законнымъ, какое когда либо совершалось въ исторіи; что состоялось просто громадное воссоединеніе (restauraton). Сдѣлалось равно понятнымъ, почему погибли и исчезли отъ ея руки всѣ встрѣченныя Россією на своемъ пути противоестественныя стремленія, правительства и утρεжденія, измѣнившія великому началу, котораго она была представительницею, почему Польша должна была погибнуть; не самобытность ея Польской народности, чего Боже сохрани! но ея ложное образованіе, та ложная національность, которая была ей привита.

Съ этой-же точки зрѣнія всего лучше будетъ оцѣнить истинное значеніе того, что называютъ восточнымъ вопросомъ, который желаютъ считать неразрѣшимымъ именно потому, что всѣ уже давно провидѣли его неизбежное разрѣшеніе. И подлинно, остается только узнать, что восточная Европа, уже на три четверти установившаяся, эта дѣйствительная имперія Востока, для которой первая имперія Византійскихъ кесарей, древнихъ православныхъ императоровъ служила лишь слабымъ, неполнымъ начертаніемъ, что восточная Европа получитъ свое послѣднее, самое существенное дополненіе, и получитъ-ли она его путемъ естественнаго хода событій, или будетъ вынуждена достигнуть его силою оружія, подвергая міръ величайшимъ бѣдствіямъ. Но вернемся къ нашему предмету.

Вотъ, милостивый государь, какова была та третья сила, появленіе которой на сценѣ дѣйствія внезапно разрѣшило вѣковую распрю Европейскаго Запада. Одно лишь появленіе Россіи среди васъ возстановило единство, а единство доставило вамъ побѣду.

И такъ, чтобы дать себѣ ясный отчетъ въ современномъ ходѣ вещей, нельзя достаточно проникнуться тою истинною, что со времени этого установившагося вмѣшательства Востока въ дѣла Запада все измѣнилось въ Европѣ; до тѣхъ поръ васъ было двое, а теперь, насъ трое, и долгія борьбы сдѣлались невозможными.

Изъ этого порядка вещей могутъ вытекать только слѣдующіе три единственно-возможные отнынѣ исхода. Германія, вѣрная союзница Россіи, сохранить свое преобладаніе въ центрѣ Европы, или это преобладаніе перейти на сторону Франціи. И знаете-ли вы, милостивый государь, чѣмъ-бы выразилось для васъ это превосходство Франціи? То была-бы если не внезапная гибель, то положительно изнуреніе Германіи. Остается другой исходъ, быть можетъ и заманчивый въ глазахъ нѣкоторыхъ людей, — Германія въ союзѣ съ Франціею противъ Россіи... Увы! Эта комбинація уже была испытана въ 1812-мъ году и, какъ вамъ извѣстно, имѣла мало успѣха; притомъ не думаю, чтобы, по истеченіи нынѣ пройденныхъ тридцати лѣтъ, Германія была расположена признать возможность существованія новаго Рейнскаго союза, такъ какъ всякое тѣсное сближеніе съ Франціею не можетъ выразиться чѣмъ либо инымъ для Германіи. А знаете ли вы, что именно Россія имѣла въ виду, когда она вмѣшалась въ эту борьбу, предпринятую этими двумя началами, этими двумя великими народностями, оспаривающими другъ у друга Европейскій Западъ, и рѣшила эту распрю въ пользу Германіи и Германскаго начала? Она хотѣла разъ навсегда утвердить торжество права, исторической законности надъ революціоннымъ движеніемъ. И почему она этого хотѣла? Потому что право, историческая законность, это ея соб-

ственное призваніе, назначеніе ея будущности, это то право котораго она требуетъ для себя и для своихъ. Только одно слѣпое невѣжество, умышленно отводящее свои взоры отъ свѣта, можетъ нынѣ отвергать эту великую истину; потому что не во имя-ли этого права, этой исторической законности, Россія возстановила цѣлую народность, цѣлый міръ, готовый пасть? Не она ли призвала его къ жизни самобытной, не она ли вернула ему его самостоятельность и организовала его? И во имя того-же права, она всегда сумѣетъ воспрепятствовать тому, чтобы виновники политическихъ опытовъ не успѣвали отторгнуть или совратить цѣлыя народности отъ центра ихъ установившагося единства и затѣмъ перекроить ихъ по волѣ ихъ безчисленныхъ фантазій какъ предметы неодушевленные; словомъ, чтобы они не могли отдѣлить живые члены отъ туловища, которому они принадлежать, подъ предлогомъ сообщить имъ болѣе свободы въ движеніяхъ!...

Безсмертною заслугою Монарха, находящагося нынѣ на престолѣ Россіи, служить то, что онъ полнѣе, энергичнѣе всѣхъ своихъ предшественниковъ, проявилъ себя просвѣщеннымъ и неумолимымъ представителемъ этого права, этой исторической законности. Разъ, что выборъ былъ имъ сдѣланъ, Европѣ извѣстно, оставалась ли Россія ему вѣрна въ теченіи тридцати лѣтъ? Позволительно утверждать съ исторіею въ рукахъ, что въ политическихъ лѣтописяхъ вселенной трудно было бы указать на другой примѣръ союза столь глубоко-нравственнаго какъ тотъ, который связуетъ въ продолженіи тридцати лѣтъ государей Германіи съ Россіею и, благодаря именно этому великому началу нравственности, онъ былъ въ силахъ продолжаться, разрѣшилъ многія затрудненія, преодолѣлъ

немало препятствій. И нынѣ, испытавъ и радостныя и горькія случайности, этотъ союзъ восторжествовалъ надъ послѣднимъ, самымъ значительнымъ испытаніемъ, и призваніе, служившее ему основою, перешло всецѣло и неизмѣнно отъ первыхъ его основателей къ ихъ преемникамъ.

Прошу васъ, милостивый государь, спросите ваши правительства, ослабѣвала ли на одно мгновеніе въ эти тридцать лѣтъ заботливость Россіи о великихъ политическихъ интересахъ Германіи? Спросите людей, стоявшихъ у кормила правленія, не превосходила ли эта заботливость неоднократно и по многимъ вопросамъ ваши собственныя патріотическія стремленія? Вотъ уже нѣсколько лѣтъ, что вы сильно озабочены въ Германіи великимъ вопросомъ Германскаго единства; но вы очень хорошо знаете, что это не всегда такъ было; и мнѣ, давно уже проживающему среди васъ, возможно было бы въ крайнемъ случаѣ опредѣлить тотъ именно моментъ, когда этотъ вопросъ началъ волновать умы. Очевидно, что мало было рѣчи объ этомъ единствѣ, по крайней мѣрѣ въ печати, въ ту эпоху, когда всякое либеральное изданіе считало себя по совѣсти обязаннымъ пользоваться всякимъ удобнымъ случаемъ, чтобы обратить къ Австріи и ея правительству тѣже оскорбленія, которыя расточаютъ нынѣ Россіи. Это безпорно весьма похвальная и законная забота, но возникшая съ недавняго времени. Правда, что Россія никогда не провѣдывала единства Германіи; но въ продолженіи тридцати лѣтъ она не переставала при всякомъ случаѣ и на всѣ лады внушать Германіи согласіе, единодушіе, взаимное довѣріе, добровольное подчиненіе частныхъ интересовъ великому, вопросу всеобщаго блага, и эти совѣты, эти убѣжденія, она неустанно повторяла и умножала энергическою от-

кровенностью того усердія, которое сознает свое полнѣйшее безкорыстіе.

Книга, которая нѣсколько лѣтъ тому назадъ пользовалась большою извѣстностью въ Германіи и которой ошибочно приписывали оффиціальное происхожденіе, по видимому утвердила между вами убѣжденіе, что Россія одно время приняла за правило привлекать къ себѣ исключительно второстепенныя Германскія правительства въ ущербъ законному вліянію двухъ великихъ государствъ союза; но подобное предположеніе было вполнѣ напрасное и даже совершенно несогласное съ дѣйствительностью. Переговорите объ этомъ съ людьми свѣдущими, и они скажутъ вамъ, въ чемъ дѣло; быть можетъ даже они сообщатъ вамъ, что Русская политика, въ ея постоянной заботливости объ упроченіи главнымъ образомъ политической самостоятельности Германіи, рисковала подчасъ раздраженіемъ нѣкоторой извинительной щекотливости, совѣтуя съ излишнею настойчивостью мелкимъ дворамъ Германіи безусловно подчиняться системѣ двухъ великихъ державъ. Едва ли не будетъ умѣстно оцѣнить здѣсь по достоинству другое обвиненіе, тысячу разъ возводимое на Россію и не болѣе справедливое: чего не было только говорено, чтобы разпространить убѣжденіе, будто ея вліяніе главнѣйше воспрепятствовало развитію въ Германіи конституціоннаго начала? Въ общемъ смыслѣ болѣе чѣмъ безрасудно стараться превращать Россію въ систематическаго противника той или другой правительственной системы. И какимъ образомъ, великій Боже, стало бы она тѣмъ, что она есть, и могла бы проявлять то вліяніе надъ вселенной, которое ей принадлежитъ, при подобной узкости понятій? Наконецъ, переходя въ частности къ данному случаю, слѣдуетъ

по справедливости замѣтить, что Россія постоянно энергически отстаивала искреннее сохраненіе существовавшихъ учреждений, религіозное уваженіе къ принятымъ на себя обязательствамъ; затѣмъ легко возможно, что, по мнѣнію ея, было бы неосторожно, по отношенію къ самому существенному интересу Германіи, ея единству, позволять парламентскимъ преимуществамъ въ конституціонныхъ государствахъ союза расширяться до той степени, какой они достигли напримѣръ въ Англіи или во Франціи; что если даже и теперь не всегда оказывалось удобнымъ установить между правительствами то согласіе, то полнѣйшее взаимное пониманіе, которое требуется при совмѣстной дѣятельности, то задача эта сдѣлалась бы исполнѣе не рѣшимой въ Германіи порабощенной, т. е. раздробленной полдюжиною господствующихъ парламентскихъ трибунъ. Подобная истина уже сознаана нынѣ всѣми лучшими умами Германіи, и вина Россіи могла состоять лишь въ томъ, что она уразумѣла ее десятью годами прежде.

Если мы теперь перейдемъ отъ внутреннихъ вопросовъ къ внѣшнему положенію, говорить-ли мнѣ вамъ, милостивый государь, объ Іюльской революціи, о тѣхъ возможныхъ послѣдствіяхъ, которыя она могла-бы имѣть, но не имѣла, для вашего отечества? Слѣдуетъ-ли вамъ указывать, что основаніемъ къ этому взрыву, душою этого движенія служило главнымъ образомъ стремленіе овладѣть снова тѣмъ преобладаніемъ на Западѣ, которымъ такъ долго пользовалась Франція и которое она къ великой досадѣ сознавала перешедшимъ въ продолженіи 30-ти лѣтъ въ ваши руки? Конечно я отдаю полную справедливость королю Французовъ, удивляюсь его ловкости, желаю долгихъ дней и ему и его системѣ... Но что случилось-бы, если-бы всякій

разъ когда Французское правительство, начиная съ 1835 года, пыталось переносить свои взоры за предѣлы Германіи, оно не встрѣчало-бы на престолѣ Россіи тотъ-же твердый и рѣшительный образъ, ту же осторожность, ту же холодность и главное тоже постоянство относительно утвердившихся союзовъ и принятыхъ на себя обязательствъ? Если-бы оно могло уловить одно мгновеніе сомнѣнія, колебанія, не думаете-ли вы, что и самъ Наполеонъ мира не могъ-бы постоянно сдерживать эту содрогавшуюся подъ его рукою Францію и что онъ не далъ-бы ей воли?... А чтѣ-бы еще было, если-бы онъ могъ разсчитывать на сочувствіе?...

Я находился въ Германіи, милостивый государь, въ ту минуту, когда г. Тьеръ, слѣдуя, такъ сказать, инстинктивному влеченію, готовъ былъ совершить то, чтѣ ему казалось такъ просто и такъ естественно, а именно: возместить на Германіи свою неудачу на Востокѣ. Я былъ свидѣтелемъ этого взрыва, этого истинно-національнаго негодованія, возбужденнаго среди васъ этою наивною дерзостью, и я радуюсь, что присутствовалъ при этомъ: съ тѣхъ поръ я всегда съ большимъ удовольствіемъ слышалъ пѣніе «*Rheinslied*». Но можетъ-ли быть, чтобы ваша политическая журналистка, которая знаетъ все, которой напримѣръ, извѣстно, сколько именно кулачныхъ ударовъ нанесли взаимно другъ другу на границѣ Пруссіи Русская таможенная стража и Прусскіе контрабандисты; какимъ образомъ, говорю я, она могла не знать того, чтѣ произошло въ то время между Германскими правительствами и Россіею? Какъ могла она не знать или не сообщить вамъ, что при первомъ враждебномъ проявленіи со стороны Франціи, 80 т. Русскаго войска должны были выступить на помощь

вашей самостоятельности подвергавшейся опасности, и что 200 т. человекъ должны были слѣдовать за ними черезъ шесть недѣль? И это обстоятельство не осталось неизвѣстнымъ для Парижа, милостивый государь, и быть можетъ вы согласитесь со мною, какъ-бы я высоко ни цѣнилъ «Rheinslied», что оно немало способствовало къ тому, чтобы убѣдить старинную «Мерсельзу» въ необходимости быстрого отступленія передъ своею юною соперницею.

Я коснулся вашей печати; но прошу васъ, милостивый государь, не думать, что я систематически предубѣжденъ противъ Нѣмецкой печати или что я сохраняю къ ней дурное чувство за ея невыразимое нерасположеніе по отношенію къ намъ. Нисколько, могу васъ увѣрить. Я очень расположенъ воздать ей должную хвалу за ея добрыя свойства и желалъ-бы приписать отчасти ея заблужденія и увлеченія той исключительной системѣ, при которой она дѣйствуетъ. Конечно въ вашей періодической печати нѣтъ недостатка ни въ талантѣ, ни въ идеяхъ, ни даже въ патріотизмѣ; во многихъ отношеніяхъ она — законное дѣтище вашей возвышенной великой литературы, той литературы, которая возстановила среди васъ сознание вашего національнаго тождества. Въ чемъ ваша печать нуждается въ высшей степени — это въ политическомъ тактѣ, въ живомъ и вѣрномъ пониманіи дѣйствительнаго положенія своего, въ той средѣ, въ которой ей приходится дѣйствовать въ данную минуту; а потому, въ ея выраженіи и въ ея направленіи, проглядываетъ нѣчто непрозорливое, необдуманное, однимъ словомъ, нѣчто нравственно-безотвѣтственное, быть можетъ какъ послѣдствіе той опеки, которой ее подвергаютъ.

И точно, чѣмъ другимъ, если не подобнымъ сознаніемъ

своей нравственной безотвѣтственности, можно объяснить себѣ это пламенное, слѣпое, неистовое, враждебное настроеніе, которое она въ продолженіи столькихъ лѣтъ выражаетъ противъ Россіи? Затѣмъ? Съ какою цѣлью, въ пользу чего? Останавливалась-ли она когда нибудь съ должнымъ вниманіемъ съ точки зрѣнія политическихъ интересовъ Германіи на возможныхъ, даже вѣроятныхъ послѣдствіяхъ того, что она дѣлаетъ? Приходило-ли ей когда нибудь на мысль спросить себя серьезно, когда она напругаетъ всѣ свои силы въ теченіи многихъ лѣтъ съ такимъ невѣроятнымъ упорствомъ къ тому, чтобы раздражить, отравить и безвозвратно разстроить взаимныя отношенія двухъ государствъ, — не содѣйствуетъ-ли она къ разрушенію въ самомъ его основаніи того начала союза, на которомъ зиждется и покоится относительное значеніе Германіи въ глазахъ Европы? Не стремится ли она замѣнить всѣми отъ нея зависящими силами счастливѣйшую политическую комбинацію, которую исторія когда либо могла создать для вашего отечества, наиболѣе пагубною для васъ системою? Эта неудержимая неосмотрительность не напоминаетъ-ли вамъ, милостивый государь (конечно въ менѣе привлекательномъ видѣ) одну шалость изъ дѣтства вашего великаго Гёте, столь мило рассказанную въ его Запискахъ; вспоминаете-ли вы тотъ день, когда маленький Вольфгангъ, оставшись одинъ въ отцовскомъ домѣ, не нашелъ лучшаго способа воспользоваться досугомъ, представленнымъ ему родителями, какъ бросать въ окно одну за другою всѣ хозяйственныя принадлежности своей матери, попадавшіяся ему подъ руку, очень забавляясь и потѣшаясь тѣмъ трескомъ, который онѣ производили, падая и разбиваясь на мостовой? Правда, что черезъ улицу

находился въ домѣ коварный сосѣдъ, который ободрялъ ребенка продолжать это остроумное занятіе; но вы, милостивый государь, не имѣете даже въ извиненіе ваше и подобнаго вызывающаго вліянія.

Если-бы еще можно было среди этого взрыва враждебныхъ воплей указать на какой нибудь благоразумный сознательный поводъ къ подобному разглагольствованію! Я знаю, что въ крайнемъ случаѣ я найду безумцевъ, которые готовы мнѣ возразить: «мы обязаны васъ ненавидѣть, ваше основное начало, самое начало вашей цивилизаціи внушаютъ намъ Нѣмцамъ, западникамъ отвращеніе; у васъ не было ни феодализма, ни папской іерархіи; вы не испытывали ни борьбы религіозной, ни войнъ имперіи, ни даже инквизиціи; вы не принимали участія въ крестовыхъ походахъ, вы не знавали рыцарства; вы четыре столѣтія тому назадъ достигли того единства, къ которому мы еще теперь стремимся; ваше основное начало не удѣляетъ достаточнаго простора личной свободѣ, оно не допускаетъ возможности разъединенія и раздробленія». Все это такъ, но по справедливости, воспрепятствовало-ли все это намъ искренно и мужественно пособлять вамъ при случаѣ, когда требовалось отстоять, возстановить вашу политическую самостоятельность, вашу національность? И теперь вамъ не остается ничего другаго, какъ признать нашу собственную. Будемте говорить серьезно, потому что предметъ этого заслуживаетъ. Россія вполне готова уважать историческую законность вашихъ правъ, историческую законность народовъ Запада; тридцать лѣтъ тому назадъ, она съ вами вмѣстѣ заботилась о ея возстановленіи, о ея водвореніи на прежнихъ основахъ; слѣдовательно она дѣйствительно расположена уважать ее не только въ

принципѣ, но даже со всѣми ея крайними послѣдствіями, даже съ ея увлеченіями и слабостями; но и вы съ своей стороны должны учиться уважать насъ въ нашемъ единеніи и нашей силѣ!

Но мнѣ скажутъ, что несовершенства нашего общественнаго строя, недостатки нашей администраціи, положеніе низшихъ слоевъ нашей народности и пр., что все это въ совокупности раздражаетъ общее мнѣніе противъ Россіи. Неужели? Возможно-ли, чтобы мнѣ, готовому жаловаться на избытокъ недоброжелательства, пришлось бы тогда протестовать противъ излишняго сочувствія? Потому что въ концѣ концовъ мы не одни на бѣломъ свѣтѣ, и если уже вы обладаете такимъ чрезмѣрнымъ запасомъ сочувствія къ человѣчеству, если вы не находите ему помѣщенія у себя и въ свою пользу, то не сочли-ли бы вы болѣе справедливымъ раздѣлить его между всѣми народами земли? Всѣ они заслуживаютъ сожалѣнія. Взгляните, напримѣръ, на Англію! Что вы объ ней скажете? Взгляните на ея фабричное населеніе, на Ирландію; и если бы вамъ удалось вполнѣ сознательно подвести итоги въ этихъ двухъ странахъ, если бы вы могли взвѣсить на правдивыхъ вѣскахъ злополучныя послѣдствія Русскаго варварства и Англійскаго просвѣщенія — быть можетъ, вы признали бы болѣе своеобразности, чѣмъ преувеличенія въ заявленіи того человѣка, который, будучи одинаково чуждъ обѣимъ странамъ и равно ихъ изучившій, утверждалъ съ полнѣйшимъ убѣжденіемъ, что въ соединенномъ королевствѣ существуетъ по крайней мѣрѣ миллионъ людей, которые много бы выиграли, если бы ихъ сослали въ Сибирь!...

Увы, милостивый государь, почему вы, Нѣмцы, которые пользуетесь во многихъ отношеніяхъ такимъ безспорнымъ

превосходствомъ надъ вашими сосѣдами по ту сторону Рейна, почему не можете вы позаимствовать у нихъ нѣкоторой доли практическаго благоразумія, того живаго, вѣрнаго сознанія своихъ интересовъ, которое ихъ отличаетъ? У нихъ также существуетъ печать, журналы, которые насъ оскорбляютъ, раздираютъ на клочки въ запуски, безъ устали, безъ мѣры и стыда. Взгляните на это стоглавое чудовище Парижской прессы, извергающей пламя и вопли противъ насъ. Какое ожесточеніе! Какіе громы! Какой трескъ!... И что же! Приди сегодня же Парижъ къ убѣжденію, что столь пламенно желаемое сближеніе можетъ состояться, что столь часто дѣлаемыя въ этомъ смыслѣ намъ предложенія приняты, и съ завтрашняго дня вы увидите, что этотъ вопль ненависти умолкнетъ, весь этотъ блестящій фейерверкъ оскорбленій угаснетъ и изъ этихъ угасшихъ кратеровъ, изъ этихъ умиротворенныхъ усть, съ послѣднимъ клубомъ дыма начнутъ исходить звуки настроенные на разные лады, но всѣ одинаково благозвучные, восхваляющіе другъ передъ другомъ наше счастливое примиреніе!

Но это письмо слишкомъ длинно, пора кончить. Позвольте мнѣ, милостивый государь, въ заключеніе, выразить мою мысль въ нѣсколькихъ словахъ.

Я обратился къ вамъ, не имѣя въ виду другой цѣли, кромѣ того, что внушаетъ мнѣ мое свободное и личное убѣжденіе. Я не состою ни въ чемъ распоряженіи; я не служу ничьимъ органамъ; моя мысль зависитъ лишь отъ себя самой; но я конечно вполне убѣжденъ, что общественное мнѣніе не затруднилось бы признать содержаніе этого письма, если бы оно было извѣстно въ Россіи. До сихъ поръ Русское мнѣніе слабо возмущалось этими

возгласами Германской печати, не потому чтобы оно относилось равнодушно къ мнѣніямъ и чувствамъ Германіи, конечно нѣтъ; но ему не хотѣлось придавать серьезное значеніе всему этому треску, всѣмъ этимъ словоизверженіямъ, всей этой пальбѣ на воздухъ противъ Россіи; оно принимало все это развѣ только за какую-то не вполне приличную потѣху. Русское общественное мнѣніе положительно отказывается допустить, чтобы степенная, серьезная, честная, вполне правдивая нація, какою наконецъ извѣстна міру Германія во всѣ эпохи своей исторіи, чтобы эта нація, говорю я, могла отрѣшиться отъ своей природы и усвоить себѣ другую, созданную по образцу нѣсколькихъ мечтательныхъ или нестройныхъ умовъ, нѣсколькихъ странныхъ или недобросовѣстныхъ крикуновъ; чтобы Германія, отказываясь отъ своего прошлаго, не сознавая настоящаго и искажая будущее, согласилась признать и питать дурное чувство, недостойное ея, единственно изъ удовольствія совершить великій политическій промахъ. Нѣтъ, это невозможно!

Я обратился къ вамъ, милостивый государь, потому что, по мнѣнію моему, Всеобщая Газета болѣе, чѣмъ періодическое изданіе для Германіи; это сила и сила, которая (я весьма охотно это сознаю) соединяетъ въ высокой степени національное чувство и политическое пониманіе. И потому я старался отнестись къ вамъ во имя этого двойнаго значенія..

Расположеніе умовъ, которое создано и которое стараются распространить въ Германіи по отношенію къ Россіи, еще не составляетъ прямой опасности, но оно весьма легко можетъ сдѣлаться таковою. Это расположеніе умовъ не измѣнить ни въ чемъ (я въ этомъ убѣжденъ)

отношеній, нынѣ существующихъ между Германскими государствами и Россіею; но оно ведетъ къ тому, чтобы все болѣе и болѣе искажать политическое сознаніе по одному изъ важнѣйшихъ для каждаго народа вопросовъ, по вопросу о его союзахъ. Представляя въ самомъ лживомъ свѣтѣ самую національную политику, которую Германія когда либо соблюдала, оно ведетъ къ тому, чтобы произвести разъединеніе умовъ, чтобы направить всѣхъ пламенныхъ и безразсудныхъ на стезю, исполненную опасностей, стезю, гдѣ судьбы Германіи уже не разъ подвергались крушенію. А что если возникнетъ новое потрясеніе въ Европѣ или вѣковая распря, рѣшенная 30 лѣтъ тому назадъ въ вашу пользу, вновь возгорится? Россія конечно не отступится отъ вашихъ государей, точно также, какъ они не отстанутъ отъ Россіи; но тогда-то придется вѣроятно пожинать плоды того, что нынѣ посеяно: разъединеніе умовъ принесетъ плоды и они могли бы показаться весьма горькими для Германіи; наступили бы новыя отпаденія и новыя смуты. И тогда вамъ пришлось бы слишкомъ тяжелымъ путемъ искупать вашу минутную несправедливость по отношенію къ намъ.

Вотъ, милостивый государь, что мнѣ было желательно вамъ высказать. Вы можете сдѣлать изъ моей рѣчи то употребленіе, которое сочтете наиболѣе приличнымъ.

1844.

II.

Россія и революція ¹⁾.

Для того, чтобы уяснить себѣ сущность того роковаго переворота, въ который вступила нынѣ Европа, вотъ что слѣдовало бы сказать себѣ. Давно уже въ Европѣ существуетъ только двѣ дѣйствительныя силы — Революція и Россія. Эти двѣ силы теперь противопоставлены одна другой, и быть можетъ завтра онѣ вступятъ въ борьбу. Между ними никакіе переговоры, никакіе трактаты невозможны; существованіе одной изъ нихъ равносильно смерти другой! Отъ исхода борьбы, возникшей между ними, величайшей борьбы, какой когда-либо міръ былъ свидѣтелемъ, зависитъ на многіе вѣка вся политическая и религіозная будущность человѣчества.

Фактъ этого соперничества обнаруживается нынѣ всюду и, не взирая на то, таково пониманіе нашего вѣка, притупленнаго мудрованіемъ, что настоящее поколѣніе, въ

¹⁾ Эта статья есть записка поданная О. И. Тютчевымъ Императору Николаю Павловичу о положеніи Европы послѣ февральской революціи; она была написана тоже по французски въ Апрѣлѣ 1848 г., и напечатана въ Парижѣ въ 1849 году.

виду подобнаго громаднаго факта, далеко не создало исполнѣ его истиннаго значенія и не оцѣнило его дѣйствительныхъ причинъ.

До сихъ поръ искали его разъясненія въ сферѣ чисто политической; старались истолковать его различіемъ въ понятіяхъ о порядкѣ исключительно человѣческомъ. Поистинѣ, распря, существующая между Революціею и Россіею, зависитъ отъ причинъ, болѣе глубокихъ. Онѣ могутъ быть опредѣлены въ двухъ словахъ.

Россія прежде всего христіанская имперія; Русскій народъ — христіанинъ не только въ силу православія своихъ убѣжденій, но еще благодаря чему-то болѣе задушевному, чѣмъ убѣжденія. Онъ — христіанинъ въ силу той способности къ самоотверженію и самопожертвованію, которая составляетъ какъ бы основу его нравственной природы. Революція — прежде всего врагъ христіанства! Анти-христіанское настроеніе есть душа Революціи; это ея особенный, отличительный характеръ. Тѣ видоизмѣненія, которымъ она послѣдовательно подвергалась, тѣ лозунги, которые она попеременно усвоивала, все, даже ея насилія и преступленія, были второстепенны и случайны: но одно, что въ ней не таково, это именно анти-христіанское настроеніе, ее вдохновляющее, и оно-то (нельзя въ томъ не сознаться) доставило ей это грозное господство надъ вселенною. Тотъ, кто этого не понимаетъ, не болѣе какъ слѣпецъ, присутствующій при зрѣлищѣ, которое міръ ему представляетъ.

Человѣческое я, желая зависѣть лишь отъ самого себя, не признавая и не принимая другаго закона, кромѣ собственнаго изволенія, словомъ, человѣческое я, замѣняя собою Бога, конечно не составляетъ еще чего либо новаго

среди людей; но таковымъ сдѣлалось самовластіе человѣческаго я, возведенное въ политическое и общественное право и стремящееся, въ силу этого права, овладѣть обществомъ. Вотъ это-то новое явленіе и получило въ 1789 году названіе Французской революціи.

Съ той поры, не взирая на всѣ свои превращенія, Революція осталась вѣрна своей природѣ и, быть можетъ, никогда еще въ продолженіи всего своего развитія не сознавала она себя столь цѣльною, столь искренно антихристіанскою, какъ въ настоящую минуту, когда она присвоила себѣ знамя христіанства: «братство». Во имя этого можно даже предполагать, что она достигла своего апогея. И подлинно, если прислушаться къ тѣмъ наивно-богохульнымъ разглагольствованіямъ, которыя сдѣлались, такъ сказать, официальнымъ языкомъ нынѣшней эпохи, — не подумаетъ ли всякій, что новая Французская республика была приобщена ко вселенной лишь для того, чтобы выполнить евангельскій законъ? Именно это призваніе и было приписано себѣ тѣми силами, которыя ею созданы, за исключеніемъ впрочемъ такого измѣненія, какое Революція сочла нужнымъ произвести, а именно — чувство смиренія и самоотверженія, составляющее основу христіанства, она намѣрена замѣнить духомъ гордости и превозношенія; благотворительность свободную и добровольную, благотворительностью вынужденною; и взаимнѣе братства, проповѣдуемаго и принимаемаго во имя Бога, она намѣрена утвердить братство, налагаемое страхомъ къ народу-владыкѣ. За исключеніемъ этихъ различій, ея господство дѣйствительно обѣщаетъ обратиться въ царство Христово!

И это презрительное благоволеніе, которое новыя силы оказывали до сихъ поръ католической церкви и ея слу-

жителямъ, не должно никого вводить въ заблужденіе. Оно едва ли не самый важный признакъ дѣйствительнаго настроенія и самое вѣрное доказательство того всемогущества, котораго достигла Революція. И подлинно, почему Революція явила бы себя враждебною относительно духовенства и христіанскихъ священниковъ, которые не только покоряются ей, но принимаютъ и признаютъ ее, которые, чтобы ее умиловити, прославляютъ всѣ ея ужасы и, сами того не подозревая, приобщаются ко всѣмъ ея неправдамъ? Если бы даже подобное поведеніе основывалось на одномъ расчетѣ, то этотъ расчетъ былъ бы отступничествомъ; но если къ этому присоединяется убѣжденіе, то тутъ еще болѣе отступничества.

Однако можно предвидѣть, что не будетъ недостатка и въ преслѣдованіяхъ. Въ тотъ день, когда уступки дойдутъ до крайняго предѣла, когда католическая церковь сочтетъ нужнымъ обнаружить сопротивленіе, окажется, что она можетъ явить его лишь идя назадъ до мученичества. Можно вполнѣ положиться на Революцію: она во всемъ останется вѣрна себѣ и послѣдовательна до конца!

Февральскій взрывъ тѣмъ уже оказалъ міру великую услугу, что онъ ниспровергъ ходульныя подмостки заблужденій, скрывавшихъ дѣйствительность. Наименѣе проницательные умы вѣроятно поняли нынѣ, что исторія Европы въ теченіи послѣднихъ тридцати трехъ лѣтъ, была не что иное, какъ продолжительная мистификація. И точно, какимъ неумолимымъ свѣтомъ оварилось внезапно все это прошлое, столь недавнее и уже столь отъ насъ отдаленное? Кто, напримѣръ, не сознаетъ нынѣ, какое смѣшное притязаніе выражалось въ той премудрости нашего вѣка, которая наивно вообразила себѣ, что ей удалось подавить

Революцію конституціонними заклинаніями, обуздати ея страшную енергію посредствомъ формулы законности? Послѣ всего того, что произошло, кто можетъ еще сомнѣваться, что съ той минуты, когда революціонное начало проникло въ общественную кровь, всѣ эти уступки, всѣ эти примиряющія формулы суть не что иное, какъ наркотическія средства, которыя могутъ, пожалуй, на время усыпить больнаго, но не въ состояніи воспрепятствовать дальнѣйшему развитію самой болѣзни.

И вотъ почему, поглотивъ въ себѣ «Реставрацію» лично ей ненавистную, какъ послѣдній обломокъ законнаго правленія во Франціи, — Революція не стерпѣла также и другой власти, отъ нея самой исходившей, которую она, правда, признала въ 1830 году, чтобы имѣть сообщника въ борьбѣ съ Европою, но которую она сокрушила въ тотъ день, когда эта власть, вмѣсто того чтобы служить ей, дерзнула считать себя ея владыкою.

При этомъ случаѣ да будетъ мнѣ позволено сдѣлать замѣчаніе: какимъ образомъ могло случиться, что среди всѣхъ государей Европы, а равно и политическихъ дѣятелей, руководившихъ ею въ послѣднее время, оказался лишь одинъ, который съ перваго начала призналъ и провозгласилъ великое заблужденіе 1830 года, и который съ тѣхъ поръ одинъ въ Европѣ, быть можетъ одинъ среди всѣхъ его окружающихъ, постоянно отказывался ему подчиниться? На этотъ разъ, къ счастью, на Россійскомъ престолѣ находился Государь, въ которомъ воплотилась «Русская мысль», и въ настоящемъ положеніи вселенной «Русская мысль» одна была на столько отдалена отъ революціонной среды, что могла здраво оцѣнить факты, въ ней проявляющіеся.

То что Императоръ предвидѣлъ съ 1830 года, Революція не преминула осуществить до послѣдней черты. Всѣ уступки, всѣ жертвы своихъ убѣжденій, приносимыя монархическою Европою для упроченія Іюльскихъ событій въ видѣ мнимаго *status quo*, Революція всѣмъ этимъ завладѣла въ пользу замышляемаго ею переворота и, покуда законныя правительства вступали въ болѣе или менѣе искусныя дипломатическія сношенія съ такъ называемымъ законнымъ началомъ, а государственные люди и дипломаты всей Европы присутствовали, въ видѣ любопытныхъ и доброжелательныхъ любителей, при парламентскихъ ристалищахъ въ Парижѣ, — революціонная партія, почти не скрывая своихъ дѣйствій, изощрялась подрывать самую почву подъ ихъ ногами.

Можно сказать, что главною задачею для этой партіи, въ теченіи послѣднихъ восемнадцати лѣтъ, служило полнѣйшее возмущеніе Германіи, и нынѣ можно судить, хорошо ли эта задача была выполнена.

Германія безспорно та страна, на счетъ которой всего болѣе составляли себѣ самыя странныя заблужденія. Ее считали странною порядка, потому что она была спокойна, и не хотѣли видѣть того страннаго безначалія, которое овладѣло въ ней умами и господствовало надъ ними.

Шестьдесятъ лѣтъ разрушительной философіи совершенно сокрушили въ ней всѣ христіанскія вѣрованія и развили въ этомъ отрицаніи всякой вѣры первѣйшее революціонное чувство: «высокомѣріе ума», развили его такъ успѣшно, что въ настоящую минуту эта язва нашего вѣка, быть можетъ, нигдѣ такъ не глубока и не заражена ядомъ, какъ въ Германіи. Въ силу неизбѣжной послѣдовательности, Германія, по мѣрѣ того, что она пре-

давалась Революціи, чувствовала возрастаніе своей ненависти къ Россіи. И подлинно, обремененная благодѣяніями ей оказанными, революціонная Германія не могла не питать къ Россіи непримиримой непріязни. Въ настоящую минуту этотъ припадокъ ненависти, повидимому, дошелъ до крайнихъ предѣловъ; онъ взялъ верхъ, я не говорю уже надъ разсудкомъ, но даже надъ чувствомъ самосохраненія.

Если бы столь грустная ненависть могла внушить иное чувство, кромѣ сожалѣнія, то конечно Россія могла бы почитать себя достаточно отмщенною при видѣ того зрѣлища, которое явила міру Германія вслѣдствіе Февральской революціи; потому что едва ли не безпримѣрный фактъ въ исторіи видѣть цѣлый народъ, обратившійся въ подражателя другаго народа въ то самое время, когда сей послѣдній предается самымъ неистовымъ крайностямъ.

И въ видахъ извиненія всѣхъ этихъ столь очевидно искусственныхъ волненій, которыя низвергли весь политическій строй Германіи и нарушили существованіе самаго общественнаго порядка, отнюдь нельзя признать чтобы они были внушены искреннимъ, всѣми сознаннымъ чувствомъ необходимости Германскаго единенія. Положимъ, что это чувство искренно; согласенъ, что это есть желаніе положительнаго большинства; но что же это доказываетъ? Къ числу самыхъ безумныхъ заблужденій нашего времени принадлежитъ и мечта, будто достаточно, чтобы большинство искренно и пламенно пожелало чего нибудь, чтобы это желаемое уже сдѣлалось осуществимо. Притомъ слѣдуетъ сознаться, что въ наше время въ обществѣ нѣтъ ни одного желанія, ни одной потребности (какъ бы искренна и законна она ни была) которую Ре-

волюція, овладѣвъ ею, не искажила бы и не обратила въ ложь. И тоже самое именно случилось съ вопросомъ о Германскомъ единствѣ — потому что для всякаго, не утратившаго способность наблюденія, отнынѣ должно быть ясно, что на пути, на который ступила теперь Германія въ видахъ разрѣшенія этой задачи, она достигнетъ не единства, а страшнѣйшаго разъединенія, какой нибудь окончательной, неисправимой катастрофы.

Положительно, вскорѣ придуть къ убѣжденію, что одно только единство было возможно не для той Германіи, какою изображаютъ ее газеты, а для истинной Германіи, какою создала исторія; что единственная возможность серьезнаго и практическаго единенія для этой страны была неразрывно связана и политическою системою, нынѣ ею разрушенною.

Если въ теченіи послѣднихъ тридцати трехъ лѣтъ (едва-ли не счастливѣйшихъ во всей ея исторіи) Германія составляла политическое цѣлое, утвержденное на іерархическихъ началахъ и правильно развивающееся, то на какихъ условіяхъ подобный результатъ могъ быть достигнутъ и упроченъ? Очевидно при условіи искренняго соглашенія между двумя ея великими державами, представительницами тѣхъ двухъ принциповъ, которые въ продолженіи трехъ слишкомъ столѣтій борются между собою въ Германіи. Но самое это соглашеніе, достигнутое съ такими усиліями и съ такимъ трудомъ сохраняемое, не думаютъ-ли, что оно могло-бы быть возможно и продолжалось-бы такъ долго, если-бы Австрія и Пруссія, по окончаніи великихъ походовъ противъ Франціи, не примкнули бы тѣсно къ Россіи и не опирались бы на нее?— Вотъ та политическая комбинація, которая, осуществляя

для Германіи единственную примѣнимую къ ней систему единства, доставила ей этотъ тридцатитрехлѣтній раздыхъ, ею нынѣ нарушенный.

Никакая ненависть или ложь не въ состояніи отстранить этотъ фактъ. Въ припадкѣ безумія, Германія конечно могла разорвать союзъ, который, не налагая на нее никакихъ жертвъ, обеспечивалъ и охранялъ ея національную независимость; но тѣмъ самымъ она лишила себя навсегда всякаго твердаго и прочнаго основанія.

Въ подтвержденіе этой истины взгляните лучше на это отраженіе событій въ ту страшную минуту, когда событія подвигаются почти съ тою же быстротою, какъ и мысль человѣческая. Прошло не болѣе двухъ мѣсяцевъ съ той поры, какъ Революція въ Германіи принялась за дѣло, и уже (слѣдуетъ воздать ей должную справедливость) дѣло разрушенія въ этой странѣ зашло гораздо далѣе, чѣмъ подъ гнетомъ Наполеона послѣ десятилѣтнихъ ужасающихъ его походовъ.

Взгляните на Австрію, болѣе обезславленную, убитую и разгромленную чѣмъ въ 1809 году; взгляните на Пруссію, обреченную на самоубійство, благодаря ея роковому и вынужденному соглашенію съ Польскою партіею; взгляните на берега Рейна, гдѣ, вопреки пѣсенъ и фразъ, Прирейнская конфедерація усиливается возникнуть вновь! Анархія всюду, порядка нигдѣ, и все это подъ мечемъ Франціи, гдѣ кипитъ общественная революція, которая готова слиться съ политической революціей, обуревающею Германію.

Нынѣ для каждого здравомыслящаго человѣка вопросъ о Германскомъ единствѣ — вопросъ уже рѣшенный. Нужно обладать тою силою неслѣпости, которая свойственна Гер-

манскимъ идеологамъ, чтобы недоумѣвать, имѣеть-ли это скопище журналистовъ, адвокатовъ и профессоровъ, собранное во Франкфуртѣ и присвоившее себѣ призваніе возобновить времена Карла Великаго, какіе-либо задатки на положительный успѣхъ въ дѣлѣ ими предпринятомъ; обладаетъ-ли оно достаточно мощною, искусною рукою, чтобы на этой колеблющейся почвѣ возстановить низвергнутую пирамиду, поставивъ ее острымъ конусомъ внизъ? Вопросъ уже не въ томъ, чтобы знать, сольется-ли Германія во едино, но удастся-ли ей спасти какую нибудь частицу своего національнаго существованія, среди этихъ внутреннихъ раздоровъ, вѣроятно еще имѣющихъ усугубиться внѣшнею войною.

Партіи, готовящіяся раздирать эту страну, уже начинаютъ выясняться. Уже во многихъ мѣстахъ въ Германіи республика утвердилась, и можно разсчитывать, что она не удалится безъ боя, потому что она имѣетъ за себя логику, а за собою Францію. Въ глазахъ этой партіи вопросъ о національности не имѣетъ ни смысла, ни значенія. Въ интересахъ своей задачи, она ни на минуту не поколеблется принести въ жертву независимость своей страны, и она завербовала-бы скорѣе сегодня чѣмъ завтра всю Германію подъ знамя Франціи, хотя-бы даже и подъ красное знамя. — Она всюду имѣетъ пособниковъ; она находитъ содѣйствіе и поддержку между людьми и всякими предметами, въ анархическихъ инстинктахъ толпы столько-же, сколько въ анархическихъ учрежденіяхъ, нынѣ такъ щедро разсыянныхъ по всей Германіи. Но ея надежнѣйшіе и сильнѣйшіе помощники суть именно тѣ люди, которые со дня на день могутъ быть призваны къ ея обузданію: до того эти люди связаны съ нею солидар-

ностью принциповъ. Теперь весь вопросъ заключается въ томъ, чтобы опредѣлить, возникнетъ-ли борьба прежде, чѣмъ мнимые консерваторы успѣютъ своими раздорами и своимъ безуміемъ уронить значеніе всѣхъ элементовъ силы и противодѣйствія, еще сохранившихся въ распоряженіи Германіи. Однимъ словомъ, при нападеніи на нихъ республиканской партіи, рѣшатся-ли они видѣть въ ней, то, что она есть въ дѣйствительности, т. е. передовой отрядъ Французскаго нашествія, и сознаютъ-ли они въ себѣ достаточно энергіи, чтобы, въ виду опасности, угрожающей національной независимости, вступить въ борьбу съ республикой до послѣдней крайности; — или-же, во избѣжаніе этой борьбы, они предпочтутъ признать какую нибудь мнимую мировую сдѣлку, которая въ сущности была-бы съ ихъ стороны ни что иное, какъ скрытая капитуляція.

Въ томъ случаѣ, если-бы осуществилось послѣднее предположеніе, пришлось-бы сознаться, что возможность крестоваго похода противъ Россіи, этого похода, который былъ всегда завѣтною мечтою Революціи, а теперь обратился въ ея военный кличъ, — эта возможность превратилась-бы въ несомнѣнную увѣренность: насталь-бы почти день рѣшительной борьбы, и полемъ сраженія послужила-бы Польша. По крайней мѣрѣ на эту именно возможность возлагаютъ свои надежды революціонеры всѣхъ странъ; но они недостаточно принимаютъ въ расчетъ одну сторону этого вопроса, и этотъ промахъ можетъ, пожалуй, значительно разстроитъ всѣ ихъ соображенія.

Революціонная партія (въ Германіи въ особенности), кажется, пришла къ убѣжденію, что, коль скоро она сама такъ легко относилась къ національному элементу, то и во всѣхъ странахъ, подчиненныхъ ея вліянію, должно

оказаться то же самое и что всюду и всегда вопросъ о принципѣ будетъ преобладать надъ вопросомъ о національности. Уже событія, совершившіяся въ Ломбардіи, должны были внушить странныя мысли Вѣнскимъ студентамъ-реформаторамъ, которые вообразили себѣ, что достаточно было изгнать князя Меттерниха и провозгласить свободу печати, чтобы разрѣшить всѣ грозныя затрудненія, тяготящія надъ Австрійскою монархіею; Итальянцы же продолжаютъ упорствовать въ своемъ взглядѣ на нихъ, какъ на «*Tedeschi*» и «*Barbari*», какъ будто-бы они и не возрождались, пройдя черезъ очистительныя воды мятежа. Но Германія революціонная въ скоромъ времени получить въ этомъ отношеніи урокъ еще болѣе строгій и знаменательный, потому что онъ будетъ данъ отъ близкаго сосѣда. И подлинно, никто не подумалъ, что, сокрушая и ослабляя всѣ прежнія правительства, потрясая въ самыхъ основаніяхъ весь политическій строй этой страны, въ то же время успѣли возбудить въ ней страшнѣйшее изъ всѣхъ затрудненій, вопросъ жизни и смерти для ея будущности—вопросъ племенной. Было всѣми забыто, что въ самомъ центрѣ той Германіи, единство которой составляетъ общую мечту, въ Богемской долинѣ и въ Славянскихъ земляхъ, существуютъ шесть или семь миллионовъ людей, для кого изъ рода въ родъ, въ теченіи многихъ вѣковъ, Нѣмецъ не переставалъ ни на одно мгновеніе казаться чѣмъ-то несравненно худшимъ, нежели иностранецъ; для кого Германецъ всегда ни что иное, какъ «*Niמעז*»... Понятно, что здѣсь идетъ рѣчь не о литературномъ патріотизмѣ нѣкоторыхъ Пражскихъ ученыхъ, какъ-бы онъ почтененъ ни былъ. Эти люди уже оказали и еще окажутъ великія услуги своей странѣ; но истинная жизненная сила Богеміи

чѣмъ справедливостью, подкладкою для Польской эмиграціи, чтобы возстановлять противъ насъ общественное мнѣніе цѣлой Европы. Всякій Русскій, посѣтившій Прагу, въ теченіи послѣднихъ годовъ, можетъ удостовѣрить, что единственный упрекъ, слышанный имъ тамъ противъ насъ, относился къ той осторожности и равнодушію, съ которыми національныя симпатіи Богеміи принимались между нами. Высокія и великодушныя соображенія внушали намъ въ то время подобный образъ дѣйствій; теперь-же это было-бы положительнымъ безсмысліемъ: тѣ жертвы, которыя мы тогда приносили дѣлу порядка, намъ пришлось-бы нынѣ совершать въ пользу Революціи.

Но если можно по справедливости сказать, что Россія въ настоящихъ обстоятельствахъ менѣе, чѣмъ когда либо имѣетъ право отвращать отъ себя тѣ симпатіи, которыя она внушаетъ, то нельзя съ другой стороны по истинѣ не признать извѣстнаго историческаго закона, по волѣ Провидѣнія управляющаго понынѣ ея судьбами, а именно, что ея самыя заклятые враги всего болѣе содѣйствовали развитію ея величія. Этотъ благотворный законъ доставилъ ей нынѣ одного врага, который безъ сомнѣнія будетъ играть важную роль въ судьбахъ ея будущности и который въ значительной долѣ будетъ содѣйствовать къ скорѣйшему ихъ осуществленію. Этотъ врагъ — Венгрія (я разумѣю Мадьярскую Венгрію). Изъ всѣхъ враговъ Россіи, она едвали не питаетъ къ ней самой озлобленной ненависти. Мадьярскій народъ, въ коемъ революціонный пылъ самымъ страннымъ образомъ сочетался съ грубостью Азіятской орды и о коемъ можно было бы сказать съ не меньшею справедливостью, какъ и о Туркахъ, что онъ находится какъ-бы на временной стоянкѣ въ Европѣ —

окруженъ Славянскими племенами, въ одинаковой степени ему ненавистными. Личный врагъ этой расы, судьбу которой онъ такъ долго искажалъ, онъ видитъ себя, послѣ цѣлыхъ вѣковъ волненія и тревогъ, все еще въ заперти среди нея. Всѣ эти окружающія его народности: Сербь, Кроаты, Словаки, Трансильванцы и даже Карпатскіе Малороссы составляютъ звенья цѣпи, которую онъ считалъ навсегда разсторгнутою. А теперь онъ чувствуетъ надъ собою руку, которая въ состояніи, когда ей только вздумается, соединить эти звенья и стянуть цѣпь, сколько пожелаетъ. На этомъ основана его инстинктивная ненависть къ Россіи. Съ другой стороны, нынѣшніе руководители партіи въ своемъ довѣріи къ журналистикѣ серьезно убѣдились, что Мадьярскому народу предстоитъ выполнить великое призваніе на православномъ Востокѣ — однимъ словомъ, что ему предназначено держать въ равновѣсіи судьбу Россіи... До сихъ поръ умѣряющее вліяніе Австріи кое-какъ сдерживало эту тревогу и это безразсудство; но теперь, эта послѣдняя связь порвана, и старый, бѣдный отецъ, впавшій въ дѣтство, взять въ опеку. Слѣдуетъ предвидѣть, что мадьяризмъ, совершенно освобожденный, предоставитъ полную свободу всѣмъ своимъ крайностямъ и будетъ подвергать себя самымъ безумнымъ случайностямъ. Уже была рѣчь объ окончательномъ приобщеніи Трансильваніи. Толкуютъ о томъ, чтобы возстановить старинныя права на Дунайскія княжества и Сербію. Во всѣхъ этихъ странахъ начнутъ усиливать пропаганду съ цѣлью возстановить ихъ противъ Россіи и когда всюду распространится неурядица, то разсчитываютъ въ одинъ прекрасный день появиться съ вооруженною силою, чтобы, во имя нарушенныхъ правъ Запада, требовать возврата

устьевъ Дуная и повелительнымъ тономъ объявить Россіи: «ты не пойдешь далѣе!» Вотъ въ чемъ заключаются безспорно нѣкоторыя статьи программы, вырабатываемой нынѣ въ Пресбургѣ. Въ прошломъ году все это были еще только однѣ газетныя фразы; теперь же со дня на день онѣ могутъ отразиться въ весьма серіозныхъ и опасныхъ попыткахъ. Впрочемъ всего неизбѣжнѣе представляется намъ теперь распря между Венгріею и двумя зависящими отъ нея Славянскими королевствами. И точно, Кроація и Славонія, предвидя, что ослабленіе законной власти въ Вѣнѣ предастъ ихъ неизбѣжно произволу мадьяризма, по-видимому исторгли у Австрійскаго правительства обѣщаніе отдѣльнаго у себя управленія, съ присоединеніемъ къ нимъ Далмаціи и Военной Границы. Это положеніе, которое сгруппированныя такимъ образомъ страны стараются принять по отношенію къ Венгріи, не замедлитъ разжечь всѣ прежнія несогласія и произвести открытое внутреннее возстаніе; а такъ какъ значеніе Австрійскаго правительства вѣроятно окажется слишкомъ ничтожнымъ, чтобы съ успѣхомъ принять на себя посредничество между воюющими сторонами, то Венгерскіе Славяне, какъ слабѣйшіе, вѣроятно изнемогли бы въ борьбѣ, если бы не встрѣтилось одно обстоятельство, которое рано или поздно должно придти къ нимъ на помощь, а именно, что непріятель, съ которымъ имъ суждено бороться, прежде всего врагъ Россіи и что къ тому-же на всей этой Военной Границѣ, состоящей на двѣ трети изъ православныхъ Сербовъ, даже по словамъ самихъ Австрійцевъ, нѣтъ ни одной избы крестьянской, гдѣ рядомъ съ портретомъ Австрійскаго Императора не было бы портрета другаго Императора, котораго эти вѣрныя племена продолжаютъ

съ упорствомъ считать за единственнаго законнаго. При этомъ не слѣдуетъ скрывать отъ себя, что мало вѣроятія, чтобы всѣ эти удары землетрясенія, раздающіеся на Западѣ, остановились у порога странъ восточныхъ, и какимъ образомъ могло бы случиться, что въ этой роковой войнѣ, въ этомъ ополченіи безбожія, предпринимаемомъ противъ Россіи Револуціею, охватившею уже три четверти Западной Европы, Востокъ Христіанскій, Востокъ Славяно-православный, существованіе котораго неразрывно связано съ нашимъ собственнымъ, не очутился бы вслѣдъ за нами увлеченнымъ въ эту борьбу. И быть можетъ, съ него-то именно и начнется война, потому что можно предполагать, что всѣ эти раздирающія его пропаганды (пропаганда католическая, пропаганда революціонная и пр. и пр.) другъ другу противоположныя, но всѣ соединенныя въ одномъ общемъ чувствѣ ненависти къ Россіи, примутся за дѣло съ большимъ рвеніемъ, чѣмъ когда либо. Можно быть убѣжденнымъ, что онѣ ни отъ чего не отступятъ, чтобы достигнуть своей цѣли.... И, Боже милостивый! какова была бы участь этихъ племенъ (христіанскихъ какъ и мы), если бы, въ борьбѣ уже отнынѣ со всѣми этими ненавистными силами, они были бы покинуты въ подобную минуту единственною властью, къ которой они взываютъ въ своихъ молитвахъ? Однимъ словомъ, каково было бы смятеніе, которому предались бы эти страны Востока въ борьбѣ съ Револуціею, если бы законный Монархъ, православный Императоръ Востока, еще надолго замедлилъ своимъ появленіемъ?

Нѣтъ — это невозможно.... Тысячелѣтнія предчувствія не могутъ обманывать. Россія, страна вѣрующая, не ощущать недостатка вѣры въ рѣшительную минуту. Она не

устрашится величія своего призванія и не отступить передъ своимъ назначеніемъ.

И когда-же это призваніе могло быть болѣе яснымъ и очевиднымъ? Можно сказать, что Господь начерталъ его огненными буквами на этомъ небѣ, омраченномъ бурями.— Западъ исчезаетъ, все рушится, все гибнетъ въ этомъ общемъ воспламененіи. Европа Карла Великаго и Европа трактатовъ 1815 г., Римское папство и всѣ западныя королевства, католицизмъ и протестантизмъ, вѣра уже давно утраченная и разумъ доведенный до безсмыслія, порядокъ отнынѣ немыслимый, свобода отнынѣ невозможная, и надъ всѣми этими развалинами ею же созданными цивилизація, убивающая себя собственными руками....

И когда, надъ этимъ громаднымъ крушеніемъ, мы видимъ всплывающею святымъ ковчегомъ эту Имперію еще болѣе громадную, то кто дерзнетъ сомнѣваться въ ея призванія, и намъ-ли, сынамъ ея, являть себя невѣрующими и малодушными?

12 Апрѣля 1848 г.

III.

Папство и Римскій вопросъ.

Съ Русской точки зрѣнія ¹⁾.

Если есть какой изъ вопросовъ дня или вѣрнѣе вѣка, въ которомъ, словно въ фокусѣ сводятся, сосредоточиваются всѣ аномаліи, всѣ противорѣчія, всѣ непреодолимые затрудненія, съ которыми бьется Западная Европа, — то это безъ сомнѣнія вопросъ Римскій. Да и не могло быть

¹⁾ Статья эта «La papauté et la question romaine», появляющаяся здѣсь въ первый разъ (цѣликомъ) въ Русскомъ переводѣ, была напечатана въ 1850 г. въ «Revue des Deux-Mondes». Событія, послужившія къ ней поводомъ были слѣдующія: Въ 1847 году, съ восшествіемъ на папскій престолъ Пія IX, введены имъ были въ Римѣ разныя либеральныя преобразованія. Вспыхнувшая затѣмъ въ Парижѣ Февральская революція, перекинула свое революціонное пламя и въ Римъ; папа бѣжалъ, но чрезъ нѣсколько мѣсяцевъ войска Французской республики, по повелѣнію президента Людовика Наполеона, осадили вѣчный городъ, чуть-чуть не разрушили его бомбами, наконецъ, послѣ долгой осады, овладѣли имъ, раздавили новосозданную Римскую республику и водворили папу снова въ Ватиканъ. Часть статьи, или вѣрнѣе тема о соотношеніи католицизма или романтизма съ протестантизмомъ, послужила впоследствии поводомъ и темою для извѣстныхъ Французскихъ брошюръ Хомякова.

иначе: таково неизбежное слѣдствіе той неумолимой логики, которая, какъ скрытое правосудіе, вложена Богомъ въ событія міра. Глубокій и непримиримый разрывъ, вѣками донимающій Западъ, долженъ былъ, наконецъ, дойти до высшаго своего выраженія, долженъ былъ проникнуть до самаго корня дерева. А почетнаго права на такое значеніе никто, конечно, не станетъ оспаривать у Рима: онъ и теперь, какъ былъ имъ всегда, — корень Западнаго міра. Однакоже, какъ ни сильно озабочены умы этимъ вопросомъ, позволительно усумниться, чтобы вся полнота его содержанія была въ точности и отчетливо раскрыта сознанію.

Что вѣроятно болѣе всего способствуетъ къ нѣкоторому заблужденію мысли относительно свойства и предѣловъ вопроса въ той его постановкѣ, въ какой онъ теперь является предъ нами, — это вопервыхъ, мнимое сходство между тѣмъ, что на нашихъ глазахъ совершилось въ Римѣ, и нѣкоторыми изъ прежнихъ, революціонныхъ эпизодовъ его исторіи; вовторыхъ — весьма дѣйствительная связь, которою современное Римское движеніе примыкаетъ къ общему движенію революціи Европейской. Всѣ эти побочныя обстоятельства, на первый взглядъ повидимому объясняющія Римскій вопросъ, въ сущности только заслоняютъ отъ насъ его глубину. Нѣтъ, не таковъ этотъ вопросъ, какъ другіе: не только ко всему, что есть на Западѣ, прикосновененъ онъ, но можно сказать, онъ даже переступаетъ его предѣлы.

Едва ли кто рѣшится обозвать клеветою или парадоксомъ такое утвержденіе, что въ настоящее время все, что еще осталось на Западѣ отъ положительнаго христіанства, связано скрытымъ или же болѣе или менѣе приз-

наннымъ сродствомъ съ Римскимъ католицизмомъ, для котораго папство, какъ оно вѣками сложилось, то-же, что камень, замыкающій сводъ, — необходимое условіе бытія. Протестантство съ его многочисленными развѣтвленіями, котораго едва хватило на три вѣка, умираетъ отъ истощенія во всѣхъ странахъ, гдѣ оно до сихъ поръ господствовало, за исключеніемъ одной развѣ Англій; да и тамъ, если оно и проявляетъ еще нѣкоторыя задатки жизни, задатки эти стремятся къ воссоединенію съ Римомъ. Что касается разныхъ религіозныхъ доктринъ, возникающихъ внѣ всякаго общенія съ тѣмъ или другимъ изъ этихъ двухъ исповѣданій, то онѣ очевидно не болѣе какъ личныя мнѣнія. Однимъ словомъ, папство — вотъ столпъ, который еще кое-какъ поддерживаетъ на Западѣ весь тотъ край христіанскаго зданія, что уцѣлѣлъ послѣ великаго погрома XVI вѣка и послѣдовательныхъ обваловъ, совершившихся съ той поры.

И вотъ на этотъ-то столпъ и собираются теперь посягнуть, направляя удары въ самую его основу. Намъ очень хорошо извѣстны всѣ тѣ общія мѣста, которыми какъ повседневная печать, такъ и официальные завѣренія нѣкоторыхъ правительствъ стараются, по обыкновенію, прикрыть правду дѣйствительности: до папства-де, какъ до религіознаго учрежденія, и не думаютъ прикасаться; передъ нимъ преклоняются, благоговѣютъ; его сохранять во что бы ни стало; даже свѣтской власти у папства не оспариваютъ; хотятъ только видоизмѣнить ея примѣненіе. Отъ него потребуютъ лишь уступокъ, признанныхъ необходимыми; его заставятъ принять преобразованія лишь совершенно законныя. Во всемъ этомъ порядочная доля недобросовѣстности, а въ преизобиліи — самообольщеніе.

Ужъ конечно недобросовѣстно, даже со стороны людей самыхъ благодушныхъ, прикидываться вѣрующими, будто реформы серьезныя и честно выполненныя въ настоящемъ образѣ управленія папскою областью, могутъ не привести, въ продолженіе извѣстнаго времени, къ полной ея секуляризациі ¹⁾. Но вопросъ-то собственно и не въ этомъ: дѣйствительный вопросъ заключается въ томъ, въ чью пользу совершится эта секуляризациія, то есть каковы будутъ свойства, духъ и стремленія того новаго правительства, которому вы передадите свѣтскую власть, отнявъ ее у папства; и подъ опекою котораго, — это скрыть вы отъ себя не можете, — папство осуждено будетъ впредь жить. И вотъ тутъ-то и преизобилуетъ самообольщеніе.

Намъ извѣстно идолопоклонство людей Запада передъ всѣмъ, что есть форма, формула и политическій механизмъ. Идолопоклонство это сдѣлалось какъ бы послѣднею религіею Запада. Но если только не совсѣмъ сомкнуть глаза предъ всякимъ опытомъ, предъ всякой очевидной истиной, то какимъ же еще образомъ, послѣ всего случившагося, можно еще сѣмъ увѣрить себя, будто при современномъ положеніи Европы, Италіи, Рима, навязанные вами папѣ либеральныя или полулиберальныя уставы такъ таки и останутся надолго въ зависимости отъ убѣжденій среднихъ, умѣренныхъ, мягкихъ, — такихъ, какими вамъ пріятно воображать ихъ себѣ, въ интересахъ доказываемаго вами тезиса; будто не захватить ихъ быстро въ руки свои революція и не превратить ихъ вслѣдъ за

¹⁾ *Секуляризациія* — отнятіе у учрежденія характера церковнаго и присвоеніе ему характера и свойствъ учрежденія только мірскаго, государственнаго; на Русскомъ языкѣ нѣтъ соотвѣтствующаго термина. *Примѣч. переводчика.*

тѣмъ въ стѣннбитныя орудія, для сокрушенія не только свѣтской власти папы, но и самаго церковнаго учрежденія? Ибо, сколько бы вы ни наказывали революціонному принципу, какъ Господь Сатанѣ, мучить одно лишь тѣло вѣрнаго Іова, не касаясь его души, — будьте увѣрены, что революція, менѣе совѣтливая, чѣмъ духъ тьмы, не обратитъ никакого вниманія на ваши внушенія.

Ни обманываться, ни самообольщаться въ этомъ отношеніи не можетъ уже тотъ, кто вполнѣ уразумѣлъ, что составляетъ основаніе спора на Западѣ, что, въ продолженіе вѣковъ, сдѣлалось его жизнью — жизнью не нормальной, конечно, однакожь дѣйствительной, — болѣзнью, зародившеюся не со вчерашняго дня и все еще разливающеюся. И если такъ мало встрѣчается людей чувствующихъ это положеніе Запада, то этимъ доказывается только, что болѣзнь зашла уже очень далеко.

Не подлежитъ и сомнѣнію, — по отношенію къ вопросу Римскому, — что большинство интересовъ, требующихъ преобразованій и уступокъ со стороны папы, интересы законныя, справедливыя, чуждыя затаенной или такъ-называемой задней мысли; что удовлетворить ихъ слѣдуетъ и что въ удовлетвореніи этомъ даже нельзя далѣе имъ отказывать.

Но таковъ, до невѣроятности, роковой удѣлъ настоящаго положенія, что эти интересы, сами по себѣ совершенно мѣстные и сравнительно незначительные, оказываютъ рѣшающее воздѣйствіе на вопросъ исполнской важности. Они подобны тѣмъ скромнымъ жилищамъ частныхъ людей, расположеннымъ на такомъ мѣстѣ, которое господствуетъ надъ крѣпостью, а на бѣду врагъ у воротъ. Ибо повторяемъ: секуляризація — вотъ конечный, неиз-

бѣжный исходъ всякой реформы серьезно и добросовѣстно проведенной въ Римской области; а секуляризація, при нынѣшнихъ обстоятельствахъ, ничто болѣе, какъ сложеніе оружія передъ непріателемъ, капитуляція.

Итакъ, что же изъ этого слѣдуетъ? То ли, что Римскій вопросъ въ этой его постановкѣ, просто лабиринтъ безъ выхода; что папство, съ постепеннымъ развитіемъ скрытаго въ немъ порока, пришло, послѣ многихъ вѣковъ бытія, къ такому періоду существованія, въ которомъ жизнь, какъ было кѣмъ-то сказано, даетъ себя чувствовать лишь трудностью жить? То ли, что Римъ, создавшій Западъ по образу своему и подобію, столкнулся, какъ и онъ, лицомъ къ лицу съ невозможностью? Мы не беремся отвѣчать отрицательно — и, вотъ здѣсь-то и выступаетъ, словно солнце, та логика Промысла, которая, какъ внутренній законъ, управляетъ событіями міра. Скоро исполнится восемь вѣковъ съ того дня, какъ Римъ разорвалъ послѣднее звѣно, связывавшее его съ православнымъ преданіемъ Вселенской Церкви. Создавая себѣ въ тотъ день свою отдѣльную судьбу, онъ на многіе вѣка рѣшилъ судьбу Запада.

Догматическія различія, отдѣляющія Римъ отъ православной церкви, извѣстны всѣмъ. Съ точки зрѣнія чело-вѣческаго разума различія эти, вполне обуславливая раздѣленіе, не объясняютъ въ достаточной мѣрѣ той пропасти, которая образовалась — не между двумя церквями, ибо церковь *одна* — а между двумя мірами, такъ сказать, между двумя чело-вѣчествами, которыя послѣдовали за этими двумя разными знаменами. Различія эти не объясняютъ въ достаточной мѣрѣ, почему то, что тогда со-

вратилось съ пути, должно было необходимо дойти до той точки, которой оно достигаетъ на нашихъ глазахъ.

Спаситель сказалъ: «Царство Мое не отъ міра сего». И вотъ нужно понять, какимъ образомъ Римъ, отдѣлившись отъ единства, счелъ, что онъ имѣетъ право въ интересъ, который онъ отождествилъ съ интересомъ самаго христіанства, устроить это Царство Христово какъ царство міра сего. Мы знаемъ, какъ трудно, въ кругу понятій Запада, придать этому слову его законное значеніе: его всегда будутъ склонны толковать не въ православномъ, а въ протестантскомъ смыслѣ; а между этими двумя смыслами то разстояніе, которое отдѣляетъ божественное отъ человѣческаго. Но надо признать, что, будучи отдѣлено этимъ неизмѣримымъ разстояніемъ отъ протестантства, православное ученіе нисколько не ближе стоитъ и къ ученію Рима и вотъ почему Римъ, конечно, поступилъ не такъ, какъ протестантство: онъ не упразднилъ христіанскаго средоточія, которое есть церковь, въ пользу человѣческаго, личнаго я; но за то онъ поглотилъ его въ Римскомъ я. Онъ не отвергъ преданія, а удовольствовался тѣмъ, что конфисковалъ его въ свою пользу. А развѣ присвоивать себѣ божественное не значить то-же, что отрицать его? Вотъ чѣмъ устанавливается та страшная, но безпорная связь, которою, черезъ долгій промежутокъ времени, начало протестанства примыкаетъ къ захватамъ Рима: ибо захватъ представляетъ ту особенность, что онъ не только родитъ возстаніе, но еще создаетъ въ свою пользу призракъ права.

Новѣйшая революціонная школа въ этомъ не ошиблась. Революція, которая есть не что иное, какъ апоѳеоза того же самаго человѣческаго я, достигшаго до своего пол-

нѣйшаго разцвѣта, не замедлила признать своими и привѣтствовать, какъ двухъ своихъ славныхъ предковъ — и Григорія VII-го, и Лютера. Родственная кровь заговорила въ ней, а она приняла одного, не смотря на его христіанскія вѣрованія, и почти обоготворила другого, хоть онъ и папа.

Но если очевидное сходство, соединяющее три члена этого ряда, составляетъ основу исторической жизни Запада, то исходною точкою этой связи необходимо признать именно то глубокое искаженіе, которому христіанское начало подверглось отъ навязаннаго ему Римомъ устройства. Въ теченіи вѣковъ Западная церковь, подъ сѣнію Рима, почти совершенно утратила обликъ, указанный ея исходнымъ началомъ. Она перестала быть, среди великаго человѣческаго общества, обществомъ вѣрующихъ, свободно соединенныхъ въ духѣ и истинѣ подъ Христовымъ закономъ: она сдѣлалась политическимъ учрежденіемъ, политическою силою, государствомъ въ государствѣ. По правдѣ сказать, во все продолженіе среднихъ вѣковъ, церковь на Западѣ была ничѣмъ инымъ, какъ Римскою колоніей, водворенной въ завоеванной странѣ.

Это-то усройство, привязавъ церковь къ праху земныхъ интересовъ, и создало ей, такъ сказать, смертную судьбу: воплотивъ божественное начало въ немощномъ и преходящемъ тѣлѣ, оно привило къ нему всѣ немощи и похоти плоти. Изъ этого устройства роковымъ образомъ вытекла для Римской церкви необходимость войны, войны вещественной — необходимость, которая для такого учрежденія, какъ церковь, равносильна была безусловному осужденію. Изъ этого устройства родилась та борьба притязаній и то соперничество интересовъ, которые необхо-

димо должны были привести къ ожесточенной схваткѣ между первосвященникомъ и имперіей, къ этому по истинѣ безбожному и святотатственному поединку, который, продолжаясь во всѣ средніе вѣка, нанесъ на Западѣ смертельный ударъ самому началу власти. Отсюда всѣ эти излишества и насилія, нагромождаемыя въ продолженіе вѣковъ, чтобы подпереть ту вещественную власть, безъ которой, по мнѣнію Рима, нельзя ему было обойтись для охраненія единства церкви и которая однакоже, въ концѣ концовъ, какъ и слѣдовало ожидать, разбила въ дребезги это воображаемое единство: ибо нельзя отрицать, что взрывъ реформы въ XVI вѣкѣ въ основаніи своемъ былъ лишь реакціей христіанскаго чувства, слишкомъ долго напившаго противъ власти церкви, которая уже во многихъ отношеніяхъ была таковою лишь по имени. Но такъ какъ издавна Римъ заботливо заслонялъ собою Вселенскую Церковь отъ Запада, то вожди реформы, вмѣсто того чтобы нести свои обиды предъ судилище высшей и законной власти, предпочли апеллировать къ суду личной совѣсти, то-есть сотворили себя судьями въ своемъ собственномъ дѣлѣ: вотъ тотъ камень преткновенія, о который разбилась реформа XVI вѣка. Такова — не въ обиду будь сказано мудрымъ учителямъ Запада — истинная и единственная причина, въ силу которой движеніе реформы, христіанское въ своемъ началѣ, сбилось съ пути, и наконецъ, пришло къ отрицанію авторитета Церкви, а слѣдовательно и самаго начала всякаго авторитета. Черезъ этотъ проломъ, который протестантство пробило, такъ сказать само того не вѣдая, ворвалось въ западное общество противухристіанское начало.

Исходъ этотъ былъ неизбѣженъ, ибо человѣческое я,



предоставленное самому себѣ, противно Христіанству по существу. Возмущеніе этого я и его захваты возникли конечно не въ три послѣдніе вѣка; но тутъ именно, въ первый разъ въ исторіи человѣчества, это возмущеніе, этотъ захватъ возведены были на степень принципа и стали дѣйствовать подъ видомъ права, присущаго человѣческой личности. Поэтому за три послѣдніе вѣка историческая жизнь Запада необходимо была непрерывною войною, постояннымъ приступомъ, направленнымъ противъ всѣхъ христіанскихъ элементовъ, входившихъ въ составъ стараго западнаго общества. Эта разрушительная работа длилась долго, такъ какъ для того, чтобы имѣть возможность напасть на учрежденія, надо было прежде уничтожить ихъ связующую силу, то-есть вѣрованія.

Первая Французская революція тѣмъ именно и памятна во всемірной исторіи, что ей, такъ сказать, принадлежитъ починъ въ дѣлѣ достиженія противухристіанскою идеею правительственной власти надъ политическимъ обществомъ. Эта идея выражаетъ собою истинную сущность, такъ сказать, душу революціи. Чтобы убѣдиться въ этомъ, достаточно уяснить себѣ, въ чемъ состоитъ ея основное ученіе — то новое ученіе, которое, революція внесла въ міръ. Это, очевидно, ученіе о верховной власти народа. А что такое верховная власть народа, какъ не верховенство человѣческаго я, помноженнаго на огромное число, то есть опирающагося на силу? Все, что не есть это начало, не есть уже революція и можетъ имѣть лишь чисто-относительную и случайную цѣну. Вотъ почему, замѣтимъ мимоходомъ, нѣтъ ничего безсмысленнѣе или коварнѣе — какъ придавать иную цѣну созданнымъ революціею политическимъ учрежденіямъ. Это осадныя орудія, превосходно

приспособленныя къ тому употребленію, для котораго они построены; но помимо этого назначенія, они въ правильномъ обществѣ никогда не найдутъ подходящаго приложенія.

Впрочемъ, революція сама позаботилась о томъ, чтобы не оставить въ насъ ни малѣйшаго сомнѣнія относительно ея истинной природы. Отношеніе свое къ Христіанству она формулировала такъ: «Государство, какъ таковое, не имѣетъ религіи», ибо таковъ символъ вѣры новѣйшаго государства. Вотъ, собственно говоря, та великая новость, которую революція внесла въ міръ; вотъ ея неотъемлемое, существенное дѣло — фактъ, не имѣющій себѣ подобнаго въ предшествовавшей исторіи человѣческихъ обществъ. Въ первой разъ политическое общество отдавалось подъ власть государства, совершенно чуждаго всякаго высшаго освященія, государства, объявлявшаго, что у него нѣтъ души; а если и есть, то развѣ душа безвѣрная: ибо кто не знаетъ, что даже въ языческой древности, во всемъ этомъ мірѣ по ту сторону креста, который жилъ подъ сѣнію общаго вселенскаго преданія (искаженнаго, но не прерваннаго язычествомъ) городъ, государство были прежде всего учрежденіемъ религіознымъ? Это былъ какъ бы обломокъ общаго преданія, который, воплощаясь въ отдѣльномъ обществѣ, образовывался какъ независимый центръ; это была, такъ сказать, ограниченная мѣстностью и овеществленная религія.

Нейтралитетъ, котораго революція желаетъ держаться въ вопросахъ вѣры, очевидно не есть съ ея стороны что нибудь серьезное. Ей слишкомъ хорошо вѣдомы свойства ея противника, чтобы не знать, что по отношенію къ нему никакой нейтралитетъ невозможенъ: «Кто не со

Мною, тотъ противъ Меня». Въ самомъ дѣлѣ, чтобы предложить Христіанству нейтралитетъ, нужно напередъ перестать быть христіаниномъ. Софизмъ новаго ученія падаетъ здѣсь передъ всесильною природою вещей. Для того чтобы нейтралитетъ этотъ имѣлъ смыслъ и не былъ ложью и западнею, необходимо, чтобы новѣйшее государство согласилось отказаться отъ всякаго притязанія на нравственный авторитетъ, чтобы оно низвело себя на степень простаго полицейскаго учрежденія, простаго вещественнаго факта, неспособнаго по существу выражать какую бы-то ни было нравственную идею. Неужели можно серьезно утверждать, что революція для созданія ея и воплощающаго ее государства приметъ такое не только унижительное, но невозможное условіе? На самомъ дѣлѣ, она и не думаетъ его принимать; напротивъ, какъ извѣстно, некомпетентность современнаго законодательства въ дѣлахъ вѣры для нея вытекаетъ лишь изъ убѣжденія, что такъ называемая религіозная мораль, то есть мораль, неимѣющая никакого сверхъестественнаго утвержденія, достаточна для человѣческаго общества. Вѣрно ли это положеніе, или нѣтъ — но оно несомнѣнно представляетъ цѣлое ученіе, которое для всякаго добросовѣстнаго человѣка равносильно безусловному отрицанію христіанской истины.

И въ самомъ дѣлѣ, мы видимъ, что, несмотря на эту глаголемую некомпетентность и конституціонный нейтралитетъ новѣйшаго государства въ дѣлахъ вѣры, — вездѣ, гдѣ это государство водворилось, оно не замедлило потребовать для себя и проявить на дѣлѣ по отношенію къ церкви ту-же власть и тѣ-же права, какія принадлежали прежнимъ правительствамъ. Для примѣра укажемъ на Францію, на эту страну логики по преимуществу. Конечно,

законъ заявляетъ тамъ, что государство, какъ таковое, не имѣетъ религіи; однакоже само государство, въ своихъ отношеніяхъ къ католической церкви, настойчиво продолжаетъ считать себя совершенно законнымъ наслѣдникомъ христіаннѣйшаго короля.

Возстановимъ же истину: новѣйшее государство потому лишь изгоняетъ государственныя религіи, что у него есть своя; а эта его религія есть революція.

Возвращаясь теперь къ Римскому вопросу, легко понять невозможность того положенія, въ которое хотятъ поставить папство, заставивъ его принять для своей свѣтской власти условія новѣйшаго государства. Природа начѣла, лежащаго въ основаніи этого послѣдняго, хорошо извѣстна папству: оно инстинктивно чувствуетъ ее, и въ случаѣ нужды христіанская совѣсть священника предостережетъ папу. Между папствомъ и этимъ началомъ невозможно соглашеніе; ибо здѣсь соглашеніе было бы не простою уступкою власти, а отступничествомъ.

Но почему же бы папѣ не принять учрежденій безъ ихъ основнаго начала? скажутъ намъ. Вотъ еще одно изъ пустыхъ мечтаній этого, такъ называемаго, умѣреннаго направленія, которое мнитъ себя необыкновенно разсудительнымъ, а въ сущности лишено здраваго смысла. Да развѣ учрежденія могутъ быть отдѣлены отъ начала, которое ихъ создало и живить? Развѣ снарядъ учрежденій, лишенный души, не есть мертвый и бесполезный хламъ? Притомъ учрежденія въ дѣйствительности всегда имѣютъ значеніе, приписываемое имъ не тѣми, кто далъ ихъ, а тѣми, кто ихъ получилъ, тѣмъ болѣе когда введеніе учрежденій есть дѣло этихъ послѣднихъ.

Если бы папа былъ только епископомъ, то есть если

бы папство осталось вѣрнымъ своему происхожденію, то у революціи не было бы оружія для нападенія на него; ибо гоненіе не есть такое оружіе. Но то чуждое начало, которое папство отождествило съ собою, начало смертное и преходящее, — оно-то и дѣлаетъ его теперь доступнымъ для ударовъ революціи. Вотъ тотъ задатокъ, который за много вѣковъ впередъ Римское папство дало революціи. Здѣсь, какъ мы уже сказали, ярко проявилась властная логика дѣйствій Промысла. Изъ всѣхъ учреждений, порожденныхъ папствомъ со времени его отдѣленія отъ Православной Церкви, безъ сомнѣнія ни одно такъ глубоко не отмѣтило этого отдѣленія, ни одно такъ его не усилило и не утвердило, какъ свѣтская власть папы. И вотъ именно на этомъ-то учрежденіи теперь и спотыкается папство!

Давно уже, конечно, міръ не видалъ ничего подобнаго тому зрѣлищу, которое представляла несчастная Италія въ послѣднее время передъ ея новыми бѣдствіями. Давно ни одно положеніе вещей, ни одинъ историческій фактъ не имѣли такого страннаго облика. Случается иногда, что человѣкомъ, наканунѣ какого нибудь большаго несчастія, безъ всякаго видимаго повода овладѣетъ припадокъ безумной радости, неистоваго веселья: здѣсь цѣлый народъ былъ вдругъ охваченъ такого рода припадкомъ. И эта лихорадка, это безуміе поддерживалось и распространялось въ продолженіе цѣлыхъ мѣсяцевъ. Была минута, когда оно, подобно электрическому току, пробѣжало по всѣмъ общественнымъ слоямъ, — и лозунгомъ такого всеобщаго и напряженнаго безумія было имя папы!

Сколько разъ вѣроятно бѣдный христіанскій священникъ содрагался въ глубинѣ своего убѣжища при звукахъ этой оргіи, дѣлавшей его своимъ кумиромъ! Сколько

разъ эти клики любви, эти судороги восторга должны были возбуждать уныніе и сомнѣніе въ душѣ этого христіанина, преданнаго въ добычу такой ужасающей популярности! Ему, папѣ, становилось особенно жутко потому, что въ основаніи этой великой популярности, за всѣмъ этимъ изступленіемъ массъ, какъ бы неистово оно ни было, онъ не могъ не видѣть разсчета и задней мысли.

Впервые захотѣли воздавать поклоненіе папѣ, отдѣляя его отъ папства. Мало того: самый человѣкъ потому лишь и былъ предметомъ всего этого поклоненія, всѣхъ этихъ горячихъ изъясненій преданности, что въ немъ надѣялись найти сообщника противъ учрежденія; словомъ, хотѣли задать праздникъ папѣ, сжигая папство въ потѣшномъ огнѣ. Такое положеніе было тѣмъ грознѣе, что тотъ разсчетъ, та задняя мысль, о которой мы упомянули, слышались не только въ намѣреніяхъ партій, а проявлялись и въ безсознательномъ чувствѣ массъ. И ничѣмъ не обличалась такъ ярко вся ложь и лицемеріе такого положенія, какъ совпаденіемъ апофеозы, въ которую возводился глава католической церкви, съ началомъ самаго ожесточеннаго гоненія на іезуитовъ. Орденъ іезуитовъ будетъ всегда загадкою для Запада: это одна изъ тѣхъ загадокъ, ключъ къ которымъ находится за его предѣлами. Можно не безъ основанія сказать, что іезуитскій вопросъ слишкомъ близко затрогиваетъ религіозную совесть Запада, чтобы Западъ могъ когда-нибудь разрѣшить его вполне удовлетворительнымъ образомъ.

Чтобы говорить о іезуитахъ, чтобы подвергнуть ихъ справедливой оцѣнкѣ, нужно прежде всего устранить всѣхъ тѣхъ людей (а имъ имя легіонъ), для которыхъ слово «іезуитъ» есть уже только лозунгъ, военный кличъ.

Конечно, самое краснорѣчивое, самое убѣдительное изъ всѣхъ оправданій, какія выставлялись въ пользу этого знаменитаго ордена, заключается въ той ожесточенной и непримиримой ненависти, которую питають къ нему всѣ враги христіанской вѣры; но, признавая это, нельзя также скрыть отъ себя, что многіе католики — и притомъ наиболѣе искренніе, наиболѣе преданные своей церкви, отъ Паскаля и до нашихъ дней — не переставали, изъ поколѣнія въ поколѣніе, чувствовать открытое, непреодолимое отвращеніе къ этому учрежденію. Такое расположеніе духа значительной части католическаго міра создаетъ, быть можетъ, одно изъ самыхъ потрясающихъ и трагическихъ положеній, въ какія только можетъ быть поставлена человѣческая душа. Въ самомъ дѣлѣ, невозможно вообразить себѣ болѣе глубокой трагедіи, чѣмъ та борьба, которая должна происходить въ сердцѣ человѣка, когда, поставленный между чувствомъ религіознаго благоговѣнія (чувствомъ, превосходящимъ сыновнюю любовь) съ одной стороны, и отвратительной очевидностью съ другой, онъ усиливается замѣть, заглушить свидѣтельство собственной совѣсти, лишь бы не признаться самому себѣ, что между предметомъ его поклоненія и предметомъ отвращенія, существуетъ тѣсная и безспорная связь. Между тѣмъ таково именно положеніе всѣхъ тѣхъ вѣрныхъ католиковъ, которые, ослѣпленные своею враждою къ іезуитамъ, стараются скрыть отъ себя то, что ясно до очевидности — именно глубокое, тѣсное сродство, связывающее этотъ орденъ, его стремленія, его ученіе, его судьбы со стремленіями, ученіемъ и судьбами Римской церкви, отъ которой его невозможно отдѣлить, не причинивъ тѣмъ существеннаго поврежденія и увѣчья. Ибо, если отрѣшиться отъ всякихъ предубѣж-

деній партій, вѣроисповѣданія и даже народности; если проникнуться самымъ полнымъ безпристрастіемъ и христіанскимъ милосердіемъ и передъ лицомъ исторіи и дѣйствительности, допросивъ ихъ обѣихъ, задать себѣ по совѣсти вопросъ, что такое іезуиты? — то вотъ, думаемъ мы, каковъ будетъ отвѣтъ: Іезуиты — это люди, исполненные пламенной, неутомимой, нерѣдко геройской ревности къ дѣлу Христіанства и которые однако повинны въ великомъ преступленіи передъ тѣмъ же Христіанствомъ. Именно, одержимые человѣческимъ я — не какъ отдѣльныя личности, а какъ цѣлый орденъ, — они сочли дѣло Христіанства настолько связаннымъ съ ихъ собственнымъ дѣломъ и, въ пылу преслѣдованія, въ разгарѣ битвы, такъ всецѣло забыли слово Учителя: «не якоже Азъ хочу, но якоже Ты», что наконецъ стали добиваться побѣды Божіей цѣною всего, только не цѣною своего личнаго удовлетворенія. Это заблужденіе, котораго корень лежитъ въ первородной испорченности человѣка и котораго послѣдствія для христіанства неисчислимы, не есть однако исключительная принадлежность общества Іисуса. Это заблужденіе, это стремленіе настолько обще ему съ самой Римской церковью, что въ немъ-то и должно видѣть ту существенную связь, которая какъ бы кровными узами соединяетъ ихъ другъ съ другомъ. Благодаря именно этой общности, этому тождеству стремленій, іезуитскій орденъ и является сосредоточеннымъ, но буквально вѣрнымъ выраженіемъ Римскаго католичества. Проще сказать, онъ есть само католичество, но только въ состояніи дѣйствія, въ положеніи воинствующемъ. Вотъ почему этотъ орденъ, подвергаясь изъ вѣка въ вѣкъ, такъ сказать, постоянной баллотировкѣ, переходя отъ торжества

міру въ образѣ Римской республики. Что такое эта партія—теперь достаточно извѣстно: ее всѣ видѣли на дѣлѣ. Это истинная, законная представительница революціи въ Италіи. Партія эта считаетъ папство своимъ личнымъ врагомъ, такъ какъ находитъ въ немъ присутствіе христіанскаго начала; поэтому она не терпитъ его ни подъ какимъ видомъ — ни даже подъ условіемъ употреблять его для своихъ цѣлей. Ей бы просто хотѣлось упразднить его изъ того же самаго побужденія, изъ котораго она хочетъ упразднить все прошлое Италіи, всѣ историческія условія ея бытія, якобы запятнанныя и зараженныя католицизмомъ, предоставляя себѣ, чистымъ революціоннымъ отвлеченіемъ, привязать замышляемое ею государственное устройство къ республиканскимъ преданіямъ древняго Рима.

Въ этой безсмысленной утопіи любопытно то, что, не смотря на ея совершенно противуисторическій характеръ, у нея также есть свое всѣмъ извѣстное преданіе въ исторіи Итальянской цивилизаціи. Она въ сущности есть ничто иное, какъ классическое воспоминаніе древняго языческаго міра, языческой цивилизаціи — преданіе, которое играло великую роль въ исторіи Италіи на всемъ ея протяженіи, которое имѣло своихъ представителей, героевъ и даже мучениковъ, и которое, не довольствуясь почти исключительнымъ господствомъ своимъ въ искусствахъ и литературѣ страны, много разъ пыталось сложиться въ силу политическую, чтобы овладѣть всѣмъ обществомъ въ цѣломъ. И замѣчательно, что всякій разъ какъ это преданіе, это стремленіе хотѣло возродиться, оно являлось, подобно привидѣнію, неизмѣнно привязаннымъ къ одному и тому же мѣсту, именно къ Риму.

Когда оно достигло до нашихъ дней, революціонное начало естественно должно было принять его и усвоить себѣ, ради заключавшейся въ немъ противухристіанской мысли. Недавно партія эта была побѣждена, и власть папы по-видимому восстановлена; но нужно согласиться, что если что нибудь могло еще усложнить то роковое стеченіе обстоятельствъ, которое заключаетъ въ себѣ Римскій вопросъ, то это именно Французское вмѣшательство, котормъ достигнуть этотъ двойной результатъ.

Хотячее мнѣніе, ставшее общимъ мѣстомъ, видитъ въ этомъ вмѣшательствѣ либо отчаянную выходку, либо промахъ французскаго правительства. Дѣйствительно, можно сказать, что если Французское правительство, впутываясь въ этотъ самъ по себѣ неразрѣшимый вопросъ, скрывало отъ себя, что для него онъ еще болѣе неразрѣшимъ, чѣмъ для кого другого, — то это лишь показываетъ съ его стороны полное непониманіе какъ своего собственнаго положенія, такъ и положенія Франціи... что впрочемъ, признаемся, очень возможно. Вообще въ Европѣ за последнее время слишкомъ привыкли сводить оцѣнку дѣйствій или вѣрнѣе поползновеній Французской политики къ фразѣ, обратившейся въ пословицу: «Франція сама не знаетъ, чего хочетъ». Это можетъ быть и правда; но, чтобы быть совершенно справедливымъ, слѣдовало бы прибавить: «Франція и не можетъ знать, чего она хочетъ». Вѣдь чтобы быть въ состояніи знать это, нужно прежде всего имѣть *единую* волю; а Франція уже шестьдесятъ лѣтъ какъ осуждена имѣть *два* воли. Мы говоримъ не о той разладицѣ, не о томъ раздѣленіи мнѣній, политическихъ или иныхъ, которое присуще всякой странѣ, гдѣ общество силою обстоятельствъ предано владычеству пар-

тій: мы говоримъ о фактѣ несравненно большей важности — о той постоянной, существенной и на вѣки непримиримой враждѣ, которая въ продолженіе шестидесяти лѣтъ составляетъ, такъ сказать, самую суть народной совѣсти во Франціи. Самая душа Франціи раздвоена.

Хотя революція, съ тѣхъ поръ какъ она завладѣла этою страной, и успѣла перевернуть ее вверхъ дномъ, измѣнить, исказить, но ей не удалось и никогда не удастся, усвоить ее себѣ вполнѣ. Чтобы она ни дѣлала, въ духовной жизни Франціи есть такіе задатки и начала, которые всегда будутъ оказывать ей сопротивленіе — по крайней мѣрѣ до тѣхъ поръ, пока будетъ на свѣтѣ Франція; таковы католическая церковь съ ея вѣрованіями и обученіемъ, христіанскій бракъ и семья, и даже собственность. Съ другой стороны, такъ какъ можно предвидѣть, что революція, вошедшая не только въ кровь, но даже въ душу этого общества, никогда не согласится добровольно уступить добычу, и такъ какъ мы не знаемъ въ исторіи міра ни одной формулы заклинанія, приложимой къ цѣлому народу, — то надо думать, что состояніе такой непрерывной внутренней борьбы, постоянного и такъ сказать органическаго раздвоенія стало надолго естественнымъ состояніемъ новаго Французскаго общества. И вотъ уже шестидесять лѣтъ въ этой странѣ осуществляется такого рода сочетаніе, что государство, революціонное по принципу, тянетъ за собою на буксирѣ общество, которое лишь взбунтовано, между тѣмъ какъ правительство, власть, которая необходимо сродни имъ обоимъ, не будучи въ состояніи ихъ примирить, силою обстоятельствъ осуждено на ложное и жалкое положеніе, окружено опасностями и поражено безсиліемъ. Поэтому всѣ

смѣнившіяся съ тѣхъ поръ Французскія правительства, кромѣ одного—правительства конвента во время террора—при всемъ различіи ихъ происхожденія, ихъ ученія и стремленій, сходились въ одномъ: всѣ они (не исключая даже и того, которое явилось вслѣдъ за Февральскимъ переворотомъ) гораздо болѣе подпадали революціи, чѣмъ представляли ее сами. Да оно и понятно: вѣдь они и жить-то могли лишь подъ условіемъ бороться съ нею, въ тоже самое время претерпѣвая ее. Нужно прибавить, что по крайней мѣрѣ до сихъ поръ они всѣ погибли надъ выполненіемъ этой задачи.

Неужели же такая власть — столь неопредѣленная, столь мало увѣренная въ своемъ правѣ — могла разсчитывать на успѣхъ, вмѣшиваясь въ такой вопросъ, какъ Римскій? Становясь въ качествѣ посредницы или судьи между революціей и папой, она никакъ не могла надѣяться примирить то, что непримиримо по самой своей природѣ; съ другой стороны, она не могла дать побѣду одной изъ борющихся сторонъ, не поранивъ самое себя, не отрекшись, такъ сказать, отъ половины своего существа. Этимъ обоюдоострымъ вмѣшательствомъ — какъ бы ни было притуплено лезвие — она могла лишь еще болѣе запутать то, что уже и безъ того было неразрѣшимо, и, раздражая рану, лишь растравить ее. И въ этомъ она успѣла вполнѣ.

Каково въ дѣйствительности нынѣшнее положеніе папы по отношенію къ его подданнымъ? Какова вѣроятная судьба новыхъ учрежденій, которыя онъ имъ далъ? Тутъ, къ сожалѣнію, возможны лишь самыя печальныя предположенія, а сомнѣніе невозможно.

Каково это положеніе? Да, это старый порядокъ ве-

щей — порядокъ, предшествовавшій нынѣшнему царствованію, падавшій уже тогда подъ бременемъ своей невозможности, но еще чрезмѣрно отягченный всѣмъ, что случилось съ тѣхъ поръ: въ мірѣ нравственномъ — страшными разочарованіями и предательствомъ, въ мірѣ вещественномъ — цѣлымъ рядомъ крушеній.

Таковъ этотъ заколдованный кругъ, въ которомъ сорокъ лѣтъ вертѣлось и билось столько народовъ и правительствъ. Управляемые принимали уступки власти какъ ничтожныя выдачи въ счетъ, дѣлаемые противъ воли недобросовѣстнымъ должникомъ, а правительства видѣли въ предъявляемыхъ имъ требованіяхъ козни лицемѣрнаго врага. Такое положеніе вещей, такое взаимное недовѣріе, отвратительное и развращающее всегда и вездѣ, здѣсь еще зловреднѣе вслѣдствіе юсобенно священнаго характера власти и вслѣдствіе совершенно исключительныхъ свойствъ ея отношеній къ подданнымъ: ибо, повторяемъ еще разъ, въ этомъ положеніи, когда не только дѣйствіемъ человѣческихъ страстей, но самою силою обстоятельствъ дѣло, такъ сказать, движется по наклонной плоскости, — всякая уступка, всякое преобразованіе, если оно искренне и серьезно, неизбежно толкаетъ Римское государство къ полной секуляризаціи. Никто не сомнѣвается, что секуляризація — послѣднее слово этого положенія дѣлъ. Но папа, который и въ обыкновенное время не въ правѣ допустить ее, потому что свѣтская власть — достояніе не его лично, а Римской церкви, — еще менѣе можетъ согласиться на нее теперь, когда онъ убѣжденъ, что эта секуляризація, если даже она будетъ дарована въ удовлетвореніе дѣйствительныхъ нуждъ, должна рѣшительно обратиться къ выгодѣ заклѣтыхъ враговъ не только его власти, но и самой

церкви. Согласиться на нее — значило бы сдѣлаться виновнымъ въ отступничествѣ и предательствѣ. Таково положеніе власти. Что касается до подданныхъ, то ясно, что та вкоренившаяся ненависть къ господству духовенства, которая составляетъ основную черту Римскаго населенія, не могла быть ослаблена послѣдними событіями; и если съ одной стороны уже одного подобнаго расположенія народнаго духа достаточно, чтобы самыя человѣколюбивыя и благонамѣренныя преобразованія оказались мертворожденными, то съ другой стороны неудача этихъ преобразованій можетъ лишь страшно усилить общее раздраженіе, утвердить общественное мнѣніе въ его ненависти къ восстановленной власти и — привлечь новыхъ бойцовъ подъ вражеское знамя.

Положеніе по истинѣ страшное, и на которомъ какъ бы лежитъ печать кары свыше.... Ибо, что можетъ быть ужаснѣе для служителя Христова, какъ быть обреченнымъ на власть, отправлять которую ему нельзя иначе, какъ на погибель душъ, на разореніе церкви?... Нѣтъ, такое ужасное, такое противуестественное положеніе продолжаться не можетъ. Наказаніе или испытаніе, — мыслимо ли, чтобъ Господь въ своемъ Милосердіи, оставилъ еще на долго Римскую церковь охваченную этимъ огненнымъ кругомъ и не открылъ пути, не указалъ исхода, — исхода дивнаго, свѣтозарнаго, нечаемаго, — или лучше сказать чемаго уже многіе вѣка.... Можетъ быть еще много препятностей и несчастій отдѣляютъ отъ этого мгновенія импство и подвластную ему церковь. Можетъ быть, они еще только при самомъ началѣ этихъ бѣдственныхъ вѣхъ, — ибо не малое будетъ то пламя, не краткосрочный то будетъ пожаръ, который, пожирая, обращая въ пепель

событій. Къ счастью, этотъ жестокий урокъ не пропалъ даромъ. Здравый смыслъ и благодушная природа царствующаго Императора уразумѣли, что наступила пора ослабить чрезвычайную суровость предшествующей системы и вновь даровать умамъ недостававшій имъ просторъ. И такъ (я это говорю съ полнѣйшимъ убѣжденіемъ), для всякаго, кто съ той минуты слѣдилъ въ общихъ чертахъ за умственной дѣятельностью въ томъ видѣ, какъ она выразилась въ литературномъ движеніи страны, оказывается невозможнымъ не радоваться счастливымъ послѣдствіямъ этой новой системы. Не болѣе другихъ и я нисколько не желаю скрывать слабыя стороны и подчасъ даже уклоненія современной литературы; но нельзя по справедливости отказать ей въ одномъ достоинствѣ, весьма существенномъ, а именно: что съ той минуты, когда ей была дарована нѣкоторая свобода слова, она постоянно стремилась сколь возможно лучше и вѣрнѣе выражать мнѣніе страны. Къ живому сознанію современной дѣятельности и часто къ весьма замѣчательному таланту въ ея изображеніи, она присоединяла не менѣе искреннюю заботливость о всѣхъ положительныхъ нуждахъ, о всѣхъ интересахъ, о всѣхъ язвахъ Русскаго общества. Въ смыслѣ предстоящихъ улучшеній она, какъ и сама страна, озабочивалась только тѣми, которыя были возможны, практичны и ясно указаны, не позволяя себѣ увлекаться утопіей — этимъ недугомъ, столь присущимъ литературѣ. Если въ борьбѣ, ею предпринятой противъ злоупотребленій, она иногда доходила до очевидныхъ преувеличеній, то слѣдуетъ отнести къ ея чести, что въ пылу преслѣдованія ихъ она въ своихъ мысляхъ никогда не отдѣляла интересовъ Верховной Власти отъ интересовъ страны,

еликаго возсоединенія эта церковь возвратить ей непо-
режденнымъ этотъ священный залогъ.

Я позволю себѣ, въ заключеніе, припомнить одну по-
робность посѣщенія Русскимъ Императоромъ Рима въ
846 году. Тамъ, вѣроятно еще памятно то всеобщее ду-
шевное волненіе, съ какимъ было встрѣчено его появленіе
о храмѣ св. Петра — появленіе православнаго Импера-
ора, возвратившагося въ Римъ послѣ столькихъ вѣковъ
кутства; памятенъ электрическій трепетъ, пробѣжавшій
ю толпѣ, когда онъ подошелъ помолиться у гроба апо-
толовъ. Это волненіе было законно. Колѣнопреклоненный
Царь былъ не одинъ: вся Россія была тамъ, склоня ко-
ѣнна съ нимъ вмѣстѣ. Будемъ надѣяться, что не напрасно
вознеслась ея молитва передъ святыми останками!...

С.-Петербургъ, 1—13 Октябрь 1849.

IV.

О цензурѣ въ Россіи.

ПИСЬМО О. П. ТЮТЧЕВА

къ одному изъ членовъ государственнаго совѣта ¹⁾.

Пользуюсь дозволеніемъ, которое вамъ угодно было мнѣ дать, чтобы повергнуть на ваше благоусмотрѣніе нѣсколько замѣчаній, находящихся въ связи съ предметомъ нашей послѣдней бесѣды. Считаю излишнимъ еще разъ выражать мое сердечное сочувствіе къ той мысли, которую вы соблаговолили мнѣ высказать и (въ случаѣ, если будетъ сдѣлана попытка осуществить ее) увѣрять васъ въ моей твердой готовности содѣйствовать ей, по мѣрѣ моихъ силъ. Но именно въ видахъ удобнѣйшаго достиженія этой цѣли, я считаю себя обязаннымъ прежде всего откровенно объясниться передъ вами относительно моего взгляда на этотъ предметъ. Весьма понятно, что здѣсь вопросъ не въ изложеніи моихъ политическихъ убѣжденій: это было бы ребячествомъ. Въ наше время всѣ здравомыслящіе люди

¹⁾ Кн. М. Д. Горчакову. Писано по французски.

одинаковаго мнѣнія на счетъ политическихъ взглядовъ: одни отъ другихъ разнятся въ мнѣніяхъ только вслѣдствіе бѣльшей или мѣньшей проицательности при сознаніи того, что есть и при оцѣнкѣ того, чему-бы слѣдовало быть. Надлежитъ прежде всего прійти къ соглашенію на счетъ бѣльшей или мѣньшей доли истины, заключающейся въ этой оцѣнкѣ. И если дѣйствительно (какъ вамъ угодно было выразиться) практическій умъ можетъ желать въ извѣстномъ случаѣ только того, что осуществимо по отношенію къ личностямъ: то не менѣе достовѣрно и то, что было-бы недостойно истинно-практическаго ума желать чего нибудь, выступающаго изъ предѣловъ естественныхъ условій существованія. Но приступимъ къ дѣлу.

Если, среди многихъ другихъ, существуетъ истина, которая опирается на полнѣйшей очевидности и на тяжеломъ опытѣ послѣднихъ годовъ, то эта истина есть несомнѣнно слѣдующая: намъ было жестоко доказано, что нельзя налагать на умы безусловное и слишкомъ продолжительное стѣсненіе и гнеть, безъ существеннаго вреда для всего общественнаго организма. Видно, всякое ослабленіе и замѣтное умаленіе умственной жизни въ обществѣ неизбѣжно влечетъ за собою усиленіе матеріальныхъ наклонностей и гнусно-эгоистическихъ инстинктовъ. Даже сама власть съ теченіемъ времени не можетъ уклониться отъ неудобствъ подобной системы. Вокругъ той сферы, гдѣ она присутствуетъ, образуется пустыня и громадная умственная пустота, и правительственная мысль, не встрѣчая извнѣ ни контроля, ни указанія, ни малѣйшей точки опоры, кончаетъ тѣмъ, что приходитъ въ смущеніе и изнемогаетъ подъ собственнымъ бременемъ еще прежде, чѣмъ бы ей суждено пасть подъ ударами злополучныхъ

событій. Къ счастью, этотъ жестокий урокъ не пропалъ даромъ. Здравый смыслъ и благодушная природа царствующаго Императора уразумѣли, что наступила пора ослабить чрезвычайную суровость предшествующей системы и вновь даровать умамъ недостававшій имъ просторъ. И такъ (я это говорю съ полнѣйшимъ убѣжденіемъ), для всякаго, кто съ той минуты слѣдилъ въ общихъ чертахъ за умственной дѣятельностью въ томъ видѣ, какъ она выразилась въ литературномъ движеніи страны, оказывается невозможнымъ не радоваться счастливымъ послѣдствіямъ этой новой системы. Не болѣе другихъ и я нисколько не желаю скрывать слабыя стороны и подчасъ даже уклоненія современной литературы; но нельзя по справедливости отказать ей въ одномъ достоинствѣ, весьма существенномъ, а именно: что съ той минуты, когда ей была дарована нѣкоторая свобода слова, она постоянно стремилась сколь возможно лучше и вѣрнѣе выражать мнѣніе страны. Къ живому сознанію современной дѣйствительности и часто къ весьма замѣчательному таланту въ ея изображеніи, она присоединяла не менѣе искреннюю заботливость о всѣхъ положительныхъ нуждахъ, о всѣхъ интересахъ, о всѣхъ язвахъ Русскаго общества. Въ смыслѣ предстоящихъ улучшеній она, какъ и сама страна, озабочивалась только тѣми, которыя были возможны, практичны и ясно указаны, не позволяя себѣ увлекаться утопией — этимъ недугомъ, столь присущимъ литературѣ. Если въ борьбѣ, ею предпринятой противъ злоупотребленій, она иногда доходила до очевидныхъ преувеличеній, то слѣдуетъ отнести къ ея чести, что въ пылу преслѣдованія ихъ она въ своихъ мысляхъ никогда не отдѣляла интересовъ Верховной Власти отъ интересовъ страны,

проникнутая твердымъ и честнымъ убѣжденіемъ, что вести войну противъ злоупотребленій значило вести ее въ тоже время противъ личныхъ враговъ Государя. Мнѣ хорошо извѣстно, что въ наше время весьма часто подобная внѣшняя личина усердія прикрываетъ весьма дурныя чувства и служить къ сокрытію стремленій далеко нечестныхъ; но благодаря той опытности, которую люди нашихъ лѣтъ не могутъ не имѣть, ничего нѣтъ легче какъ разпознать съ перваго взгляда эти грубыя уловки, и въ этомъ смыслѣ коварство никого не обманетъ.

Можно положительно утверждать, что въ настоящую минуту въ Россіи преобладаютъ два господствующія чувства, всегда почти тѣсно связанные другъ съ другомъ, а именно: раздраженіе и отвращеніе при видѣ закоснѣлости злоупотребленій и священное довѣріе къ чистымъ, благороднымъ и доброжелательнымъ намѣреніямъ Монарха.

Всѣ вообще убѣждены, что никто сильнѣе Его не страдаетъ отъ этихъ язвъ Россіи и никто живѣе Его не желаетъ ихъ исцѣленія; но нигдѣ, быть можетъ, это убѣжденіе не существуетъ такъ живо, такъ цѣльно, какъ именно среди сословія писателей, и обязанность всякаго благороднаго человѣка состоитъ въ томъ, чтобы громко провозглашать, что въ настоящую минуту едва-ли въ обществѣ можно найти другой разрядъ людей, болѣе благоговѣйно преданныхъ Особѣ Государя!

Не скрываю отъ себя, что подобная оцѣнка вѣроятно можетъ встрѣтить недовѣріе со стороны многихъ лицъ въ нѣкоторыхъ слояхъ нашего оффиціального міра. Во всѣ времена существовало въ этихъ слояхъ какое-то предвзятое чувство сомнѣнія и нерасположенія, и это весьма легко объясняется спеціальностью ихъ точки зрѣнія. Есть люди,

которые знают литературу на столько, на сколько полиція въ большихъ городахъ знаетъ народъ ея охраняемый, т. е. лишь тѣ несообразности и тѣ безпорядки, которыми иногда предается нашъ добрый народъ.

Нѣтъ, что бы не говорили, но правительству не приходилось до сихъ поръ раскаяваться въ томъ, что оно смягчило въ пользу печати тотъ гнетъ, который тяготѣлъ надъ нею. Но въ этомъ вопросѣ о печати достаточно-ли того, что сдѣлано; и, въ виду болѣе свободнаго умственного труда и по мѣрѣ того какъ успѣхи литературы возрастали, — не ощущается-ли все сильнѣе ежедневная польза и необходимость высшаго руководства или направленія? Одна цензура, какъ-бы она ни дѣйствовала, далеко не удовлетворяетъ требованіямъ этого новаго порядка вещей. Цензура служитъ предѣломъ, но не руководствомъ. А у насъ въ литературѣ, какъ и во всемъ остальномъ, вопросъ не столько въ томъ, чтобы подавлять, сколько въ томъ, чтобы направлять. Направленіе, мощное, разумное, въ себѣ увѣренное направленіе — вотъ чего требуетъ страна, вотъ въ чемъ заключается лозунгъ всего настоящаго положенія нашего.

Часто жалуются на тотъ духъ непокорности и неповиновенія, который отличаетъ людей нынѣшняго поколѣнія. Въ этомъ обвиненіи заключается значительная доля недоразумѣнія. Можно съ достовѣрностью сказать, что ни въ какую другую эпоху не было столько дѣятельныхъ умственныхъ силъ *«не у дѣл»* и тяготящихся бездѣйствіемъ, на которое онѣ обречены. Но эти-же самыя силы, среди которыхъ возникаютъ противники власти, весьма часто были-бы готовы ей содѣйствовать, если-бы она выразила расположеніе пріобщить ихъ къ своей дѣятельности и рѣ-

шительно двинуться впередъ во главѣ ихъ. Именно эта истина, опытомъ дознанная, во многихъ государствахъ Европы способствовала, со времени послѣднихъ революціонныхъ переворотовъ, къ тому, чтобы измѣнить значительно отношенія правительства къ печати. И здѣсь я позволяю себѣ, въ подкрѣпленіе моей теоріи, сдѣлать ссылку на свидѣтельство вашихъ собственныхъ воспоминаній.

Германія до 1848 года была столь-же знакома вамъ, какъ и мнѣ, и вы не можете не помнить, каково было положеніе тогдашней печати относительно Германскихъ правительствъ, какою горечью, какою непріязнью отличались ея отношенія къ нимъ, сколько тревоги и заботъ она имъ причиняла. И чтоже! Почему это враждебное расположеніе нынѣ болѣею частью исчезло и замѣнилось настроеніемъ совершенно инымъ? Потому, что тѣ-же правительства, смотрѣвшія на печать, какъ на неизбежное зло, которому они ненавидя покорялись, стали искать въ ней вспомогательную силу и употреблять ее какъ орудіе, приспособленное къ ихъ требованіямъ.

Я привожу этотъ примѣръ лишь для того, чтобы доказать, что въ странахъ уже сильно зараженныхъ революціоннымъ духомъ, просвѣщенное и энергическое направиленіе всегда найдетъ умы, готовые признать его и слѣдовать за нимъ, хотя вообще я не менѣе всякаго другого ненавижу, въ примѣненіи къ нашимъ интересамъ, всѣ эти мнимыя сближенія съ тѣмъ, что совершается за границею: почти всегда понятія лишь на половину, они причинили намъ слишкомъ много вреда, чтобы внушить мнѣ желаніе ссылаться на ихъ авторитетъ.

У насъ, благодаря Бога, пришлось-бы удовлетворять

единодушнаго содѣйствія при разрѣшеніи общей задачи, — правительство, предоставленное собственнымъ своимъ силамъ, не можетъ совершить ничего, столько-же извнѣ, какъ и внутри, столько-же для своего блага, какъ и для нашего.

Однимъ словомъ, слѣдовало-бы всѣмъ, какъ обществу, такъ и правительству, постоянно говорить и повторять себѣ, что судьба Россіи уподобляется кораблю, сѣвшему на мель, который никакими усилями экипажа не можетъ быть сдвинуть съ мѣста, и лишь только одна приливающая волна народной жизни въ состояніи поднять его и пустить въ ходъ.

Вотъ, по моему мнѣнію, во имя какого принципа и какого чувства правительство могло-бы овладѣть умами и сердцами и, такъ сказать, принять ихъ въ свои руки и вести куда ему угодно. За этимъ знаменемъ они послѣдовали бы всюду.

Считаю излишнимъ, говорить, что я вовсе не желаю для этого обратить правительство въ проповѣдника, возводить его на кафедру и заставлять его произносить поученія передъ безмолвною толпою. Ему слѣдовало-бы сообщить свой духъ, а не свое слово, той прямодушной пропагандѣ, которая творилась-бы подъ его сѣнью. И такъ какъ, если желаешь убѣдить людей, первымъ условіемъ успѣха служить умѣнье возбудить ихъ вниманіе къ вашимъ словамъ, то весьма понятно, что эта спасительная пропаганда, для своего успѣха, должна не только не стѣснять свободу преній, но напротивъ стремиться къ тому, чтобы свобода эта была на столько искренняя и серьезная, на сколько состояніе страны можетъ это дозволить. Притомъ нужно ли въ сотый разъ повторять

слѣдующее столь очевидное положеніе : что въ наше время вездѣ, гдѣ свобода преній не существуетъ въ довольно обширныхъ размѣрахъ, ничто не возможно, рѣшительно ничто въ нравственномъ и умственномъ смыслѣ? Я знаю, въ какой степени въ вопросахъ подобнаго рода трудно (чтобы не сказать невозможно) придать своей мысли требуемую степень опредѣленности. Такъ напримѣръ, какимъ образомъ опредѣлить, что слѣдуетъ разумѣть подъ достаточною мѣрою свободы относительно преній? Эта мѣра, безусловно колеблющаяся и произвольная, весьма часто можетъ опредѣлиться лишь тѣмъ, что составляетъ самую сокровенную, индивидуальную долю нашихъ убѣжденій, и надлежало-бы, такъ сказать, узнать сперва всего человека, чтобы опредѣлить истинное значеніе придаваемое имъ словамъ при обсужденіи этихъ предметовъ. Что до меня касается, то я, подобно многимъ, слѣдилъ, въ продолженіи болѣе чѣмъ тридцати лѣтъ, за этимъ неразрѣшимымъ вопросомъ о печати, за всѣми превратностями его судьбы, и вы конечно согласитесь, что послѣ столь долгаго изученія и наблюденія, этотъ вопросъ не можетъ быть для меня ничѣмъ инымъ, какъ предметомъ самой холодной и самой безпристрастной оцѣнки. И потому я не ощущаю ни предубѣжденія, ни непріязни ко всему до него относящемуся; я даже не питаю особенно враждебнаго чувства къ цензурѣ, хотя она въ эти послѣдніе годы тяготѣла надъ Россією, какъ истинное общественное бѣдствіе. Признавая ее своевременность и относительную пользу, я главнымъ образомъ обвиняю ее въ томъ, что она, по моему мнѣнію, вполне неудовлетворительна для настоящей минуты, въ смыслѣ нашихъ дѣйствительныхъ нуждъ и дѣйствительныхъ интересовъ. Впрочемъ вопросъ не въ томъ; онъ не

заключается въ мертвой буквѣ регламентацій и инструкцій. которыя могутъ имѣть значеніе только для мысли, ихъ оживляющей. Весь вопросъ зиждется на томъ, какимъ образомъ само правительство въ собственномъ сознаніи смотритъ на свои отношенія къ печати? Чтобы выразиться точнѣе, онъ состоитъ въ той болышей или меньшей долѣ законности, признаваемой за каждою индивидуальною мыслью.

А теперь, чтобы выйти наконецъ изъ общихъ положеній и коснуться поближе настоящаго порядка вещей, позвольте мнѣ сказать вамъ со всею откровенностью письма вполне конфиденціального, что до тѣхъ поръ, покуда, правительство у насъ не измѣнитъ совершенно, во всемъ складѣ своихъ мыслей, своего взгляда на отношенія къ нему печати, покуда оно, такъ сказать, не отрѣшится отъ этого окончательно, до тѣхъ поръ ничто по истинѣ дѣйствительное не можетъ быть предпринято съ нѣкоторыми основаніями успѣха; и надежда пріобрѣсти вліяніе на умы съ помощью печати, такимъ образомъ направляемой, оставалась-бы постояннымъ заблужденіемъ.

А между тѣмъ слѣдовало-бы принять на себя рѣшимость взглянуть на вопросъ, каковъ онъ есть, какимъ сдѣлали его обстоятельства. Нельзя предполагать, чтобы правительство не озабочивалось весьма искренно явленіемъ, возникшимъ нѣсколько лѣтъ тому назадъ и стремящимся къ такому развитію, котораго значеніе и послѣдствія никто въ настоящую минуту предвидѣть не можетъ. Вы понимаете, что я разумѣю подъ этимъ основаніе Русской печати за границею, внѣ всякаго контроля нашего правительства. Это явленіе безспорно важное, и даже весьма важное, заслуживающее самаго глубокаго вниманія. Было

бы бесполезно скрывать уже осуществившіеся успѣхи этой литературной пропаганды. Намъ извѣстно, что въ настоящую минуту Россія наводнена этими изданіями, что они переходятъ изъ рукъ въ руки съ величайшею быстротою въ обращеніи, что ихъ съ жадностью домогаются и что они уже проникли если и не въ народныя массы, которыя не читаютъ, то по крайней мѣрѣ въ весьма низкіе слои общества. Съ другой стороны нельзя не сознаться, что за исключеніемъ мѣръ положительно-стѣснительныхъ и тиранническихъ, было-бы весьма трудно существеннымъ образомъ воспрепятствовать какъ привозу и распространенію этихъ изданій, такъ равно и высылкѣ за границу рукописей, предназначенныхъ къ ихъ поддержкѣ. И такъ, рѣшима признать истинные размѣры, истинное назначеніе этого явленія: это просто отмѣна цензуры, но отмѣна ея во имя вреднаго и враждебнаго вліянія и, чтобы лучше быть въ состояніи бороться съ нимъ, постараемся уяснить себѣ, въ чемъ заключается его сила и чему оно обязано своими успѣхами. До сихъ поръ, по поводу рѣчи о заграничной Русской печати, разумѣются только изданія Герцена. Какое значеніе имѣетъ Герценъ для Россіи? Кто его читаетъ? Ужели его соціальныя утопіи и его революціонныя происки привлекаютъ къ нему ея вниманіе? Но среди читающихъ его людей съ нѣкоторымъ умственнымъ развитіемъ найдутся ли двое на сто, которые-бы относились серіозно къ его ученію и не считали оное болѣе или менѣе невольною мономаніею, имъ овладѣвшею? На дняхъ меня даже увѣряли, что нѣкоторыя личности, заинтересованныя въ его успѣхѣ, очень искренно убѣждали его откинуть подальше эту революціонную оболочку, чтобы не ослабить вліянія,

которое они желали-бы упрочить за его изданіемъ. Не доказываетъ-ли это, что газета Герцена служитъ для Россіи выраженіемъ чего-то совершенно иного, чѣмъ исповѣдуемая ея издателемъ доктрина? Для чего-же скрывать отъ себя, что ему даетъ значеніе и доставляетъ вліяніе именно то, что онъ служитъ для насъ представителемъ свободы сужденія, правда на предосудительныхъ основаніяхъ, исполненныхъ непріязни и пристрастія, но тѣмъ не менѣе на столько свободныхъ, (отчего въ томъ не сознаться?) чтобы вызывать на состязаніе и другія мнѣнія, болѣе разсудительныя, болѣе умѣренныя и нѣкоторыя изъ нихъ даже положительно разумныя. И теперь, какъ скоро мы убѣдились, въ чемъ заключается тайна его силы и вліянія, намъ не трудно опредѣлить, какого свойства должно быть оружіе, которое мы должны употребить для противодѣйствія ему. Очевидно, что газета, готовая принять на себя подобную задачу, могла-бы рассчитывать на извѣстную долю успѣха лишь при условіяхъ своего существованія, нѣсколько подходящихъ къ условіямъ своего противника. Вашему доброжелательному благоразумію предстоитъ рѣшить, возможны-ли подобныя условія въ данномъ положеніи, вамъ лучше меня извѣстномъ, и въ какой именно мѣрѣ они осуществимы.

Безъ малѣйшаго сомнѣнія издателя не имѣли-бы недостатка ни въ талантахъ, ни въ усердіи, ни въ искреннихъ убѣжденіяхъ; но стекаясь на призывъ, къ нимъ обращенный, они пожелали-бы прежде всего быть убѣжденными, что они призываются не къ полицейскому труду, а къ дѣлу, основанному на довѣріи, и потому они сочли-бы себя въ правѣ требовать для себя той доли свободы,

которую предполагает и вынуждает всякое дѣйстви-
тельно-серіозное и существенное преніе.

Благоволите взвѣсить, въ какой мѣрѣ тѣ вліятельныя
лица, которыя приняли-бы на себя основаніе подобнаго
изданія и покровительство его успѣхамъ, согласились-бы
закрѣпить за нимъ извѣстную долю свободы ему необхо-
димую; и не пришли-бы они быть можетъ къ убѣжденію,
что изъ благодарности за оказанную поддержку и изъ
особеннаго чувства уваженія къ своему привилегирован-
ному положенію, это изданіе, на которое они отчасти
смотрѣли-бы какъ на свое собственное, было-бы обязано
соблюдать еще болѣшую сдержанность и умѣренность,
чѣмъ всѣ другія изданія въ государствѣ.

Но это письмо слишкомъ длинно, и я спѣшу его окон-
чить. Позвольте мнѣ только присовокупить въ заключеніе
нѣсколько словъ, выражающихъ вкратцѣ всю мою мысль:
приведеніе въ дѣйствіе того проэкта, который вамъ угодно
было сообщить мнѣ, казалось-бы хотя и не легкимъ, но
возможнымъ, если-бы всѣ мнѣнія, всѣ честныя и просвѣ-
щенныя убѣжденія имѣли право образовъ изъ себя,
открыто и свободно, умственную и преданную дружину,
на служеніе личнымъ вдохновеніямъ Государя? Примите
и проч.

Ноябрь 1857 года.



ПРИЛОЖЕНІЕ.

ПОЛИТИЧЕСКІЯ СТАТЬИ

ВЪ ПОДЛИННИКЪ.



I.

Lettre à M. le Docteur Gustave
Kolb, rédacteur de la „Gazette
Universelle“.

Monsieur le Rédacteur,

L'accueil que vous avez fait dernièrement à quelques observations que j'ai pris la liberté de vous adresser, ainsi que le commentaire modéré et raisonnable dont vous les avez accompagnées, m'ont suggéré une singulière idée. Que serait-ce, monsieur, si nous essayions de nous entendre sur le fond même de la question? Je n'ai pas l'honneur de vous connaître personnellement. En vous écrivant c'est donc à la «Gazette Universelle d'Augsbourg» que je m'adresse. Or, dans l'état actuel de l'Allemagne, la «Gazette d'Augsbourg» est quelque chose de plus, à mes yeux, qu'un journal. C'est la première de ses tribunes politiques... Si l'Allemagne avait le bonheur d'être *une*, son gouvernement pourrait à plusieurs égards adopter ce journal pour l'organe légitime de sa pensée. Voilà pourquoi je m'adresse à vous. Je suis Russe, ainsi que

j'ai déjà eu l'honneur de vous le dire, Russe de cœur et d'âme, profondément dévoué à mon pays, en paix avec mon gouvernement et, de plus, tout à fait indépendant par ma position. C'est donc une opinion russe, mais *libre* et parfaitement *désintéressée*, que j'essayerai d'exprimer ici... Cette lettre, comprenez-moi bien, s'adresse plus encore à vous, monsieur, qu'au public. Toutefois vous pouvez en faire tel usage qu'il vous plaira. La publicité m'est indifférente. Je n'ai pas plus de raisons de l'éviter que de la rechercher... Et ne craignez pas, monsieur, qu'en ma qualité de Russe, je m'engage à mon tour dans la pitoyable polémique qu'a soulevée dernièrement un pitoyable pamphlet. Non, monsieur, cela n'est pas assez sérieux.

...Le livre de M. de Custine est un témoignage de plus de ce dévergondage de l'esprit, de cette démoralisation intellectuelle, trait caractéristique de notre époque, en France surtout, qui fait qu'on se laisse aller à traiter les questions les plus graves et les plus hautes, bien moins avec la raison qu'avec les nerfs, qu'on se permet de juger un monde avec moins de sérieux qu'on n'en mettait autrefois à faire l'analyse d'un vaudeville. Quant aux adversaires de M. de Custine, aux soi-disant défenseurs de la Russie, ils sont certainement plus sincères, mais ils sont bien niais. Ils me font l'effet de gens qui, par un excès de zèle, ouvriraient précipitamment leur parasol pour protéger contre l'ardeur du jour la cime du Mont-Blanc... Non, monsieur, ce n'est pas de l'apologie de la Russie qu'il sera question dans cette lettre. L'apologie de la Russie!... Eh, mon Dieu, c'est un plus grand maître que nous tous qui s'est chargé de cette tâche et qui, ce me semble, s'en est jusqu'à présent assez glorieusement acquitté. Le véritable apologiste de la Russie c'est l'Histoire, qui

depuis trois siècles ne se lasse pas de lui faire gagner tous les procès dans lesquels elle a successivement engagé ses mystérieuses destinées... En m'adressant à vous, monsieur, c'est de vous-même, de votre propre pays, que je prétends vous entretenir, de ses intérêts les plus essentiels, les plus évidents, et s'il est question de la Russie ce ne sera que dans ses rapports immédiats avec les destinées de l'Allemagne.

A aucune époque, je le sais, les esprits en Allemagne n'ont été aussi préoccupés qu'ils le sont de nos jours du grand problème de l'unité germanique. Eh bien, monsieur, vous surprendrai-je beaucoup, vous, sentinelle vigilante et avancée, si je vous disais qu'au beau milieu de cette préoccupation générale, un œil un peu attentif pourrait signaler bien des tendances qui, si elles venaient à grandir, compromettraient terriblement cette œuvre de l'unité à laquelle tout le monde a l'air de travailler. Il y en a une surtout fatale entre toutes... Je ne dirai rien qui ne soit dans la pensée de tout le monde, et cependant je ne pourrais pas dire un mot de plus, sans toucher à des questions brûlantes; mais j'ai la croyance que de nos jours, comme au moyen-âge, quand on a les mains pures et les intentions droites, on peut impunément toucher à tout....


Vous savez, monsieur, quelle est la nature des rapports qui unissent depuis trente ans les gouvernements de l'Allemagne, grands et petits, à la Russie. Ici je ne vous demande pas ce que pensent de ces rapports telle ou telle opinion, tel ou tel parti; il s'agit d'un fait. Or le fait est que jamais ces rapports n'ont été plus bienveillants, plus intimes, que jamais entente plus sincèrement cordiale n'a existé entre ces différents gouvernements et la Russie. Monsieur, pour

avant dans la direction la plus opposée à celle qu'ils réprouvent, et c'est ainsi que, tout en continuant à parler de l'unité de l'Allemagne, ils s'approcheront, les yeux toujours tournés vers l'Allemagne, ils s'approcheront pour ainsi dire à reculons vers la pente fatale, vers la pente de l'abîme, où votre patrie a déjà glissé plus d'une fois. Je sais bien, monsieur, que tant que nous conserverons la paix, le péril que je signale ne sera qu'imaginaire; mais vienne la crise, cette crise dont le pressentiment pèse sur l'Europe, viennent ces jours d'orage, qui mûrissent tout en quelques heures, qui poussent toutes les tendances à leurs conséquences les plus extrêmes, qui arrachent leur dernier mot à toutes les opinions, à tous les partis... monsieur, qu'arrivera-t-il alors? Serait-il donc vrai qu'il y ait pour les nations plus encore que pour les individus une fatalité inexorable, inexpiable? Faut-il croire qu'il y ait en elles des tendances plus fortes que toute leur volonté, que toute leur raison, des maladies organiques que nul art, nul régime ne peuvent conjurer?... En serait-il ainsi de cette terrible tendance au déchirement que l'on voit, comme un phénix de malheur, renaître à toutes les grandes époques de l'histoire de votre noble patrie? Cette tendance, qui a éclaté au moyen-âge par le duel impie et anti-chrétien du sacerdoce et de l'Empire, qui a déterminé cette lutte parricide entre l'empereur et les princes, puis, un moment affaiblie par l'épuisement de l'Allemagne, est venue se retremper et se rajeunir dans la Réformation, et, après avoir accepté d'elle une forme définitive et comme une conjuration légale, s'est remise à l'œuvre avec plus de zèle que jamais, adoptant tous les drapeaux, épousant toutes les causes, toujours la même sous des noms différents jusqu'au moment où, parvenue à la crise décisive de la guerre de Trente Ans, elle appelle à son

secours l'étranger, d'abord la Suède, puis s'associe définitivement l'ennemi, la France, et, grâce à cette association de forces, achève glorieusement en moins de deux siècles la mission de mort dont elle était chargée.

Ce sont là de funestes souvenirs! Comment se fait-il qu'en présence de souvenirs pareils vous ne vous sentiez pas plus alarmé par tout symptôme qui annonce un antagonisme naissant dans les dispositions de votre pays? Comment ne vous demandez-vous pas avec effroi si ce n'est pas là le réveil de votre ancienne, de votre terrible maladie?

Les trente années qui viennent de s'écouler peuvent assurément être comptées parmi les plus belles de votre histoire; depuis les grands règnes de ses empereurs saliques jamais de plus beaux jours n'avaient lui sur l'Allemagne; depuis bien des siècles l'Allemagne ne s'était aussi complètement appartenu, ne s'était sentie aussi *une*, aussi elle-même; depuis bien des siècles elle n'avait eu vis-à-vis de son éternelle rivale une attitude plus forte, plus imposante. Elle l'a tenue en échec sur tous les points. Voyez vous-même: au delà des Alpes vos plus glorieux empereurs n'ont jamais exercé une autorité plus réelle que celle qu'y exerce maintenant une puissance allemande. Le Rhin est redevenu allemand de cœur et d'âme; la Belgique, que la dernière secousse européenne semblait devoir précipiter dans les bras de la France, s'est arrêtée sur la pente, et maintenant il est évident qu'elle remonte vers vous; le cercle de Bourgogne se reforme, la Hollande tôt ou tard ne saurait manquer de vous revenir. Telle a donc été l'issue définitive du grand duel engagé il y a plus de deux siècles entre la France et vous; vous avez pleinement triomphé, vous avez eu le dernier mot. Et cependant, convenez-en: pour qui avait assisté à cette lutte depuis



son origine, pour qui l'avait suivie à travers toutes ses phases, à travers toutes ses vicissitudes, jusqu'à la veille du jour suprême et décisif, il eût été difficile de prévoir une pareille issue; les apparences n'étaient pas pour vous, les chances n'étaient pas en votre faveur. Depuis la fin du moyen-âge, malgré quelque temps d'arrêt, la puissance de la France n'avait cessé de grandir, en se concentrant et en se disciplinant, et c'est à partir de cette époque que l'Empire, grâce à sa scission religieuse, est entré dans son dernier période, dans le période de sa désorganisation légale; les victoires même que vous remportiez étaient stériles pour vous, car ces victoires n'arrêtaient pas la désorganisation intérieure, où souvent même elles ne faisaient que la précipiter. Sous Louis XIV, bien que le grand roi eût échoué, la France triompha, son influence domina souverainement l'Allemagne; enfin vint la Révolution, qui, après avoir extirpé de la nationalité française jusqu'aux derniers vestiges de ses origines, de ses affinités germaniques, après avoir rendu à la France son caractère exclusivement romain, engagea contre l'Allemagne, contre le principe même de son existence, une dernière lutte, une lutte à mort; et c'est au moment où le soldat couronné de cette Révolution faisait représenter sa parodie de l'empire de Charlemagne sur les débris mêmes de l'empire fondé par Charlemagne, obligeant pour dernière humiliation les peuples de l'Allemagne d'y jouer aussi leur rôle, c'est dès ce moment suprême que la péripétie eut lieu, et que tout fut changé.

Comment s'était-elle faite, cette prodigieuse péripétie? Par qui? Par quoi avait-elle été amenée?... Elle a été amenée par l'arrivée d'un tiers sur le champ de bataille de l'Occident européen; mais ce tiers, c'était tout un monde...

Ici, monsieur, pour nous entendre, il faut que vous me permettiez une courte digression. On parle beaucoup de la Russie; de nos jours elle est l'objet d'une ardente, d'une inquiète curiosité. Il est clair qu'elle est devenue une des grandes préoccupations du siècle; mais, bien différent des autres problèmes qui le passionnent, celui-ci, il faut l'avouer, pèse sur la pensée contemporaine, plus encore qu'il ne l'excite... Et il ne pouvait en être autrement: la pensée contemporaine, fille de l'Occident, se sent là en présence d'un élément sinon hostile, du moins décidément étranger, d'un élément qui ne relève pas d'elle, et l'on dirait qu'elle a peur de se manquer à elle-même, de mettre en cause sa propre légitimité, si elle acceptait comme pleinement légitime la question qui lui est posée, si elle s'appliquait sérieusement, consciencieusement à la comprendre et à la résoudre... Qu'est-ce que la Russie? Quelle est sa raison d'être, sa loi historique? D'où vient-elle? Où va-t-elle? Que représente-t-elle? Le monde, il est vrai, lui a fait une place au soleil; mais la philosophie de l'histoire n'a pas encore daigné lui en assigner une. Quelques rares intelligences, deux ou trois en Allemagne, une ou deux en France, plus libres, plus avancées que le gros de l'armée, ont bien entrevu le problème, ont bien soulevé un coin du voile, mais leurs paroles jusqu'à présent ont été peu comprises, ou peu écoutées.

Pendant longtemps la manière dont on a compris la Russie dans l'Occident a ressemblé, à quelques égards, aux premières impressions des contemporains de Colomb. C'était la même erreur, la même illusion d'optique. Vous savez que pendant longtemps les hommes de l'ancien continent, tout en applaudissant à l'immortelle découverte, s'étaient obstiné-

ment refusés à admettre l'existence d'un continent nouveau ; ils trouvaient plus simple et plus rationnel de supposer que les terres qui venaient de leur être révélées n'étaient que l'appendice, le prolongement du continent qu'ils connaissaient déjà. Ainsi en a-t-il été des idées qu'on s'est longtemps faites de cet autre nouveau monde, l'Europe orientale, dont la Russie a de tout temps été l'âme, le principe moteur et auquel elle était appelée à imposer son glorieux nom, pour prix de l'existence historique que ce monde a déjà reçue d'elle, ou qu'il en attend. Pendant des siècles, l'Occident européen avait cru avec une bonne foi parfaite qu'il n'y avait point, qu'il ne pouvait pas y avoir d'autre Europe que lui. Il savait, à la vérité, qu'au delà de ses frontières il y avait encore des peuples, des souverainetés, qui se disaient chrétiens ; aux temps de sa puissance il avait même entamé les bords de ce monde sans nom, il en avait arraché quelques lambeaux qu'il s'était incorporés tant bien que mal, en les dénaturant, en les dénationalisant ; mais que, par delà cette limite extrême, il y eût une autre Europe, une Europe orientale, sœur bien légitime de l'Occident chrétien, chrétienne comme lui, point féodale, point hiérarchique, il est vrai ; mais par là même plus intimement chrétienne ; qu'il y eût là tout un monde, un dans son principe, solidaire de ses parties, vivant de sa vie propre, organique, originale : voilà ce qu'il était impossible d'admettre, voilà ce que bien des gens aimeraient à révoquer en doute, même de nos jours... Longtemps l'erreur avait été excusable ; pendant des siècles le principe moteur était resté comme enseveli sous le chaos : son action avait été lente et presque imperceptible ; un épais nuage enveloppait cette lente élaboration d'un monde. Mais enfin, quand les temps furent accomplis, la main d'un géant

abattit le nuage, et l'Europe de Charlemagne se trouva face à face avec l'Europe de Pierre le Grand.

Ceci une fois reconnu, tout devient clair, tout s'explique : on comprend maintenant la véritable raison de ces rapides progrès, de ces prodigieux accroissements de la Russie, qui ont étonné le monde. On comprend que ces prétendues conquêtes, ces prétendues violences ont été l'œuvre la plus organique et la plus légitime que jamais l'histoire ait réalisée, c'était tout bonnement une immense restauration qui s'accomplissait. On comprendra aussi pourquoi on a vu successivement périr et s'effacer sous sa main tout ce que la Russie a rencontré sur sa route de tendances anormales, de pouvoirs et d'institutions infidèles au grand principe qu'elle représentait, pourquoi la Pologne a dû périr, non pas l'originalité de sa race polonaise, à Dieu ne plaise, mais la fausse civilisation, la fausse nationalité, qui lui avaient été imputées. C'est aussi de ce point de vue que l'on appréciera le mieux la véritable signification de ce qu'on appelle la question d'Orient, de cette question que l'on affecte de proclamer insoluble, précisément parce que tout le monde en a depuis longtemps prévu l'inévitable solution. Il s'agit en effet de savoir si l'Europe orientale, déjà aux trois quarts constituée, si ce véritable empire de l'Orient, dont le premier, celui des césars de Byzance, des anciens empereurs orthodoxes, n'avait été qu'une faible et imparfaite ébauche, si l'Europe orientale recevra ou non son dernier, son plus indispensable complément, si elle l'obtiendra par le progrès naturel des choses, ou si elle se verra forcée de le demander à la fortune par les armes, au risque des plus grandes calamités pour le monde. Mais revenons à notre sujet.

Voilà, monsieur, quel était le tiers dont l'arrivée sur le théâ-

tre des événements a brusquement décidé le duel séculaire de l'Occident européen; la seule apparition de la Russie dans vos rangs y a ramené l'unité, et l'unité vous a donné la victoire.

Et maintenant, pour se rendre un compte vrai de la situation actuelle des choses, on ne saurait assez se pénétrer d'une vérité, c'est que depuis cette intervention de l'Orient constituée dans les affaires de l'Occident, tout est changé en Europe: jusque-là vous y étiez à deux, maintenant nous y sommes à trois. Les longues luttes y sont devenues impossibles.

De l'état actuel des choses peuvent sortir les trois combinaisons suivantes, les seules possibles désormais. L'Allemagne, alliée fidèle de la Russie, gardera sa prépondérance au centre de l'Europe; ou bien cette prépondérance passerait aux mains de la France. Or, savez-vous, monsieur, ce que serait pour vous la prépondérance aux mains de la France? Ce serait, sinon la mort subite, au moins le dépérissement certain de l'Allemagne. Reste la troisième combinaison, celle qui sourirait peut-être le plus à certaines gens: l'Allemagne alliée à la France contre la Russie... Hélas, monsieur, cette combinaison a déjà été essayée en 1812 et, comme vous savez, elle a eu peu de succès. D'ailleurs je ne pense pas qu'après l'issue des trente années qui viennent de s'écouler, l'Allemagne fût d'humeur à accepter les conditions d'existence d'une nouvelle confédération du Rhin: car toute alliance intime avec la France ne peut jamais être que cela pour l'Allemagne, et savez-vous, monsieur, ce que la Russie a entendu faire, lorsque, intervenant dans cette lutte engagée entre les deux principes, les deux grandes nationalités qui depuis des siècles se disputaient l'Occident européen, elle l'a décidée

au profit de l'Allemagne, du principe germanique? Elle a voulu donner gain de cause une fois pour toutes au droit, à la légitimité historique, sur le procédé révolutionnaire. Et pourquoi a-t-elle voulu cela? Parce que le droit, la légitimité historique, c'est sa cause à elle, sa cause propre, la cause de son avenir, c'est là le droit qu'elle réclame pour elle-même et pour les siens. Il n'y a que la plus aveugle ignorance, celle qui ferme volontairement les yeux à la lumière, qui puisse encore méconnaître cette grande vérité, car enfin n'est-ce pas au nom de ce droit, de cette légitimité historique, que la Russie a relevé toute une race, tout un monde de sa déchéance, qu'elle l'a appelé à vivre de sa vie propre, qu'elle lui a rendu son autonomie, qu'elle l'a constituée? Et c'est aussi au nom de ce même droit qu'elle saura bien empêcher que les faiseurs d'expériences politiques ne viennent arracher ou escamoter des populations entières à leur centre d'unité vivante, pour pouvoir ensuite plus aisément les tailler et les façonner comme des choses mortes, au gré de leurs mille fantaisies, qu'ils ne viennent en un mot détacher des membres vivants du corps auquel ils appartiennent, sous prétexte de leur assurer par là une plus grande liberté de mouvement...

L'immortel honneur du Souverain qui est maintenant sur le trône de Russie, c'est de s'être fait plus pleinement, plus énergiquement qu'aucun de ses devanciers le représentant intelligent et inflexible de ce droit, de cette légitimité historique. Une fois que son choix a été fait, l'Europe sait si depuis trente ans la Russie y est restée fidèle. On peut affirmer, l'histoire à la main, qu'il serait bien difficile de trouver dans les annales politiques du monde un second exemple d'une alliance aussi profondément morale que celle

qui unit depuis trente ans les souverains de l'Allemagne à la Russie, et c'est ce grand caractère de moralité qui l'a fait durer, qui l'a aidée à résoudre bien des difficultés, à surmonter bien des obstacles, et maintenant, après l'épreuve des bons et des mauvais jours, cette alliance a triomphé d'une dernière épreuve, la plus significative de toutes : l'inspiration qui l'avait fondée s'est transmise, sans choc et sans altération, des premiers fondateurs à leurs héritiers.

Eh bien, monsieur, demandez à vos gouvernements si depuis ces trente années la sollicitude de la Russie pour les grands intérêts politiques de l'Allemagne s'est démentie un seul instant ? Demandez aux hommes qui ont été dans les affaires si mainte fois et sur bien des questions cette sollicitude n'a pas devancé vos propres inspirations patriotiques ? Vous voilà depuis quelques années vivement préoccupés en Allemagne de la grande question de l'unité germanique. Il n'en a pas toujours été ainsi, vous le savez. Moi qui depuis longtemps demeure parmi vous, je pourrais au besoin me rappeler l'époque précise où cette question a commencé à passionner les esprits ; assurément il était peu question de cette unité, au moins dans la presse, à l'époque où il n'y avait pas de feuille libérale qui ne se crût obligée en conscience de saisir chaque occasion d'adresser à l'Autriche et à son gouvernement les mêmes injures que l'on prodigue maintenant à la Russie... C'est donc là une préoccupation très louable, très légitime à coup sûr, mais d'une date assez récente. La Russie, il est vrai, n'a jamais prêché l'unité de l'Allemagne ; mais depuis trente ans elle n'a cessé dans toutes les occasions et sur tous les tons de recommander à l'Allemagne l'union, la concorde, la confiance réciproque, la subordination volontaire des intérêts particuliers à la grande

cause de l'intérêt général, et ces conseils, ces exhortations, elle ne s'est pas lassée de les reproduire, de les multiplier, avec toute cette énergique franchise d'un zèle qui se sait parfaitement désintéressé.

Un livre qui a eu, il y a quelques années, un grand retentissement en Allemagne et auquel on a bien faussement attribué une origine officielle, a semblé accréditer parmi vous l'opinion que la Russie, à une certaine époque, aurait eu pour système de s'attacher plus particulièrement les Etats allemands de second ordre au préjudice de l'influence légitime des deux grands Etats de la Confédération. Jamais supposition n'a été plus gratuite, et même, il faut le dire, plus contraire de tout point à la réalité. Consultez là-dessus les hommes compétents, ils vous diront ce qui en est; peut-être vous diront-ils que dans sa constante préoccupation d'assurer avant tout l'indépendance politique de l'Allemagne, la diplomatie russe s'est exposée quelquefois à froisser d'excusables susceptibilités, en recommandant avec trop d'insistance aux petites cours d'Allemagne une adhésion à toute épreuve au système des deux grandes puissances. Ce serait peut-être ici le lieu d'apprécier à sa juste valeur une autre accusation mille fois reproduite contre la Russie et qui n'en est pas plus vraie. Que n'a-t-on pas dit pour faire croire que c'est son influence avant tout qui a contrarié en Allemagne le développement du régime constitutionnel? En thèse générale il est souverainement déraisonnable de chercher à transformer la Russie en adversaire systématique de telle ou telle forme de gouvernement; et comment, grand Dieu, serait-elle devenue ce qu'elle est, comment exercerait-elle sur le monde l'influence qui lui appartient, avec une pareille étroitesse de ses idées? Ensuite, dans le cas spécial

dont il s'agit, il est rigoureusement vrai de dire que la Russie s'est toujours énergiquement prononcée pour le maintien loyal des institutions établies, pour le respect religieux des engagements contractés; après cela il est très possible qu'elle ait pensé qu'il ne serait pas prudent, dans l'intérêt le plus vital de l'Allemagne (celui de son unité) de donner dans les Etats constitutionnels de la Confédération à la prérogative parlementaire la même extension qu'elle a, par exemple, en Angleterre, en France; que si, même à présent, il n'était pas toujours facile d'établir entre les Etats cet accord, cette intelligence parfaite, que nécessite une action collective, le problème deviendrait tout bonnement insoluble dans une Allemagne dominée, c'est-à-dire divisée par une demi-douzaine de tribunes parlementaires souveraines. C'est là une de ces vérités acceptées à l'heure qu'il est par tous les bons esprits en Allemagne. Le tort de la Russie serait de l'avoir comprise une dizaine d'années plus tôt.

Maintenant, si de ces questions de l'intérieur nous passons à la situation du dehors, vous parlerai-je, monsieur, de la révolution de Juillet et des conséquences probables qu'elle devait avoir pour votre patrie et qu'elle n'a pas eues? Ai-je besoin de vous dire que le principe de cette explosion, que l'âme même de ce mouvement c'était avant tout le besoin d'une revanche éclatante contre l'Europe, et principalement contre vous, c'était l'irrésistible besoin de ressaisir cette prépondérance de l'Occident, dont la France avait si longtemps joui et qu'elle voyait avec dépit fixée depuis trente ans dans vos mains? Je rends assurément toute justice au roi des Français, j'admire son habileté, je souhaite une longue vie à lui et à son système... Mais que serait-il arrivé, monsieur, si, chaque fois que le gouvernement français a essayé depuis

1835 de porter ses regards par-dessus l'horizon de l'Allemagne, il n'avait pas constamment rencontré sur le trône de Russie la même attitude ferme et décidée, la même réserve, la même froideur, et surtout la même fidélité à toute épreuve aux alliances établies, aux engagements contractés? S'il avait pu surprendre un seul instant de doute, d'hésitation, ne pensez-vous pas que le Napoléon de la paix lui-même se serait finalement lassé de retenir toujours cette France, frémissante sous sa main, et qu'il l'aurait laissée aller?... Et que serait-ce, s'il avait pu compter sur de la connivence?...

Monsieur, je me trouvais en Allemagne à l'époque où M. Thiers, cédant à une impulsion pour ainsi dire instinctive, se disposait à faire ce qui lui paraissait la chose du monde la plus simple et la plus naturelle, c'est-à-dire à se venger sur l'Allemagne des échecs de sa diplomatie en Orient; j'ai été témoin de cette explosion, de la colère vraiment nationale que cette naïve insolence avait provoquée parmi vous, et je me félicite de l'avoir vue; depuis j'ai toujours entendu avec beaucoup de plaisir chanter le *Rheinlied*. Mais, monsieur, comment se fait-il que votre presse politique qui sait tout, qui sait par exemple le chiffre exact de tous les coups de poing qui s'échangent sur la frontière de Prusse entre les douaniers russes et les contrebandiers prussiens, comment, dis-je, n'a-t-elle pas su ce qui s'est passé à cette époque entre les cours d'Allemagne et la Russie? Comment n'a-t-elle pas su, ou ne vous a-t-elle pas informé qu'à la première démonstration d'hostilité de la part de la France, 80,000 hommes de troupes russes devaient marcher au secours de votre indépendance menacée, et que 200,000 hommes les auraient suivis dans les six semaines? Eh bien, monsieur, cette circonstance n'est pas restée ignorée à Paris,

es peut-être penserez-vous comme moi, quel que soit d'ailleurs le cas que je fasse du *Rheinlied*, qu'elle n'a pas peu contribué à décider la vieille *Marseillaise* à battre si promptement en retraite devant sa jeune rivale.

J'ai nommé la presse. Ne croyez pas, monsieur, que j'aie des préventions systématiques contre la presse allemande. ou que je lui garde rancune de son inexprimable malveillance à notre égard. Il n'en est rien, je vous assure; je suis très disposé à lui faire honneur des bonnes qualités qu'elle a, et j'aimerais bien pouvoir attribuer en partie au moins ses torts et ses aberrations au régime exceptionnel sous lequel elle vit. Ce n'est certes ni le talent, ni les idées, ni même le patriotisme qui manquent à votre presse périodique; à beaucoup d'égards elle est la fille légitime de votre noble et grande littérature, de cette littérature qui a restauré parmi vous le sentiment de votre identité nationale. Ce qui manque à votre presse, et cela à un degré compromettant, c'est le tact politique, l'intelligence vive et sûre de la situation donnée, du milieu réel dans lequel elle vit. Aussi remarque-t-on, dans ses manifestations comme dans ses tendances, je ne sais quoi d'imprévoyant, d'inconsidéré, en un mot de moralement irresponsable qui provient peut-être de cet état de minorité prolongée où on la retient.

Comment s'expliquer en effet, si ce n'est par cette conscience de son irresponsabilité morale, cette hostilité ardente, aveugle, forcenée, à laquelle elle se livre depuis des années à l'égard de la Russie? Pourquoi? Dans quel but? Au profit de quoi? A-t-elle l'air d'avoir une seule fois sérieusement examiné, au point de vue de l'intérêt politique de l'Allemagne, les conséquences possibles, probables, de ce qu'elle faisait? S'est-elle une seule fois sérieusement demandé si, en



s'appliquant comme elle le fait depuis des années, avec cet incroyable acharnement, à aigrir, à envenimer, à compromettre sans retour les dispositions réciproques des deux pays, elle ne travaillait pas à ruiner par sa base le système d'alliance sur lequel repose la puissance relative de l'Allemagne vis-à-vis de l'Europe? Si, à la combinaison politique la plus favorable que l'histoire eût réalisée jusqu'à présent pour votre patrie, elle ne cherchait par tous les moyens en son pouvoir de substituer la combinaison la plus décidément funeste? Cette pétulante imprévoyance ne vous rappelle-t-elle pas, monsieur, à la gentillesse près toutefois, une espièglerie de l'enfance de votre grand Gœthe, si gracieusement racontée dans ses mémoires? Vous vous souvenez de ce jour où le petit Wolfgang, resté seul dans la maison paternelle, n'a pas cru pouvoir mieux utiliser le loisir que l'absence de ses parents lui avait fait, qu'en faisant passer successivement par la fenêtre tous les ustensiles du ménage de sa mère qui lui tombaient sous la main, s'amusant et se réjouissant beaucoup du bruit qu'ils faisaient en tombant et en se brisant sur le pavé? Il est vrai qu'il y avait dans la maison vis-à-vis un méchant voisin qui par ses encouragements provoquait l'enfant à continuer l'ingénieux passe-temps; mais vous, monsieur, vous n'avez pas même l'excuse d'une provocation semblable....

Encore si dans tout ce débordement de déclamation haineuse contre la Russie on pouvait découvrir un motif sensé, un motif avouable pour justifier tant de haine! Je sais que je trouverai au besoin des fous qui viendront me dire le plus sérieusement possible: « Nous devons vous haïr; votre principe, le principe même de votre civilisation, nous est antipathique à nous autres Allemands, à nous autres Occiden-

« taux; vous n'avez eu ni *Féodalité*, ni *Hérarchie Pontificale*;
« vous n'avez passé ni par les guerres *du Sacerdoce* et de
« *l'Empire*, ni par les guerres *de Religion*, ni même par
« *l'Inquisition*; vous n'avez pas pris part aux Croisades, vous
« n'avez pas connu la Chevalerie, vous êtes arrivé il y a
« quatre siècles à l'unité que nous cherchons encore, votre
« principe ne fait pas une part assez large à la liberté de
« l'individu, il n'autorise pas assez la division, le morcelle-
« ment ». Tout cela est vrai; mais tout cela, soyez juste,
nous a-t-il empêché de vous aider bravement et loyalement
dans l'occasion, lorsqu'il s'est agi de revendiquer, de recon-
quérir votre indépendance politique, votre nationalité, et
maintenant n'est-ce pas le moins que vous puissiez faire,
que de nous pardonner la nôtre? Parlons sérieusement, car
la chose en vaut la peine. La Russie ne demande pas mieux
que de respecter votre légitimité historique, la légitimité
historique des peuples de l'Occident; elle s'est dévouée avec
vous, il y a trente ans à peine, à la relever de sa chute, à
la replacer sur sa base; elle est donc très disposée à la
respecter non-seulement dans son principe, mais même dans
ses conséquences les plus extrêmes, même dans ses écarts,
même dans ses défaillances; mais vous aussi, apprenez à
votre tour à nous respecter dans notre unité et dans notre
force.

Viendrait-on me dire que ce sont les imperfections de
notre régime social, les vices de notre administration, la
condition de nos classes inférieures, etc., etc., que c'est tout
cela qui irrite l'opinion contre la Russie? Eh quoi, serait-ce
vrai? Et moi qui croyais tout à l'heure avoir à me plaindre
d'un excès de malveillance, me verrai-je obligé maintenant
de protester contre une exagération de sympathie? Car enfin,

nous ne sommes pas seuls au monde, et si vous avez en effet un fonds aussi surabondant de sympathie humaine, et que vous ne trouviez pas à le placer chez vous et au profit des vôtres, ne serait-il pas juste au moins que vous le répartissiez d'une manière plus équitable entre les différents peuples de la terre? Tous, hélas, ont besoin qu'on les plaigne; voyez l'Angleterre par exemple, qu'en dites-vous? Voyez sa population manufacturière; voyez l'Irlande, et si vous étiez à même d'établir en parfaite connaissance le bilan respectif des deux pays, si vous pouviez peser dans des balances équitables les misères qu'entraînent à leur suite la barbarie russe et la civilisation anglaise, peut-être trouveriez-vous plus de singularité que d'exagération dans l'assertion de cet homme qui, également étranger aux deux pays, mais les connaissant tous deux à fond, affirmait avec une conviction entière « qu'il y avait dans le Royaume-Uni un million d'hommes, au moins, qui gagneraient beaucoup à être envoyés en Sibérie »...

Ah, monsieur, pourquoi faut-il que vous autres Allemands, qui avez sur vos voisins d'outre-Rhin une supériorité morale incontestable à tant d'égards, pourquoi faut-il que vous ne puissiez pas leur emprunter un peu de ce bon sens pratique, de cette intelligence vive et sûre de leurs intérêts, qui les distinguent? Eux aussi ils ont une presse, des journaux, qui nous invectivent, qui nous déchirent à qui mieux mieux, sans relâche, sans mesure, sans pudeur. Voyez par exemple cette hydre aux cent têtes de la presse parisienne, toutes lançant feu et flamme contre nous. Quelles fureurs! Quels éclats! Quel tapage!... Eh bien, qu'on acquière aujourd'hui même la certitude, à Paris, que ce rapprochement si ardemment convoité est en train de se faire, que les avances si souvent reproduites ont enfin été accueillies, et dès demain

vous verrez tout ce bruit de haine tomber, toute cette brillante pyrotechnie d'injures s'évanouir, et de ces cratères éteints, de ces bouches pacifiées vont sortir, avec le dernier flocon de fumée, des voix diversement modulées, mais toutes également mélodieuses, célébrant, à l'envi l'une de l'autre, notre heureuse réconciliation.

Mais cette lettre est trop longue, il est temps de finir. Permettez-moi, monsieur, en finissant de résumer en peu de mots ma pensée.

Je me suis adressé à vous, sans autre mission que celle que je tiens de ma conviction libre et personnelle. Je ne suis aux ordres de personne, je ne suis l'organe de personne; ma pensée ne relève que d'elle-même. Mais j'ai certainement tout lieu de croire que si le contenu de cette lettre était connu en Russie, l'opinion publique n'hésiterait pas à l'avouer. — L'opinion russe jusqu'à présent ne s'est que médiocrement émue de toutes ces clameurs de la presse allemande, non pas que l'opinion, non pas que les sentiments de l'Allemagne lui parussent une chose indifférente, bien certainement non... mais toutes ces violences de la parole, tous ces coups de fusil tirés en l'air, à l'intention de la Russie, il lui répugnait de prendre tout ce bruit au sérieux; elle n'y a vu tout au plus qu'un divertissement de mauvais goût... L'opinion russe se refuse décidément à admettre qu'une nation grave, sérieuse, loyale, profondément équitable, telle enfin que le monde a connu l'Allemagne à toutes les époques de son histoire, que cette nation, dis-je, ira dépouiller sa nature, pour en révéler une autre faite à l'image de quelques esprits fantasques ou brouillons, de quelques déclamateurs passionnés ou de mauvaise foi; que, reniant le passé, méconnaissant le présent et compromettant l'avenir, l'Alle-

magne consentira à accueillir, à nourrir un mauvais sentiment, un sentiment indigne d'elle, simplement pour avoir le plaisir de faire une grande bétise politique. Non, c'est impossible!

Je me suis adressé à vous, monsieur, parce que, ainsi que je l'ai reconnu, la «Gazette Universelle» est plus qu'un journal pour l'Allemagne; c'est un pouvoir, et un pouvoir qui, je le déclare bien volontiers, réunit à un haut degré le sentiment national et l'intelligence politique: c'est au nom de cette double autorité que j'ai essayé de vous parler.

La disposition d'esprit que l'on a créée, que l'on cherche à propager en Allemagne à l'égard de la Russie, n'est pas encore un danger; mais elle est bien près de le devenir.... Cette disposition d'esprit ne changera rien, j'en ai la conviction, aux rapports actuellement existants entre les gouvernements allemands et la Russie; mais elle tend à fausser de plus en plus la conscience publique sur une des questions les plus graves qu'il y ait pour une nation, sur la question de ses alliances... Elle tend, en présentant sous les couleurs les plus mensongères la politique la plus nationale que l'Allemagne ait jamais suivie, à jeter la division dans les esprits, à pousser les plus ardents, les plus inconsidérés dans des voies pleines de péril, dans des voies où la fortune de l'Allemagne s'est déjà fourvoyée plus d'une fois... Qu'une crise éclate en Europe, que la querelle séculaire, décidée il y a trente ans en votre faveur, vienne à se rallumer, la Russie certainement ne manquera pas à vos souverains, pas plus que ceux-ci ne manqueront à la Russie; mais c'est alors aussi qu'on aura probablement à récolter ce que l'on sème aujourd'hui: la division des esprits aura porté ses fruits, et ces fruits pourraient être amers pour l'Allemagne; ce seraient, je le crains bien, de nouvelles défections et des

déchirements nouveaux. Et alors, monsieur, vous auriez trop cruellement expié le tort d'avoir été un moment injuste envers nous.

Voilà, monsieur, ce que j'avais à vous dire. Vous ferez de ma parole l'usage qui vous paraîtra le plus convenable. Agréez, etc.

1844.

II.

La Russie et la Révolution.

Pour comprendre de quoi il s'agit dans la crise suprême où l'Europe vient d'entrer, voici ce qu'il faudrait se dire. Depuis longtemps il n'y a plus en Europe que deux puissances réelles: « la Révolution et la Russie ». — Ces deux puissances sont maintenant en présence, et demain peut-être elles seront aux prises. Entre l'une et l'autre il n'y a ni traité, ni transaction possibles. La vie de l'une est la mort de l'autre. De l'issue de la lutte engagée entre elles, la plus grande des luttes dont le monde ait été témoin, dépend pour des siècles tout l'avenir politique et religieux de l'humanité.

Le fait de cet antagonisme éclate maintenant à tous les yeux, et cependant, telle est l'inintelligence d'un siècle hébété par le raisonnement, que tout en vivant en présence de ce fait immense, la génération actuelle est bien loin d'en avoir saisi le véritable caractère et apprécié les raisons.

Jusqu'à présent c'est dans une sphère d'idées purement politiques qu'on en a cherché l'explication; c'est par des différences de principes d'ordre purement humain qu'on avait

essayé de s'en rendre compte. Non, certes, la querelle qui divise la Révolution et la Russie tient à des raisons bien autrement profondes; elles peuvent se résumer en deux mots.

La Russie est avant tout l'empire chrétien; le peuple russe est chrétien non-seulement par l'orthodoxie de ses croyances, mais encore par quelque chose de plus intime encore que la croyance. Il l'est par cette faculté de renoncement et de sacrifice qui fait comme le fond de sa nature morale. La Révolution est avant tout anti-chrétienne. L'esprit anti-chrétien est l'âme de la Révolution; c'est là son caractère propre, essentiel. Les formes qu'elle a successivement revêtues, les mots d'ordre qu'elle a tour à tour adoptés, tout, jusqu'à ses violences et ses crimes, n'a été qu'accessoire ou accidentel; mais ce qui ne l'est pas, c'est le principe anti-chrétien qui l'anime, et c'est lui aussi (il faut bien le dire) qui lui a valu sa terrible puissance sur le monde. Quiconque ne comprend pas cela, assiste en aveugle depuis soixante ans au spectacle que le monde lui offre.

Le moi humain, ne voulant relever que de lui-même, ne reconnaissant, n'acceptant d'autre loi que celle de son bon plaisir, le moi humain, en un mot, se substituant à Dieu, ce n'est certainement pas là une chose nouvelle parmi les hommes; mais ce qui l'était, c'est cet absolutisme du moi humain érigé en droit politique et social et aspirant à ce titre à prendre possession de la société. C'est cette nouveauté-là qui en 1789 s'est appelée la Révolution Française.

Depuis lors, et à travers toutes ses métamorphoses, la Révolution est restée conséquente à sa nature, et peut-être à aucun moment de sa durée ne s'est-elle sentie plus elle-même, plus intimement anti-chrétienne que dans le moment actuel, où elle vient d'adopter le mot d'ordre du christianisme :

la fraternité. C'est même là ce qui pourrait faire croire qu'elle touche à son apogée. En effet, à entendre toutes ces déclamations naïvement blasphématoires qui sont devenues comme la langue officielle de l'époque, qui ne croirait que la nouvelle République Française n'a été unie au monde que pour accomplir la loi de l'Evangile? C'est bien là aussi la mission que les pouvoirs qu'elle a créés se sont solennellement attribuée, sauf toutefois un amendement que la Révolution s'est réservé d'y introduire, c'est qu'à l'esprit d'humilité et de renoncement à soi-même, qui est tout le fond du christianisme, elle entend substituer l'esprit d'orgueil et de prépotence, à la charité libre et volontaire, la charité forcée, et qu'à la place d'une fraternité prêchée et acceptée au nom de Dieu, elle prétend établir une fraternité imposée par la crainte du peuple-souverain. A ces différences près, son règne promet en effet d'être celui du Christ.

Et qu'on ne se laisse pas induire en erreur par cette espèce de bienveillance dédaigneuse que les nouveaux pouvoirs ont jusqu'ici témoignée à l'Eglise catholique et à ses ministres. Ceci est peut-être le symptôme le plus grave de la situation et l'indice le plus certain de la toute-puissance que la Révolution a obtenue. Pourquoi, en effet, la Révolution se montrerait-elle rébarbative envers un clergé, envers des prêtres chrétiens qui, non contents de la subir, l'acceptent et l'adoptent, qui pour la conjurer glorifient toutes ses violences et qui, sans y croire, s'associent à tous ses mensonges? Si dans une pareille conduite il n'y avait que du calcul, ce calcul déjà serait de l'apostasie; mais s'il y entre de la conviction, c'en est une bien plus grande encore.

Et cependant il est à prévoir que les persécutions ne manqueront pas; car le jour où la limite des concessions sera

atteinte, le jour où l'Eglise catholique croira devoir résister, on verra qu'elle ne pourra le faire qu'en rétrogradant jusqu'au martyre. On peut s'en fier à la Révolution: elle se montrera en toutes choses fidèle à elle-même et conséquente jusqu'au bout.

L'explosion de Février a rendu ce grand service au monde, c'est qu'elle a fait crouler jusqu'à terre tout l'échafaudage des illusions dont on avait masqué la réalité. Les moins intelligents doivent avoir compris maintenant que l'histoire de l'Europe depuis trente-trois ans n'a été qu'une longue mystification. En effet, de quelle lumière inexorable tout ce passé, si récent et déjà si loin de nous, ne s'est-il pas tout à coup illuminé? Qui, par exemple, ne comprend pas maintenant tout ce qu'il y avait de ridicule prétention dans cette sagesse du siècle qui s'était béatement persuadée qu'elle avait réussi à dompter la Révolution par l'exorcisme constitutionnel, à lier sa terrible énergie par une formule de légalité? Qui pourrait douter encore, après ce qui s'est passé, que du moment où le principe révolutionnaire est entré dans le sang d'une société, tous ses procédés, toutes ses formules de transactions ne sont plus que des narcotiques qui peuvent bien momentanément endormir le malade, mais qui n'empêchent pas le mal de poursuivre son cours?

Et voilà pourquoi, après avoir dévoré la Restauration qui lui était personnellement odieuse comme un dernier débris de l'autorité légitime en France, la Révolution n'a pas mieux supporté cet autre pouvoir, né d'elle-même, qu'elle avait bien accepté en 1830 pour lui servir de compère vis-à-vis de l'Europe, mais qu'elle a brisé le jour où, au lieu de la servir, ce pouvoir s'est avisé de se croire son maître.

A cette occasion, qu'il me soit permis de faire une ré-

flexion. Comment se fait-il que parmi tous les souverains de l'Europe, aussi bien que parmi les hommes politiques qui l'ont dirigée dans ces derniers temps, il n'y en a eu qu'un seul qui de prime-abord ait reconnu et signalé la grande illusion de 1830 et qui depuis, seul en Europe, seul peut-être au milieu de son entourage, ait constamment refusé à s'en laisser envahir? C'est que cette fois-ci il y avait heureusement sur le trône de Russie un Souverain en qui la pensée russe s'est incarnée, et que dans l'état actuel du monde la pensée russe est la seule qui soit placée assez en dehors du milieu révolutionnaire pour pouvoir apprécier sainement les faits qui s'y produisent.

Ce que l'Empereur avait prévu dès 1830, la Révolution n'a pas manqué de le réaliser de point en point. Toutes les concessions, tous les sacrifices des principes faits par l'Europe monarchique à l'établissement de Juillet dans l'intérêt d'un simulacre de *statu quo*, la Révolution s'en empara pour les utiliser au profit du bouleversement, qu'elle méditait, et tandis que les pouvoirs légitimes faisaient de la diplomatie plus ou moins habile avec de la quasi-légitimité et que les hommes d'Etat et les diplomates de toute l'Europe assistaient en amateurs curieux et bienveillants aux joutes parlementaires de Paris, le parti révolutionnaire, sans presque se cacher, travaillait sans relâche à miner le terrain sous leurs pieds.

On peut dire que la grande tâche du parti, durant ces dernières dix-huit années, a été de révolutionner de fond en comble l'Allemagne, et l'on peut juger maintenant si cette tâche a été bien remplie.

L'Allemagne assurément est le pays sur lequel on s'est fait le plus longtemps les plus étranges illusions. On le

croyait un pays d'ordre, parce qu'il était tranquille, et on ne voulait pas voir l'épouvantable anarchie qui y avait envahi et qui y ravageait les intelligences.

Soixante ans d'une philosophie destructive y avaient complètement dissous toutes les croyances chrétiennes et développé, dans ce néant de toute foi, le sentiment révolutionnaire par excellence : l'orgueil de l'esprit, si bien qu'à l'heure qu'il est, nulle part peut-être cette plaie du siècle n'est plus profonde et plus envenimée qu'en Allemagne. Par une conséquence nécessaire, à mesure que l'Allemagne se révolutionnait, elle sentait grandir sa haine contre la Russie. En effet, sous le coup des bienfaits qu'elle en avait reçus, une Allemagne révolutionnaire ne pouvait avoir pour la Russie qu'une haine implacable. Dans le moment actuel, ce paroxysme de haine paraît avoir atteint son point culminant ; car il a triomphé en elle, je ne dis pas de toute raison, mais même du sentiment de sa propre conservation.

Si une aussi triste haine pouvait inspirer autre chose que de la pitié, la Russie certes se trouverait suffisamment vengée par le spectacle que l'Allemagne vient de donner au monde à la suite de la révolution de Février. Car c'est peut-être un fait sans précédent dans l'histoire que de voir tout un peuple se faisant le plagiaire d'un autre au moment même où il se livre à la violence la plus effrénée.

Et qu'on ne dise pas, pour justifier tous ces mouvements si évidemment factices qui viennent de bouleverser tout l'ordre politique de l'Allemagne et de compromettre jusqu'à l'existence de l'ordre social lui-même, qu'ils ont été inspirés par un sentiment sincère généralement éprouvé, par le besoin de l'unité allemande. Ce sentiment est sincère, soit ; ce vœu est celui de la grande majorité, je le veux bien ; mais

qu'est-ce que cela prouve?... C'est encore là une des plus folles illusions de notre époque que de s'imaginer qu'il suffise qu'une chose soit vivement, ardemment convoitée par le grand nombre, pour qu'elle devienne par cela seul nécessairement réalisable. D'ailleurs, il faut bien le reconnaître, il n'y a pas dans la société de nos jours ni vœu, ni besoin (quelque sincère, quelque légitime qu'il soit) que la Révolution en s'en emparant ne dénature et ne convertisse en mensonge, et c'est précisément ce qui est arrivé avec la question de l'unité allemande : car pour qui n'a pas abdiqué toute faculté de reconnaître l'évidence, il doit être clair dès à présent que dans la voie où l'Allemagne vient de s'engager à la recherche de la solution du problème, ce n'est pas à l'unité qu'elle aboutira, mais bien à un effroyable déchirement, à quelque catastrophe suprême et irréparable.

Oui, certes, on ne tardera pas à reconnaître que la seule unité qui fût possible, non pas pour l'Allemagne telle que les journaux la font, mais pour l'Allemagne réelle, telle que son histoire l'a faite, la seule chance d'unité sérieuse et pratique pour ce pays était indissolublement liée au système politique qu'il vient de briser.

Si, pendant ces dernières trente-trois années, les plus heureuses peut-être de toute son histoire, l'Allemagne a formé un corps politique hiérarchiquement constitué et fonctionnant d'une manière régulière, à quelles conditions un pareil résultat a-t-il pu être obtenu et assuré? C'était évidemment à la condition d'une entente sincère entre les deux grandes puissances qui représentent en Allemagne les deux principes qui se disputent ce pays depuis plus de trois siècles. Mais cet accord lui-même, si lent à s'établir, si difficile à conserver, croit-on qu'il eût été possible, qu'il eût pu durer aussi

longtemps, si l'Autriche et la Prusse, à l'issue des grandes guerres contre la France, ne se fussent intimement ralliées à la Russie, fortement appuyées sur elle? Voilà la combinaison politique qui, en réalisant pour l'Allemagne le seul système d'unité qui lui fût applicable, lui a valu cette trêve de trente-trois ans qu'elle vient de rompre.

Il n'y a ni haine, ni mensonge qui pourront jamais prévaloir contre ce fait-là. Dans un accès de folie, l'Allemagne a bien pu briser une alliance qui, sans lui imposer aucun sacrifice, assurait et protégeait son indépendance nationale, mais par là-même elle s'est privée à jamais de toute base solide et durable.

Voyez plutôt la démonstration de cette vérité par la contre-épreuve des événements, dans ce terrible moment où les événements marchent presque aussi vite que la parole humaine. Il y a à peine deux mois que la Révolution en Allemagne s'est mise à la besogne, et déjà, il faut lui rendre cette justice, l'œuvre de la démolition dans ce pays est plus avancée qu'elle ne l'était sous la main de Napoléon après dix de ses foudroyantes campagnes.

Voyez l'Autriche plus compromise, plus abattue, plus démantelée qu'en 1809. Voyez la Prusse vouée au suicide par sa connivence fatale et forcée avec le parti polonais. Voyez les bords du Rhin, où, en dépit des chansons et des phrases, la confédération Rhénane n'aspire qu'à renaître. L'anarchie partout, l'autorité nulle part, et tout cela sous le coup d'une France où bout une révolution sociale qui ne demande qu'à déborder dans la révolution politique qui travaille l'Allemagne.

Dès à présent, pour tout homme sensé la question de l'unité allemande est une question jugée. Il faudrait avoir

ce genre d'ineptie propre aux idéologues allemands pour se demander sérieusement si ce tas de journalistes, d'avocats et de professeurs qui se sont réunis à Francfort, en se donnant la mission de recommencer Charlemagne, ont quelque chance appréciable de réussir dans l'œuvre qu'ils ont entreprise, si sur ce sol qui tremble ils auront la main assez puissante et assez habile pour relever la pyramide renversée en la faisant tenir sur la pointe.

La question n'est plus là; il ne s'agit plus de savoir si l'Allemagne sera une, mais si de ces déchirements intérieurs compliqués probablement d'une guerre étrangère elle parviendra à sauver un lambeau quelconque de son existence nationale.

Les partis qui vont déchirer ce pays commencent déjà à se dessiner. Déjà sur différents points la République a pris pied en Allemagne, et l'on peut compter qu'elle ne se retirera pas sans avoir combattu, car elle a pour elle la logique et derrière elle la France. Aux yeux de ce parti la question de nationalité n'a ni sens, ni valeur. Dans l'intérêt de sa cause il n'hésitera pas un instant à immoler l'indépendance de son pays, et il enrôlerait l'Allemagne tout entière plutôt aujourd'hui que demain sous le drapeau de la France, fût-ce même sous le drapeau rouge. Ses auxiliaires sont partout; il trouve aide et appui dans les hommes comme dans les choses, aussi bien dans les instincts anarchiques des masses que dans les institutions anarchiques qui viennent d'être semées avec tant de profusion à travers toute l'Allemagne. Mais ses meilleurs, ses plus puissants auxiliaires sont précisément les hommes qui d'un moment à l'autre peuvent être appelés à la combattre: tant ces hommes se trouvent liés à elle par la solidarité des principes. Maintenant toute

la question est de savoir si la lutte éclatera avant que les prétendus conservateurs aient eu le temps de compromettre par leurs divisions et leurs folies tous les éléments de force et de résistance dont l'Allemagne dispose encore ; si, en un mot, attaqués par le parti républicain, ils se décident à voir en lui ce qu'il est en effet, l'avant-garde de l'invasion française, et retrouvent, dans le sentiment du danger dont l'indépendance nationale serait menacée, assez d'énergie pour combattre la république à toute outrance ; ou bien si pour s'épargner la lutte ils aimeront mieux accepter quelque faux semblant de transaction qui ne serait au fond de leur part qu'une capitulation déguisée. Dans le cas où cette dernière supposition viendrait à se réaliser, alors (il faut le reconnaître) l'éventualité d'une croisade contre la Russie, de cette croisade qui a toujours été le rêve chéri de la Révolution et qui maintenant est devenu son cri de guerre — cette éventualité se convertirait en une presque certitude ; le jour de la lutte décisive serait presque arrivé, et c'est la Pologne qui servirait de champ de bataille. Voilà du moins la chance que caressent avec amour les révolutionnaires de tous les pays ; mais il y a toutefois un élément de la question dont ils ne tiennent pas assez de compte, et cette omission pourrait singulièrement déranger leurs calculs.

Le parti révolutionnaire, en Allemagne surtout, paraît s'être persuadé que puisque lui-même faisait si bon marché de l'élément national, il en serait de même dans tous les pays soumis à son action et que partout et toujours la question de principe primerait la question de nationalité. Déjà les événements de la Lombardie ont dû faire faire de singulières réflexions aux étudiants réformateurs de Vienne, qui s'étaient imaginé qu'il suffisait de chasser le prince de Metternich et

de proclamer la liberté de la presse pour résoudre les formidables difficultés qui pèsent sur la monarchie autrichienne. Les Italiens n'en persistent pas moins à ne voir en eux que des *Tedeschi* et des *Barbari*, tout comme s'ils ne s'étaient pas régénérés dans les eaux lustrales de l'émente. Mais l'Allemagne révolutionnaire ne tardera pas à recevoir à cet égard une leçon plus significative et plus sévère encore, car elle lui sera administrée de plus près. En effet, on n'a pas pensé qu'en brisant ou en affaiblissant tous les anciens pouvoirs, qu'en remuant jusque dans ses profondeurs tout l'ordre politique de ce pays, on allait y réveiller la plus redoutable des complications, une question de vie et de mort pour son avenir — la question des races. On avait oublié qu'au cœur même de cette Allemagne, dont on rêve l'unité, il y avait dans le bassin de la Bohême et dans les pays slaves qui l'entourent six à sept millions d'hommes pour qui, de générations en générations, l'Allemand depuis des siècles n'a pas cessé d'être un seul instant quelque chose de pis qu'un étranger, pour qui l'Allemand est toujours un *Нѣмецъ*.... Il ne s'agit pas ici bien entendu du patriotisme littéraire de quelques savants de Prague, tout honorable qu'il puisse être; ces hommes ont rendu sans doute de grands services à la cause de leur pays et ils lui en rendront encore; mais la vie de la Bohême n'est pas là. La vie d'un peuple n'est jamais dans les livres que l'on imprime pour lui, à moins toutefois que ce ne soit le peuple allemand; la vie d'un peuple est dans ses instincts et dans ses croyances, et les livres, il faut l'avouer, sont bien plus puissants pour les énerver et les flétrir que pour les ranimer et les faire vivre. Tout ce qui reste donc à la Bohême de vraie vie nationale est dans ses croyances *Hussites*, dans cette protestation

toujours vivante de sa nationalité slave opprimée contre l'usurpation de l'Eglise romaine, aussi bien que contre la domination allemande. C'est là le lien qui l'unit à tout son passé de lutttes et de gloire, et c'est là aussi le chaînon qui pourra rattacher un jour le *Yezs* de la Bohême à ses frères d'Orient. On ne saurait assez insister sur ce point, car ce sont précisément ces réminiscences sympathiques de l'Eglise d'Orient, ce sont ces retours vers *la vieille foi* dont le hussitisme dans son temps n'a été qu'une expression imparfaite et défigurée, qui établissent une différence profonde entre la Pologne et la Bohême : entre la Bohême ne subissant que malgré elle le joug de la communauté occidentale, et cette Pologne factieusement catholique—séide fanatique de l'Occident et toujours traître vis-à-vis des siens.

Je sais que pour le moment la véritable question en Bohême ne s'est pas encore posée et que ce qui s'agite et se remue à la surface du pays, c'est du libéralisme le plus vulgaire mêlé de communisme dans les villes et probablement d'un peu de jacquerie dans les campagnes. Mais toute cette ivresse tombera bientôt, et au train dont vont les choses le fond de la situation ne tardera pas à paraître. Alors la question pour la Bohême sera celle-ci : une fois l'Empire d'Autriche dissous par la perte de la Lombardie et par l'émancipation maintenant complète de la Hongrie, que fera la Bohême avec ces peuples qui l'entourent, Moraves, Slovaques, c'est-à-dire sept à huit millions d'hommes de même langue et de même race qu'elle ? Aspirera-t-elle à se constituer d'une manière indépendante, ou se prêtera-t-elle à entrer dans le cadre ridicule de cette future Unité Germanique qui ne sera jamais que l'Unité du Chaos ? Il est peu probable que ce dernier parti la tente beaucoup. Dès

lors elle se trouvera infailliblement en butte à toutes sortes d'hostilités et d'agressions, et pour y résister ce n'est certes pas sur la Hongrie qu'elle pourra s'appuyer. Pour savoir donc quelle est la puissance vers laquelle la Bohême, en dépit des idées qui la dominent aujourd'hui et des institutions qui la régiront demain, se trouvera forcément entraînée, je n'ai besoin de me rappeler que ce que me disait en 1841 à Prague le plus national des patriotes de ce pays « La Bohême, me disait Hancka, ne sera libre et indépendante, ne sera réellement en possession d'elle-même que le jour où la Russie sera rentrée en possession de la Gallicie. » En général c'est une chose digne de remarque que cette faveur persévérante que la Russie, le nom russe, sa gloire, son avenir, n'ont cessé de rencontrer parmi les hommes nationaux de Prague; et cela au moment même où notre fidèle alliée l'Allemagne se faisait avec plus de désintéressement que d'équité la doublure de l'émigration polonaise, pour amener contre nous l'opinion publique de l'Europe entière. Tout Russe qui a visité Prague dans le courant de ces dernières années pourra certifier que le seul grief qu'il y ait entendu exprimer contre nous, c'était de voir la réserve et la tiédeur avec lesquelles les sympathies nationales de la Bohême étaient accueillies parmi nous. De hautes, de généreuses considérations nous imposaient alors cette conduite; maintenant assurément ce ne serait plus qu'un contre-sens: car les sacrifices que nous faisions alors à la cause de l'ordre, nous ne pourrions les faire désormais qu'au profit de la Révolution.

Mais s'il est vrai de dire que la Russie dans les circonstances actuelles a moins que jamais le droit de décourager les sympathies qui viendraient à elle, il est juste de recon-

naître d'autre part une loi historique qui jusqu'à présent a providentiellement régi ses destinées: c'est que ce sont toujours ses ennemis les plus acharnés qui ont travaillé avec le plus de succès au développement de sa grandeur. Cette loi providentielle vient de lui en susciter un qui certainement jouera un grand rôle dans les destinées de son avenir et qui ne contribuera pas médiocrement à en hâter l'accomplissement. Cet ennemi c'est la Hongrie, j'entends la Hongrie magyare. De tous les ennemis de la Russie c'est peut-être celui qui la hait de la haine la plus furieuse. Le peuple magyare, en qui la ferveur révolutionnaire vient de s'associer par la plus étrange des combinaisons à la brutalité d'une horde asiatique et dont on pourrait dire, avec tout autant de justice que des Turcs, qu'il ne fait que camper en Europe, vit entouré de peuples slaves qui lui sont tous également odieux. Ennemi personnel de cette race, dont il a pendant si longtemps abîmé les destinées, il se retrouve après des siècles d'agitations et de turbulence toujours encore emprisonné au milieu d'elle. Tous ces peuples qui l'entourent: Serbes, Croates, Slovaques, Transylvaniens et jusqu'aux Petits-Russiens des Carpathes, sont les anneaux d'une chaîne qu'il croyait à tout jamais brisée. Et maintenant il se voit au-dessus de lui une main qui pourra, quand il lui plaira, rejoindre ces anneaux et resserrer la chaîne à volonté. De là sa haine instinctive contre la Russie. D'autre part, sur la foi du journalisme étranger, les meneurs actuels du parti se sont sérieusement persuadé que le peuple magyare avait une grande mission à remplir dans l'Orient Orthodoxe; que c'était à lui, en un mot, à tenir en échec les destinées de la Russie.... Jusqu'à présent l'autorité modératrice de l'Autriche avait tant bien que mal contenu toute cette turbu-

lence et cette déraison; mais maintenant que le dernier lien a été brisé et que c'est le pauvre vieux père, tombé en enfance, qui a été mis en tutelle, il est à prévoir que le Magyarisme complètement émancipé va donner libre cours à toutes ces excentricités et courir les aventures les plus folles. Déjà il a été question de l'incorporation définitive de la Transylvanie. On parle de faire revivre d'anciens droits sur les principautés du Danube et sur la Serbie. On va redoubler de propagande dans tous ces pays-là pour les amener contre la Russie, et quand on y aura mis la confusion partout, on compte bien un beau jour s'y présenter en armes pour revendiquer, au nom de l'Occident lésé dans ses droits, la possession des bouches du Danube et dire à la Russie d'une voix impérieuse: «Tu n'iras pas plus loin.» — Voilà certainement quelques articles du programme qui s'élabore maintenant à Presbourg. L'année dernière tout cela n'était encore que phrases de journal, maintenant cela peut, d'un moment à l'autre, se traduire par des tentatives très sérieuses et très compromettantes. Ce qui paraît néanmoins le plus imminent, c'est un conflit entre la Hongrie et les deux royaumes slaves qui en dépendent. En effet, la Croatie et la Slavonie, ayant prévu que l'affaiblissement de l'autorité légitime à Vienne allait les livrer infailliblement à la discrétion du Magyarisme, ont, à ce qu'il paraît, obtenu du gouvernement autrichien la promesse d'une organisation séparée pour elles, en y joignant la Dalmatie et la frontière militaire. Cette attitude que ces pays ainsi groupés essaient de prendre vis-à-vis de la Hongrie ne manquera pas d'exaspérer tous les anciens différends et ne tardera pas à y faire éclater une franche guerre civile, et comme l'autorité du gouvernement autrichien se trouvera probablement trop débile

pour s'interposer avec quelque chance de succès entre les combattants, les Slaves de la Hongrie qui sont les plus faibles succomberaient probablement dans la lutte sans une circonstance qui doit tôt ou tard leur venir incessamment en aide : c'est que l'ennemi qu'ils ont à combattre est avant tout l'ennemi de la Russie, et c'est qu'aussi sur toute cette frontière militaire, composée aux trois quarts de Serbes orthodoxes, il n'y a pas une cabane de colon (au dire même des voyageurs autrichiens) où, à côté du portrait de l'empereur d'Autriche, l'on ne découvre le portrait d'un autre Empereur que ces races fidèles s'obstinent à considérer comme le seul légitime. D'ailleurs (pourquoi se le dissimuler) il est peu probable que toutes ces secousses de tremblement de terre qui bouleversent l'Occident s'arrêtent au seuil des pays d'Orient; et comment pourrait-il se faire que dans cette guerre à outrance, dans cette croisade d'impiété que la Révolution, déjà maîtresse des trois quarts de l'Europe Occidentale, prépare à la Russie, l'Orient Chrétien, l'Orient Slave-Orthodoxe, lui dont la vie est indissolublement liée à la nôtre, ne se trouvât entraîné dans la lutte à notre suite, et c'est peut-être même par lui que la guerre commencera : car il est à prévoir que toutes ces propagandes qui le travaillaient déjà, propagande catholique, propagande révolutionnaire, etc., etc... toutes opposées entre elles, mais réunies dans un sentiment de haine commune contre la Russie, vont maintenant se mettre à l'œuvre avec plus d'ardeur que jamais. On peut être certain qu'elles ne reculeront devant rien pour arriver à leurs fins... Et quel serait, juste Ciel ! le sort de toutes ces populations chrétiennes comme nous, si, en butte, comme elles le sont déjà, à toutes ces influences abominables, si la seule autorité qu'elles invoquent dans

leurs prières venait à leur faire défaut, dans un pareil moment? — En un mot, quelle ne serait pas l'horrible confusion où tomberaient ces pays d'Orient aux prises avec la Révolution, si le légitime Souverain, si l'Empereur Orthodoxe d'Orient tardait encore longtemps à y apparaître!

Non, c'est impossible. Des pressentiments de mille ans ne trompent point. La Russie, pays de foi, ne manquera pas de foi dans le moment suprême. Elle ne s'effraiera pas de la grandeur de ses destinées et ne reculera pas devant sa mission.

Et quand donc cette mission a-t-elle été plus claire et plus évidente? On peut dire que Dieu l'a écrit en traits de feu sur ce Ciel tout noir de tempêtes. L'Occident s'en va, tout croule, tout s'abîme dans une conflagration générale, l'Europe de Charlemagne aussi bien que l'Europe des traités de 1815; la papauté de Rome et toutes les royautés de l'Occident; le Catholicisme et le Protestantisme; la foi depuis longtemps perdue et la raison réduite à l'absurde; l'ordre désormais impossible, la liberté désormais impossible, et sur toutes ces ruines amoncelées par elle, la civilisation se suicidant de ses propres mains...

Et lorsque au-dessus de cet immense naufrage nous voyons comme une Arche Sainte surnager cet Empire plus immense encore, qui donc pourrait douter de sa mission, et serait-ce à nous, ses enfants, à nous montrer sceptiques et pusillanimes?.....

12 avril 1848.

III.

La question Romaine.

Si, parmi les questions du jour ou plutôt du siècle, il en est une qui résume et concentre comme dans un foyer toutes les anomalies, toutes les contradictions et toutes les impossibilités contre lesquelles se débat l'Europe occidentale, c'est assurément la question romaine.

Et il n'en pouvait être autrement, grâce à cette inexorable logique que Dieu a mise, comme une justice cachée, dans les événements de ce monde. La profonde et irréconciliable scission qui travaille depuis des siècles l'Occident, devait trouver enfin son expression suprême, elle devait pénétrer jusqu'à la racine de l'arbre. Or, c'est un titre de gloire que personne ne contestera à Rome : elle est encore de nos jours, comme elle l'a toujours été, la racine du monde occidental. Il est douteux toutefois, malgré la vive préoccupation que cette question suscite, qu'on se soit rendu un compte exact de tout ce qu'elle contient.

Ce qui contribue probablement à donner le change sur la nature et sur la portée de la question telle qu'elle vient de

se poser, c'est d'abord la fausse analogie de ce que nous avons vu arriver à Rome avec certains antécédents de ses révolutions antérieures; c'est aussi la solidarité très réelle qui rattache le mouvement actuel de Rome au mouvement général de la révolution européenne. Toutes ces circonstances accessoires, qui paraissent expliquer au premier abord la question romaine, ne servent en réalité qu'à en dissimuler la profondeur.

Non, certes, ce n'est pas là une question comme une autre — car non-seulement elle touche à tout dans l'Occident, mais on peut même dire qu'elle le déborde.

On ne serait assurément pas accusé de soutenir un paradoxe ou d'avancer une calomnie en affirmant qu'à l'heure qu'il est, tout ce qui reste encore de Christianisme positif à l'Occident, se rattache, soit explicitement, soit par des affinités plus ou moins avouées, au Catholicisme Romain dont la Papauté, telle que les siècles l'ont faite, est évidemment la clef de voûte et la condition d'existence.

Le Protestantisme avec ses nombreuses ramifications, après avoir fourni à peine une carrière de trois siècles, se meurt de décrépitude dans tous les pays où il avait régné jusqu'à présent, l'Angleterre seule exceptée; — ou s'il révèle encore quelques éléments de vie, ces éléments aspirent à rejoindre Rome. Quant aux doctrines religieuses qui se produisent en dehors de toute communauté avec l'un ou l'autre de ces deux symboles, ce ne sont évidemment que des opinions individuelles.

En un mot: la Papauté — telle est la colonne unique qui soutient tant bien que mal en Occident tout ce pan de l'édifice chrétien resté debout après la grande ruine du seizième siècle et les écroulements successifs qui ont eu lieu

depuis. Maintenant c'est cette colonne que l'on se dispose à attaquer par sa base.

Nous connaissons fort bien toutes les banalités, tant de la presse quotidienne que du langage officiel de certains gouvernements, dont on a l'habitude de se servir pour masquer la réalité : On ne veut pas toucher à l'institution religieuse de la Papauté, — on est à genoux devant elle, — on la respecte, on la maintiendra; — on ne conteste même pas à la Papauté son autorité temporelle, — on prétend seulement en modifier l'exercice. On ne lui demandera que des concessions reconnues indispensables et on ne lui imposera que des réformes parfaitement légitimes. Il y a dans tout ceci passablement de mauvaise foi et surabondamment d'illusions.

Il y a certainement de la mauvaise foi, même de la part des plus candides, à faire semblant de croire que des réformes sérieuses et sincères, introduites dans le régime actuel de l'Etat Romain, puissent ne pas aboutir dans un temps donné à une sécularisation complète de cet Etat.

Mais la question n'est même pas là : la véritable question est de savoir au profit de qui se ferait cette sécularisation, c'est-à-dire quels seront : la nature, l'esprit et les tendances du pouvoir auquel vous remettriez l'autorité temporelle après en avoir dépoûillé la Papauté? — Car, vous ne sauriez vous le dissimuler, c'est sous la tutelle de ce nouveau pouvoir que la Papauté serait désormais appelée à vivre.

Et c'est ici que les illusions abondent. Nous connaissons le fétichisme des Occidentaux pour tout ce qui est forme, formule et mécanisme politique. Ce fétichisme est devenu comme une dernière religion de l'Occident; mais, à moins d'avoir les yeux et l'esprit complètement fermés et scellés à toute expérience comme à toute évidence, comment, après

ce qui vient de se passer, parviendrait-on encore à se persuader que dans l'état actuel de l'Europe, de l'Italie, de Rome, les institutions libérales ou semi-libérales que vous aurez imposées au Pape resteraient longtemps aux mains de cette opinion moyenne, modérée, mitigée, telle que vous vous plaisez à la rêver dans l'intérêt de votre thèse, qu'elles ne seraient point promptement envahies par la révolution et transformées aussitôt en machines de guerre pour battre en brèche, non pas seulement la souveraineté temporelle du Pape, mais bien l'institution religieuse elle-même. Car vous auriez beau recommander au principe révolutionnaire, comme l'Eternel à Satan, de ne molester que le corps du fidèle Job, sans toucher à son âme, soyez bien convaincus que la révolution, moins scrupuleuse que l'ange des ténèbres, ne tiendrait nul compte de vos injonctions.

Toute illusion, toute méprise à cet égard sont impossibles pour qui a bien réellement compris ce qui fait le fond du débat qui s'agite en Occident — ce qui en est devenu depuis des siècles la vie même; vie anormale mais réelle, maladie qui ne date pas d'hier et qui est toujours encore en voie de progrès. Et s'il se rencontre si peu d'hommes qui ont le sentiment de cette situation, cela prouve seulement que la maladie est déjà bien avancée.

Nul doute, quant à la question romaine, que la plupart des intérêts qui réclament des réformes et des concessions de la part du Pape sont des intérêts honnêtes, légitimes et sans arrière-pensée; qu'une satisfaction leur est due et que même elle ne saurait leur être plus longtemps refusée. Mais telle est l'incroyable fatalité de la situation, que ces intérêts d'une nature toute locale et d'une valeur comparativement médiocre dominant et compromettent une question immense.

Ce sont de modestes et inoffensives habitations de particuliers situées de telle sorte qu'elles commandent une place de guerre et, malheureusement, l'ennemi est aux portes.

Car encore une fois la sécularisation de l'Etat romain est au bout de toute réforme sincère et sérieuse qu'on voudrait y introduire, et d'autre part la sécularisation dans les circonstances présentes ne serait qu'un désarmement devant l'ennemi — une capitulation....

Eh bien, qu'est-ce à dire? que la question romaine posée dans ces termes est tout bonnement un labyrinthe sans issue; que l'institution papale par le développement d'un vice caché en est arrivée après une durée de quelques siècles à cette période de l'existence où la vie, comme on l'a dit, ne se faisait plus sentir que par une difficulté d'être? Que Rome qui a fait l'Occident à son image se trouve comme lui acculée à une impossibilité? Nous ne disons pas le contraire....

Et c'est ici qu'éclate visible comme le soleil cette logique providentielle qui régit comme une loi intérieure les événements de ce monde.

Huit siècles seront bientôt révolus depuis le jour où Rome a brisé le dernier lien qui la rattachait à la tradition orthodoxe de l'Eglise universelle. — Ce jour-là Rome en se faisant une destinée à part a décidé pour des siècles de celle de l'Occident.

On connaît généralement les différences dogmatiques qui séparent Rome de l'Eglise orthodoxe. Au point de vue de la raison humaine cette différence, tout en motivant la séparation, n'explique pas suffisamment l'abîme qui s'est creusé, non pas entre les deux Eglises — puisque l'Eglise est Une et Universelle — mais entre les deux mondes, les deux huma-

nités pour ainsi dire qui ont suivi ces deux drapeaux différents.

Elle n'explique pas suffisamment comment ce qui a dévié alors, a dû de toute nécessité aboutir au terme où nous le voyons arriver aujourd'hui.

Jésus-Christ avait dit : « Mon Royaume n'est pas de ce monde » ; — eh bien, il s'agit de comprendre comment Rome, après s'être séparée de l'Unité, s'est cru le droit, dans un intérêt qu'elle a identifié avec l'intérêt même du christianisme, d'organiser un Royaume du Christ comme un royaume du monde.

Il est très difficile, nous le savons bien, dans les idées de l'Occident de donner à cette parole sa signification légitime ; on sera toujours tenté de l'expliquer, non pas dans le sens orthodoxe, mais dans un sens protestant. Or, il y a entre ces deux sens la distance qui sépare ce qui est divin de ce qui est humain. Mais pour être séparée par cette incommensurable distance, la doctrine orthodoxe, il faut le reconnaître, n'est guère plus rapprochée de celle de Rome — et voici pourquoi :

Rome, il est vrai, n'a pas fait comme le Protestantisme, elle n'a point supprimé le centre chrétien qui est l'Eglise, au profit du moi humain — mais elle l'a absorbé dans le moi romain. — Elle n'a point nié la tradition, elle s'est contentée de la confisquer à son profit. Mais usurper sur ce qui est divin n'est-ce pas aussi le nier?... Et voilà ce qui établit cette redoutable mais incontestable solidarité qui rattache à travers les temps l'origine du Protestantisme aux usurpations de Rome. Car l'usurpation a cela de particulier que non-seulement elle suscite la révolte, mais crée encore à son profit une apparence de droit.

Aussi l'école révolutionnaire moderne ne s'y est-elle pas trompée. La révolution, qui n'est que l'apothéose de ce même moi humain arrivé à son entier et plein épanouissement, n'a pas manqué de reconnaître pour siens et de saluer comme ses deux glorieux maîtres Luther aussi bien que Grégoire VII. La voix du sang lui a parlé et elle a adopté l'un en dépit de ses croyances chrétiennes comme elle a presque canonisé l'autre, tout pape qu'il était.

Mais si le rapport évident qui lie les trois termes de cette série est le fond même de la vie historique de l'Occident, il est tout aussi incontestable qu'on ne saurait lui assigner d'autre point de départ que cette altération profonde que Rome a fait subir au principe chrétien par l'organisation qu'elle lui a imposée.

Pendant des siècles l'Eglise d'Occident, sous les auspices de Rome, avait presque entièrement perdu le caractère que la loi de son origine lui assignait. Elle avait cessé d'être au milieu de la grande société humaine une société de fidèles librement réunie en esprit et en vérité sous la loi du Christ. Elle était devenue une institution, une puissance politique — un Etat dans l'Etat. A vrai dire, pendant la durée du moyen-âge, l'Eglise en Occident n'était autre chose qu'une colonie romaine établie dans un pays conquis.

C'est cette organisation qui, en rattachant l'Eglise à la glèbe des intérêts terrestres, lui avait fait, pour ainsi dire, des destinées mortelles. En incarnant l'élément divin dans un corps infirme et périssable, elle lui a fait contracter toutes les infirmités comme tous les appétits de la chair. De cette organisation est sortie pour l'Eglise romaine, par une fatalité providentielle — la nécessité de la guerre, de la guerre matérielle, nécessité qui, pour une institution comme

l'Eglise, équivalait à une condamnation absolue. De cette organisation sont nés ce conflit de prétentions et cette rivalité d'intérêts qui devaient forcément aboutir à une lutte acharnée entre le Sacerdoce et l'Empire — à ce duel vraiment impie et sacrilège qui en se prolongeant à travers tout le moyen-âge a blessé à mort en Occident le principe même de l'autorité.

De là tant d'excès, de violences, d'énormités accumulés pendant des siècles pour étayer ce pouvoir matériel dont Rome ne croyait pas pouvoir se passer pour sauvegarder l'Unité de l'Eglise et qui néanmoins ont fini, comme ils devaient finir, par briser en éclats cette Unité prétendue. Car, on ne saurait le nier, l'explosion de la Réforme au seizième siècle n'a été dans son origine que la réaction du sentiment chrétien trop longtemps froissé, contre l'autorité d'une Eglise qui sous beaucoup de rapports ne l'était plus que de nom. — Mais comme depuis des siècles Rome s'était soigneusement interposée entre l'Eglise universelle et l'Occident, les chefs de la Réforme, au lieu de porter leurs griefs au tribunal de l'autorité légitime et compétente, aimèrent mieux en appeler au jugement de la conscience individuelle — c'est-à-dire qu'ils se firent juges dans leur propre cause.

Voilà l'écueil sur lequel la réforme du seizième siècle est venue échouer. Telle est, n'en déplaise à la sagesse des docteurs de l'Occident, la véritable et la seule cause qui a fait dévier ce mouvement de la réforme—chrétien à son origine, jusqu'à la faire aboutir à la négation de l'autorité de l'Eglise et, par suite, du principe même de toute autorité. Et c'est par cette brèche, que le Protestantisme a ouverte pour ainsi dire à son insu, que le principe anti-chrétien a fait plus tard irruption dans la société de l'Occident.

Ce résultat était inévitable, car le moi humain livré à lui-même est anti-chrétien par essence. La révolte, l'usurpation du moi ne datent pas assurément des trois derniers siècles, mais ce qui alors était nouveau, ce qui se produisait pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, c'était de voir cette révolte, cette usurpation élevées à la dignité d'un principe et s'exerçant à titre d'un droit essentiellement inhérent à la personnalité humaine.

Il ne fallait pas moins que la venue au monde du Christianisme pour inspirer à l'homme des prétentions aussi altières, comme il ne fallait pas moins que la présence du souverain légitime pour rendre la révolte complète et l'usurpation flagrante.

Depuis ces trois derniers siècles la vie historique de l'Occident n'a donc été, et n'a pu être, qu'une guerre incessante, un assaut continuel livré à tout ce qu'il y avait d'éléments chrétiens dans la composition de l'ancienne société occidentale. Ce travail de démolition a été long, car avant de pouvoir s'attaquer aux institutions il avait fallu détruire ce qui en faisait le ciment : c'est-à-dire les croyances.

Ce qui fait de la première révolution française une date à jamais mémorable dans l'histoire du monde, c'est qu'elle a inauguré pour ainsi dire l'avènement de l'idée anti-chrétienne aux gouvernements de la société politique.

Que cette idée est le caractère propre et comme l'âme elle-même de la Révolution, il suffit, pour s'en convaincre, d'examiner quel est son dogme essentiel, — le dogme nouveau qu'elle a apporté au monde. C'est évidemment le dogme de la souveraineté du peuple. Or, qu'est-ce que la souveraineté du peuple, sinon celle du moi humain multiplié par le nombre — c'est-à-dire appuyé sur la force ? Tout ce qui n'est

pas ce principe n'est plus la révolution et ne saurait avoir qu'une valeur purement relative et contingente. Voilà pourquoi, soit dit en passant, rien n'est plus niais, ou plus perfide que d'attribuer aux institutions politiques que la Révolution a créées, une autre valeur que celle-là. Ce sont des machines de guerre admirablement appropriées à l'usage pour lequel elles ont été faites, mais qui en dehors de cette destination ne sauraient jamais, dans une société régulière, trouver d'emploi convenable.

La Révolution d'ailleurs a pris soin elle-même de ne nous laisser aucun doute sur sa véritable nature en formulant ainsi ses rapports vis-à-vis du christianisme: «l'Etat comme tel n'a point de religion». — Car tel est le Crédo de l'Etat moderne.

Voilà, à vrai dire, la grande nouveauté que la Révolution a apportée au monde. Voilà son œuvre propre, essentielle — un fait sans antécédents dans l'histoire des sociétés humaines.

C'était la première fois qu'une société politique acceptait pour la régir un Etat parfaitement étranger à toute sanction supérieure à l'homme; un Etat qui déclarait qu'il n'avait point d'âme ou que s'il en avait une, cette âme n'était point religieuse. — Car, qui ne sait que même dans l'antiquité païenne, dans tout ce monde de l'autre côté de la croix, placé sous l'empire de la tradition universelle que le paganisme a bien pu défigurer mais sans l'interrompre, — la cité, l'Etat, étaient avant tout une institution religieuse. C'était comme un fragment détaché de la tradition universelle qui en s'incarnant dans une société particulière se constituait comme un centre indépendant. C'était pour ainsi dire de la religion localisée, matérialisée.

Nous savons fort bien que cette prétendue neutralité en

matière religieuse n'est pas une chose sérieuse de la part de la Révolution. Elle-même connaît trop bien la nature de son adversaire pour ne pas savoir que vis-à-vis de lui la neutralité est impossible: «Qui n'est pas pour moi est contre moi». En effet, pour offrir la neutralité au christianisme il faut déjà avoir cessé d'être chrétien. Le sophisme de la doctrine moderne échoue ici contre la nature toute-puissante des choses. Pour que cette prétendue neutralité eût un sens, pour qu'elle fût autre chose qu'un mensonge et un piège, il faudrait de toute nécessité que l'Etat moderne consentit à se dépouiller de tout caractère d'autorité morale, qu'il se résignât à n'être qu'une simple institution de police, un simple fait matériel, incapable par nature d'exprimer une idée morale quelconque. — Soutiendra-t-on sérieusement que la Révolution accepte pour l'Etat qu'elle a créé et qui la représente une condition semblable, non-seulement humble, mais impossible?... Elle l'accepte si peu que d'après sa doctrine bien connue elle ne fait dériver l'incompétence de la loi moderne en matière religieuse que de la conviction où elle est que la morale, dépouillée de toute sanction surnaturelle, suffit aux destinées de la société humaine. Cette proposition peut être vraie ou fausse, mais cette proposition, on l'avouera, est toute une doctrine, et, pour tout homme de bonne foi, une doctrine qui équivaut à la négation la plus complète de la vérité chrétienne.

Aussi, en dépit de cette prétendue incompétence et de sa neutralité constitutionnelle en matière de religion, nous voyons que partout où l'Etat moderne s'est établi, il n'a pas manqué de réclamer et d'exercer vis-à-vis de l'Eglise la même autorité et les mêmes droits que ceux qui avaient appartenu aux anciens pouvoirs. Ainsi en France, par exemple, dans

ce pays de logique par excellence, la loi a beau déclarer que l'Etat comme tel n'a point de religion, celui-ci, dans ses rapports à l'égard de l'Eglise catholique, n'en persiste pas moins à se considérer comme l'héritier parfaitement légitime du Roi très-chrétien, — du fils aîné de cette Eglise.

Rétablissons donc la vérité des faits. L'Etat moderne ne proscriit les religions d'Etat que parce qu'il a la sienne — et cette religion c'est la Révolution. Maintenant, pour en revenir à la question romaine, on comprendra sans peine la position impossible que l'on prétend faire à la Papauté en l'obligeant à accepter pour sa souveraineté temporelle les conditions de l'Etat moderne. La Papauté sait fort bien quelle est la nature du principe dont il relève. Elle le comprend d'instinct, la conscience chrétienne du prêtre dans le Pape l'en avertirait au besoin. Entre la Papauté et ce principe il n'y a point de transaction possible; car ici une transaction ne serait pas une pure concession de pouvoir, ce serait tout bonnement une apostasie. — Mais, dira-t-on, pourquoi le Pape n'accepterait-il pas les institutions sans le principe? — C'est encore là une des illusions de cette opinion soi-disant modérée, qui se croit éminemment raisonnable et qui n'est qu'inintelligente. Comme si des institutions pouvaient se séparer du principe qui les a créées et qui les fait vivre... Comme si le matériel d'institutions privées de leur âme était autre chose qu'un attirail mort et sans utilité — un véritable encombrement. D'ailleurs les institutions politiques ont toujours en définitive la signification que leur attribuent, non pas ceux qui les donnent, mais ceux qui les obtiennent — surtout quand ils vous les imposent.

Si le Pape n'eût été que prêtre, c'est-à-dire si la Papauté fût restée fidèle à son origine, la Révolution n'aurait eu

aucune prise sur elle, car la persécution n'en est pas une. Mais c'est l'élément mortel et périssable qu'elle s'est identifié qui la rend maintenant accessible à ses coups. C'est là le gage que depuis des siècles la Papauté romaine a donné par avance à la Révolution.

Et c'est ici, comme nous l'avons dit, que la logique souveraine de l'action providentielle s'est manifestée avec éclat. De toutes les institutions que la Papauté a enfantées depuis sa séparation d'avec l'Eglise Orthodoxe, celle qui a le plus profondément marqué cette séparation, qui l'a le plus aggravée, le plus consolidée, c'est sans nul doute la souveraineté temporelle du Pape. Et c'est précisément contre cette institution que nous voyons la Papauté venir se heurter aujourd'hui.

Depuis longtemps assurément le monde n'avait rien eu de comparable au spectacle qu'a offert la malheureuse Italie pendant les derniers temps qui ont précédé ses nouveaux désastres. Depuis longtemps nulle situation, nul fait historique n'avaient eu cette physionomie étrange. Il arrive parfois que des individus à la veille de quelque grand malheur se trouvent, sans motif apparent, subitement pris d'un accès de gaieté frénétique, d'hilarité furieuse — eh bien, ici c'est un peuple tout entier qui a été tout à coup saisi d'un accès de cette nature. Et cette fièvre, ce délire s'est soutenu, s'est propagé pendant des mois. Il y a eu un moment où il avait enlacé comme d'une chaîne électrique toutes les classes, toutes les conditions de la société et ce délire si intense, si général, avait adopté pour mot d'ordre le nom d'un Pape!...

Que de fois le pauvre prêtre chrétien au fond de sa retraite n'a-t-il pas dû frémir au bruit de cette orgie dont on le faisait le dieu! Que de fois ces vociférations d'amour, ces

convulsions d'enthousiasme n'ont-elles pas dû porter la consternation et le doute dans l'âme de ce chrétien livré en proie à cette effrayante popularité!

Ce qui surtout devait le consterner, lui, le Pape, c'est qu'au fond de cette popularité immense, à travers toute cette exaltation des masses, quelque effrénée qu'elle fût, il ne pouvait méconnaître un calcul et une arrière-pensée.

C'était la première fois que l'on affectait d'adorer le Pape en le séparant de la Papauté. Ce n'est pas assez dire: tous ces hommages, toutes ces adorations ne s'adressaient à l'homme que parce que l'on espérait trouver en lui un complice contre l'institution. En un mot, on voulait fêter le Pape en faisant un feu de joie de la Papauté. Et ce qu'il y avait de particulièrement redoutable dans cette situation, c'est que ce calcul, cette arrière-pensée n'étaient pas seulement dans l'intention des partis, ils se retrouvaient aussi dans le sentiment instinctif des masses. Et rien assurément ne pouvait mieux mettre à nu toute la fausseté et toute l'hypocrisie de la situation que de voir l'apothéose décernée au chef de l'Eglise Catholique, au moment même où la persécution se déchaînait plus ardente que jamais contre l'ordre des Jésuites.

L'institution des Jésuites sera toujours un problème pour l'Occident. C'est encore là une de ces énigmes dont la clef est ailleurs. On peut dire avec vérité que la question des Jésuites tient de trop près à la conscience religieuse de l'Occident pour qu'il puisse jamais la résoudre d'une manière entièrement satisfaisante.

En parlant des jésuites, en cherchant à les soumettre à une appréciation équitable, il faut commencer par mettre hors de cause tous ceux (et leur nom est légion) pour qui

le mot de jésuite n'est plus qu'un mot de passe, un cri de guerre. Certes, de toutes les apologies que l'on a essayées en faveur de cet ordre, il n'en est pas de plus éloquente, de plus convaincante que la haine, cette haine furieuse et implacable que lui ont vouée tous les ennemis de la Religion Chrétienne. Mais, ceci admis, on ne saurait se dissimuler que bien des catholiques romains les plus sincères, les plus dévoués à leur Eglise, depuis Pascal jusqu'à nos jours, n'ont censé de génération en génération de nourrir une antipathie déclarée, insurmontable, contre cette institution. Cette disposition d'esprit dans une fraction considérable du monde catholique constitue peut-être une des situations les plus réellement saisissantes et les plus tragiques où il soit donné à l'âme humaine de se trouver placée.

En effet, que peut-on imaginer de plus profondément tragique que le combat qui doit se livrer dans le cœur de l'homme, lorsque, partagé entre le sentiment de la vénération religieuse, de ce sentiment de piété plus que filiale, et une odieuse évidence, il s'efforce de récuser, de refouler le témoignage de sa propre conscience plutôt que de s'avouer la solidarité réelle et incontestable qui lie l'objet de son culte à celui de son aversion. — Et cependant telle est la situation de tout catholique fidèle qui aveuglé par son inimitié contre les jésuites cherche à se dissimuler un fait d'une éclatante évidence, à savoir: la profonde, l'intime solidarité qui lie cet ordre, ses tendances, ses doctrines, ses destinées, aux tendances, aux doctrines, aux destinées de l'Eglise romaine et l'impossibilité absolue de les séparer l'un de l'autre, sans qu'il en résulte une lésion organique et une mutilation évidente. Car si, en se dégageant de toute prévention, de toute préoccupation de parti, de secte et même de nationalité,

l'esprit appliqué à l'impartialité la plus absolue et le cœur rempli de charité chrétienne, on se place en présence de l'histoire et de la réalité et que, après les avoir interrogées l'une et l'autre, on se pose de bonne foi cette question : Qu'est-ce que les jésuites? voici, nous pensons, la réponse que l'on se fera : Les jésuites sont des hommes pleins d'un zèle ardent, infatigable, souvent héroïque, pour la cause chrétienne et qui pourtant se sont rendus coupables d'un bien grand crime vis-à-vis du christianisme; — c'est que, dominés par le moi humain, non pas comme individus mais comme ordre, ils ont cru la cause chrétienne tellement liée à la leur propre — ils ont dans l'ardeur de la poursuite et dans l'émotion du combat si complètement oublié cette parole du Maître : «Que Ta volonté soit faite et non pas la mienne!» — qu'ils ont fini par rechercher la victoire de Dieu à tout prix, sauf celui de leur satisfaction personnelle. Or, cette erreur, qui a sa racine dans la corruption originelle de l'homme et qui a été d'une portée incalculable dans ses conséquences pour les intérêts du christianisme, n'est pas, tant s'en faut, un fait particulier à la Société de Jésus. Cette erreur, cette tendance, lui est si bien commune avec l'Eglise de Rome elle-même que l'on pourrait à bon droit dire que c'est elle qui les rattache l'une à l'autre par une affinité vraiment organique, par un véritable lien du sang. C'est cette communauté, cette identité de tendances qui fait de l'Institut des jésuites l'expression concentrée mais littéralement fidèle du catholicisme romain; qui fait pour tout dire que c'est le catholicisme romain lui-même, mais à l'état d'action, à l'état militant.

Et voilà pourquoi cet ordre : *«ballotté d'âge en âge»* à travers les persécutions et le triomphe, l'outrage et l'apo-

théose, n'a jamais trouvé, et ne saurait trouver, en Occident, ni des convictions religieuses suffisamment désintéressées dans sa cause pour pouvoir l'apprécier, ni une autorité religieuse compétente pour le juger. Une fraction de la société occidentale, celle qui a résolûment rompu avec le principe chrétien, ne s'attaque aux jésuites que pour pouvoir à convert de leur impopularité mieux assurer les coups qu'elle adresse à son véritable ennemi. Quant à ceux des catholiques restés fidèles à Rome qui se sont faits les adversaires de cet ordre, bien qu'individuellement parlant ils puissent comme chrétiens être dans le vrai, toutefois comme catholiques romains ils sont sans armes contre lui, car en l'attaquant ils s'exposeraient toujours au danger de blesser l'Eglise romaine elle-même.

Mais ce n'est pas seulement contre les jésuites, cette force vive du catholicisme, qu'on a cherché à exploiter la popularité moitié factice, moitié sincère dont on avait enveloppé le pape Pie IX. Un autre parti encore comptait aussi sur lui — une autre mission lui était réservée.

Les partisans de l'indépendance nationale espéraient que, sécularisant tout à fait la Papauté au profit de leur cause, celui qui avant tout est prêtre, consentirait à se faire le gonfalonier de la liberté italienne. C'est ainsi que les deux sentiments les plus vivaces et les plus impérieux de l'Italie contemporaine : l'antipathie pour la domination séculière du clergé et la haine traditionnelle de l'étranger, du barbare, de l'Allemand, revendiquaient tous deux, au profit de leur cause, la coopération du Pape. Tout le monde le glorifiait, le déifiait même, mais à la condition qu'il se ferait le serviteur de tout le monde, et cela dans un sens qui n'était nullement celui de l'humilité chrétienne.

Parmi les opinions ou les influences politiques qui venaient ainsi briguer son patronage en lui offrant leur concours, il y en avait une qui avait jeté précédemment quelque éclat parce qu'elle avait eu pour interprètes et pour apôtres quelques hommes d'un talent littéraire peu commun. A en croire les doctrines naïvement ambitieuses de ces théoriciens politiques, l'Italie contemporaine allait sous les auspices du Pontificat romain récupérer la primauté universelle et ressaisir pour la troisième fois le sceptre du monde. C'est-à-dire qu'au moment où l'établissement papal était secoué jusque dans ses fondements, ils proposaient sérieusement au Pape de renchérir encore sur les données du moyen-âge et lui offraient quelque chose comme un Califat chrétien— à la condition, bien entendu, que cette théocratie nouvelle s'exercerait avant tout dans l'intérêt de la nationalité italienne.

On ne saurait, en vérité, assez s'émerveiller de cette tendance vers le chimérique et l'impossible qui domine les esprits de nos jours et qui est un des traits distinctifs de l'époque. Il faut qu'il y ait une affinité réelle entre l'utopie et la Révolution, car chaque fois que celle-ci, un moment infidèle à ses habitudes, veut créer au lieu de détruire, elle tombe infailliblement dans l'utopie. Il est juste de dire que celle à laquelle nous venons de faire allusion est encore une des plus inoffensives.

Enfin vint un moment dans la situation donnée où, l'équivoque n'étant plus possible, la Papauté, pour ressaisir son droit, se vit obligée de rompre en visière aux prétendus amis du Pape. C'est alors que la Révolution jeta à son tour le masque et apparut au monde sous les traits de la république romaine.

Quant à ce parti on le connaît maintenant, on l'a vu à l'œuvre. C'est le véritable, le légitime représentant de la Révolution en Italie. Ce parti-là considère la Papauté comme son ennemi personnel à cause de l'élément chrétien qu'il découvre en elle. Aussi n'en veut-il à aucun prix, pas même pour l'exploiter. Il voudrait tout simplement la supprimer et c'est par un motif semblable qu'il voudrait aussi supprimer tout le passé de l'Italie, toutes les conditions historiques de son existence comme entachées et infectées de catholicisme, se réservant de rattacher, par une pure abstraction révolutionnaire, l'existence du régime qu'il prétend fonder, aux antécédents républicains de l'ancienne Rome.

Eh bien, ce qu'il y a de particulier dans cette brutale utopie, c'est que, quel que soit le caractère profondément anti-historique dont elle est empreinte, elle aussi a sa tradition bien connue dans l'histoire de la civilisation italienne. — Elle n'est après tout que la réminiscence classique de l'ancien monde païen, de la civilisation païenne; — tradition qui a joué un grand rôle dans l'histoire de l'Italie, qui s'est perpétuée à travers tout le passé de ce pays, qui a eu ses représentants, ses héros et même ses martyrs et qui, non contente de dominer presque exclusivement ses arts et sa littérature, a tenté à plusieurs reprises de se constituer politiquement pour s'emparer de la société tout entière. Et, chose remarquable, — chaque fois que cette tradition, cette tendance a essayé de renaître, elle est toujours apparue à la manière des revenants, invariablement attachée à la même localité — à celle de Rome.

Arrivée jusqu'à nos jours, le principe révolutionnaire ne pouvait guère manquer de l'accueillir et de se l'approprier à cause de la pensée anti-chrétienne qui était en elle. Main-

tenant ce parti vient d'être abattu et l'autorité du Pape en apparence restaurée. Mais si quelque chose, il faut en convenir, pouvait encore grossir le trésor de fatalités que cette question romaine renferme, c'était de voir ce double résultat obtenu par une intervention de la France.

Le lieu commun de l'opinion courante au sujet de cette intervention, c'est de n'y voir, comme on le fait assez généralement, qu'un coup de tête ou une maladresse du gouvernement français. Ce qu'il y a de vrai à dire, à ce sujet, c'est que si le gouvernement français, en s'engageant dans cette question insoluble en elle-même, s'est dissimulé qu'elle était plus insoluble pour lui que pour tout autre, cela prouverait seulement de sa part une complète inintelligence tant de sa propre position que de celle de la France.... ce qui d'ailleurs est fort possible, nous en convenons.

En général on s'est trop habitué en Europe, dans ces derniers temps, à résumer l'appréciation que l'on fait des actes ou plutôt des velléités d'action de la politique française par une phrase devenue proverbiale : « La France ne sait ce qu'elle veut ». — Cela peut être vrai, mais pour être parfaitement juste on devrait ajouter : que la France ne peut pas savoir ce qu'elle veut. Car pour y réussir il faut avant tout avoir *Une* volonté — et la France depuis soixante ans est condamnée à en avoir deux.

Et ici il ne s'agit pas de ce désaccord, de cette divergence d'opinions politiques ou autres qui se rencontrent dans tous les pays où la société par la fatalité des circonstances se trouve livrée au gouvernement des partis. Il s'agit d'un fait bien autrement grave ; il s'agit d'un antagonisme permanent, essentiel et à tout jamais insoluble, qui depuis soixante ans constitue, pour ainsi dire, le fond même de la

conscience nationale en France. C'est l'âme de la France qui est divisée.

La Révolution, depuis qu'elle s'est emparée de ce pays, a bien pu le bouleverser, le modifier, l'altérer profondément, mais elle n'a pu, ni ne pourra jamais se l'assimiler entièrement. Elle aura beau faire, il y a des éléments, des principes dans la vie morale de la France qui résisteront toujours — ou du moins aussi longtemps qu'il y aura une France au monde ; tels sont : l'Église catholique avec ses croyances et son enseignement ; — le mariage chrétien et la famille, — et même la propriété. D'autre part, comme il est à prévoir que la Révolution, qui est entrée non-seulement dans le sang, mais dans l'âme même de cette société, ne se décidera jamais à lâcher prise volontairement, et comme dans l'histoire du monde nous ne connaissons pas une formule d'exorcisme applicable à une nation tout entière, il est fort à craindre que l'état de lutte, mais d'une lutte intime et incessante, de scission permanente et pour ainsi dire organique, ne soit devenu pour bien longtemps la condition normale de la nouvelle société française.

Et voilà pourquoi dans ce pays, où nous voyons depuis soixante ans se réaliser cette combinaison d'un Etat révolutionnaire par principe traînant à la remorque une société qui n'est que révolutionnée, le gouvernement, le pouvoir qui tient nécessairement des deux sans parvenir à les concilier, s'y trouve fatalement condamné à une position fausse, précaire, entourée de périls et frappée d'impuissance. Aussi avons-nous vu que depuis cette époque tous les gouvernements en France — moins un, celui de la Convention pendant la Terreur — quelque fût la diversité de leur origine, de leurs doctrines et de leurs tendances, ont eu ceci en com-

mun : c'est que tous, sans excepter même celui du lendemain de Février, ils ont subi la Révolution bien plus qu'ils ne l'ont représentée. Et il n'en pouvait être autrement. Car ce n'est qu'à la condition de lutter contre elle, tout en la subissant, qu'ils ont pu vivre. Mais il est vrai de dire que, jusqu'à présent du moins, ils ont tous péri à la tâche.

Comment donc un pouvoir ainsi fait, aussi peu sûr de son droit, d'une nature aussi indécise, aurait-il eu quelque chance de succès en intervenant dans une question comme l'est cette question romaine ? En se présentant comme médiateur ou comme arbitre entre la Révolution et le Pape, il ne pouvait guère espérer de concilier ce qui est inconciliable par nature. Et d'autre part il ne pouvait donner gain de cause à l'une des parties adverses sans se blesser lui-même, sans renier pour ainsi dire une moitié de lui-même. Ce qu'il pouvait donc obtenir par cette intervention à double tranchant, quelque émoussé qu'il fût, c'était d'embrouiller encore davantage ce qui déjà était inextricable, d'envenimer la plaie en l'irritant. C'est à quoi il a parfaitement réussi.

Maintenant quelle est au vrai la situation du Pape à l'égard de ses sujets ? Et quel est le sort probable réservé aux nouvelles institutions qu'il vient de leur accorder ? — Ici malheureusement les plus tristes prévisions sont seules de droit. C'est le doute qui ne l'est pas.

La situation, — c'est l'ancien état des choses, celui antérieur au règne actuel, celui qui dès lors croulait déjà sous le poids de son impossibilité, mais démesurément aggravé par tout ce qui est arrivé depuis. Au moral, par d'immenses déceptions et d'immenses trahisons ; au matériel, par toutes les ruines accumulées.

On connaît ce cercle vicieux où depuis quarante ans nous

avons vu rouler et se débattre tant de peuples et tant de gouvernements. Des gouvernés n'acceptant les concessions que leur faisait le pouvoir que comme un faible à-compte payé à contre-cœur par un débiteur de mauvaise foi. Des gouvernements qui ne voyaient dans les demandes qu'on leur adressait que les embûches d'un ennemi hypocrite. Eh bien, cette situation, cette réciprocité de mauvais sentiments, détestable et démoralisante partout et toujours, est encore grandement envenimée ici par le caractère particulièrement sacré du pouvoir et par la nature tout exceptionnelle de ses rapports avec ses sujets. Car, encore une fois, dans la situation donnée et sur la pente où l'on se trouve placé, non-seulement par la passion des hommes, mais par la force même des choses, — toute concession, toute réforme, pour peu qu'elle soit sincère et sérieuse, pousse infailliblement l'Etat romain vers une sécularisation complète. La sécularisation, nul n'en doute, est le dernier mot de la situation. Et cependant le Pape, sans droit pour l'accorder même dans les temps ordinaires, puisque la souveraineté temporelle n'est pas son bien, mais celui de l'Eglise de Rome, — pourrait bien moins encore y consentir maintenant qu'il a la certitude que cette sécularisation, lors même qu'elle serait accordée à des nécessités réelles, tournerait en définitive au profit des ennemis jurés, non pas de son pouvoir seulement, mais de l'Eglise elle-même. Y consentir, ce serait se rendre coupable d'apostasie et de trahison tout à la fois. Voici pour le Pouvoir. Pour ce qui est des sujets, il est clair que cette antipathie invétérée contre la domination des prêtres, qui constitue tout l'esprit public de la population romaine, n'aura pas diminué par suite des derniers événements.

Et si d'une part une semblable disposition des esprits suffit à elle seule pour faire avorter les réformes les plus généreuses et les plus loyales, d'autre part l'insuccès de ces réformes ne peut qu'ajouter infiniment à l'irritation générale, confirmer l'opinion dans sa haine pour l'autorité rétablie et — *recruter pour l'ennemi.*

Voilà certes une situation parfaitement déplorable et qui a tous les caractères d'un châtiment providentiel. Car pour un prêtre chrétien quel plus grand malheur peut-on imaginer que celui de se voir ainsi fatalement investi d'un pouvoir qu'il ne peut exercer qu'au détriment des âmes et pour la ruine de la Religion!... Non, en vérité, cette situation est trop violente, trop contre nature pour pouvoir se prolonger. Châtiment ou épreuve, il est impossible que la Papauté romaine reste longtemps encore enfermée dans ce cercle de feu sans que Dieu dans sa miséricorde lui vienne en aide et lui ouvre une voie, une issue merveilleuse, éclatante, inattendue — ou, disons mieux, attendue depuis des siècles.

Peut-être en est-elle séparée encore, elle — la Papauté — et l'Eglise soumise à ses lois, par bien des tribulations et bien des désastres; peut-être n'est-elle encore qu'à l'entrée de ces temps calamiteux. Car ce ne sera pas une petite flamme, ce ne sera pas un incendie de quelques heures que celui qui, en dévorant et réduisant en cendres des siècles entiers de préoccupations mondaines et d'inimitiés anti-chrétiennes, fera enfin crouler devant elle cette fatale barrière qui lui cachait l'issue désirée.

Et comment à la vue de ce qui se passe, en présence de cette organisation nouvelle du principe du mal, la plus savante et la plus formidable que les hommes aient jamais

vue, — en présence de ce monde du mal tout constitué et tout armé, avec son église d'irréligion et son gouvernement de révolte, — comment, disons-nous, serait-il interdit aux chrétiens d'espérer que Dieu daignera proportionner les forces de Son Eglise à Lui, à la nouvelle tâche qu'Il lui assigne? — Qu'à la veille des combats qui se préparent Il daignera lui restituer la plénitude de ses forces, et qu'à cet effet Lui-même, à son heure, viendra, de Sa main miséricordieuse, guérir au flanc de Son Eglise la plaie que la main des hommes y a faite — cette plaie ouverte qui saigne depuis huit cents ans!...

L'Eglise Orthodoxe n'a jamais désespéré de cette guérison. Elle l'attend — elle y compte — non pas avec confiance, mais avec certitude. Comment ce qui est *Un* par principe, ce qui est *Un* dans l'Eternité, ne triompherait-il pas de la désunion dans le temps? En dépit de la séparation de plusieurs siècles et à travers toutes les préventions humaines elle n'a cessé de reconnaître que le principe chrétien n'a jamais péri dans l'Eglise de Rome; qu'il a toujours été plus fort en elle que l'erreur et la passion des hommes, et voilà pourquoi elle a la conviction intime qu'il sera plus fort que tous ses ennemis. Elle sait, de plus, qu'à l'heure qu'il est, comme depuis des siècles, les destinées chrétiennes de l'Occident sont toujours encore entre les mains de l'Eglise de Rome et elle espère qu'au jour de la grande réunion elle lui restituera intact ce dépôt sacré.

Qu'il nous soit permis de rappeler, en finissant, un incident qui se rattache à la visite que l'Empereur de Russie a faite à Rome en 1846. On s'y souviendra peut-être encore de l'émotion générale qui l'a accueilli à son apparition dans

l'église de Saint-Pierre — l'apparition de l'Empereur orthodoxe revenu à Rome après plusieurs siècles d'absence! et du mouvement électrique qui a parcouru la foule lorsqu'on l'a vu aller prier au tombeau des Apôtres. Cette émotion était juste et légitime. L'Empereur prosterné n'y était pas seul. Toute la Russie était là prosternée avec lui. — Espérons qu'il n'aura pas prié en vain devant les saintes reliques.

IV.

Lettre sur la censure en Russie.

Je profite de l'autorisation que vous avez bien voulu me donner, pour vous soumettre quelques réflexions, qui se rattachent à l'objet de notre dernier entretien. Je n'ai assurément pas besoin de vous exprimer encore une fois ma sympathique adhésion à l'idée que vous avez eu la bonté de me communiquer et, dans le cas où on tenterait de la réaliser, de vous assurer de ma sérieuse bonne volonté de la servir de tous mes moyens. Mais c'est précisément pour être mieux à même de le faire que je crois devoir, avant toute chose, m'expliquer franchement vis-à-vis de vous sur ma manière d'envisager la question. Il ne s'agit pas ici, bien entendu, de faire une profession de foi politique. Ce serait une puérilité : de nos jours, en fait d'opinions politiques, tous les gens raisonnables sont à peu près du même avis ; on ne diffère les uns des autres que par le plus ou le moins d'intelligence que l'on apporte à bien reconnaître ce qui est et à bien apprécier ce qui devrait être. C'est sur le plus ou le moins de vérité qui se trouve dans ces appréciations

qu'il s'agirait avant tout de s'entendre. Car s'il est vrai (comme vous l'avez dit, mon prince) qu'un esprit pratique ne saurait vouloir dans une situation donnée que ce qui est réalisable eu égard aux personnes, il est tout aussi vrai qu'il serait peu digne d'un esprit réellement pratique de vouloir une chose quelconque en dehors des conditions naturelles de son existence. Mais, venons au fait. S'il est une vérité, parmi beaucoup d'autres, qui soit sortie, entourée d'une grande évidence, de la sévère expérience des dernières années, c'est assurément celle-ci : il nous a été rudement prouvé qu'on ne saurait imposer aux intelligences une contrainte, une compression trop absolue, trop prolongée, sans qu'il en résulte des dommages graves pour l'organisme social tout entier. Il paraît que tout affaiblissement, toute diminution notable de la vie intellectuelle dans une société tourne nécessairement au profit des appétits matériels et des instincts sordidement égoïstes. Le Pouvoir lui-même n'échappe pas à la longue aux inconvénients d'un pareil régime. Un désert, un vide intellectuel immense se fait autour de la sphère où il réside, et la pensée dirigeante, ne trouvant en dehors d'elle-même ni contrôle, ni indication, ni un point d'appui quelconque, finit par se troubler et par s'affaïsser sous son propre poids, avant même que de succomber sous la fatalité des événements. Heureusement cette rude leçon n'a pas été perdue. Le sens droit et la nature bienveillante de l'Empereur régnant ont compris qu'il y avait lieu à se relâcher de la rigueur excessive du système précédent et à rendre aux intelligences l'air qui leur manquait... Eh bien (je le dis avec une entière conviction), pour qui a suivi depuis lors dans son ensemble le travail des esprits, tel qu'il s'est produit dans le mouvement littéraire du pays, il est

impossible de ne pas se féliciter des heureux effets de ce changement de système. Je ne me dissimule pas plus qu'un autre les côtés faibles et parfois même les écarts de la littérature du jour; mais il y a un mérite qu'on ne saurait lui refuser sans injustice, et ce mérite-là est bien réel: c'est que du jour où la liberté de la parole lui a été rendue dans une certaine mesure, elle s'est constamment appliquée à exprimer de son mieux et le plus fidèlement possible la pensée même du pays. A un sentiment très vif de la réalité contemporaine et à un talent souvent fort remarquable de la reproduire, elle a joint une sollicitude non moins vive pour tous les besoins réels, pour tous les intérêts, pour toutes les plaies de la société russe. Comme le pays lui-même, en fait d'améliorations à accomplir, elle ne s'est préoccupée que de celles qui étaient possibles, pratiques et clairement indiquées, sans se laisser envahir par l'utopie, cette maladie si éminemment littéraire. Si dans la guerre qu'elle a faite aux abus elle s'est laissée parfois entraîner à d'évidentes exagérations, on peut dire, en son honneur, que dans son zèle à les combattre elle n'a jamais séparé dans sa pensée les intérêts de l'Autorité Suprême d'avec ceux du pays: tant elle était pénétrée de cette sérieuse et loyale conviction, que faire la guerre aux abus, c'était la faire aux ennemis personnels de l'Empereur... Souvent, de nos jours, de pareils dehors de zèle ont, je le sais bien, recouvert de très mauvais sentiments et servi à dissimuler des tendances qui n'étaient rien moins que loyales; mais, grâce à l'expérience que les hommes de notre âge doivent avoir nécessairement acquise, rien de plus facile que de reconnaître, à la première vue, ces ruses du métier, et le faux dans ce genre ne trompe plus personne.

On peut affirmer qu'à l'heure qu'il est, en Russie il y a deux sentiments dominants et qui se retrouvent presque toujours étroitement associés l'un à l'autre : c'est l'irritation et le dégoût que soulève la persistance des abus, et une religieuse confiance dans les intentions pures, droites et bienveillantes du Souverain.

On est généralement convaincu que personne plus que Lui ne souffre de ces plaies de la Russie et n'en désire plus énergiquement la guérison ; mais nulle part peut-être cette conviction n'est aussi vive et aussi entière que précisément dans la classe des hommes de lettres, et c'est remplir le devoir d'un homme d'honneur, que de saisir toutes les occasions pour proclamer bien haut qu'il n'y a pas peut-être en ce moment de classe de la société qui soit plus pieusement dévouée que celle-ci à la Personne de l'Empereur.

Ces appréciations (je ne le cache pas) pourraient bien rencontrer plus d'un incrédule dans quelques régions de notre monde officiel. C'est que de tout temps il y a eu dans ce monde-là comme un parti pris de défiance et de mauvaise humeur, et cela s'explique fort bien par la spécialité du point de vue. Il y a des hommes qui ne connaissent de la littérature que ce que la police des grandes villes connaît du peuple qu'elle surveille, c'est-à-dire les incongruités et les désordres auxquels le bon peuple se laisse parfois entraîner.

Non, quoi qu'on en dise, le gouvernement jusqu'à présent n'a pas eu lieu de se repentir d'avoir mitigé en faveur de la presse les rigueurs du régime que pesait sur elle. Mais dans cette question de la presse, était-ce là tout ce qu'il y avait à faire, et en présence de ce travail des esprits plus libre et à mesure que le mouvement littéraire ira gran-

dissant, l'utilité et la nécessité d'une direction supérieure ne se fera-t-elle pas sentir tous les jours davantage? La censure à elle seule, de quelque manière qu'elle s'exerce, est loin de suffire aux exigences de cette situation nouvelle. La censure est une borne et n'est pas une direction. Or, chez nous, en littérature comme en toute chose, il s'agit bien moins de réprimer que de diriger. La direction, une direction forte, intelligente, sûre d'elle-même, voilà le cri du pays, voilà le mot d'ordre de notre situation tout entière.

On se plaint souvent de l'esprit d'indocilité et d'insubordination qui caractérise les hommes de la génération nouvelle. Il y a beaucoup de malentendu dans cette accusation. Ce qui est certain c'est qu'à aucune autre époque il n'y a eu autant d'intelligences actives à l'état de disponibilité et rongeur comme un frein l'inertie qui leur est imposée. Mais ces mêmes intelligences, parmi lesquelles se recrutent les ennemis du Pouvoir, bien souvent ne demandent pas mieux que de le suivre, du moment qu'il veut bien se prêter à les associer à son action et à marcher résolument à leur tête. C'est cette vérité d'expérience, enfin reconnue, qui, depuis les dernières crises révolutionnaires en Europe, a beaucoup contribué dans les différents pays à modifier sensiblement les rapports du Pouvoir avec la presse. Et ici, mon prince, je me permettrai de rappeler, à l'appui de ma thèse, le témoignage de vos propres souvenirs.

Vous, qui avez connu comme moi l'Allemagne d'avant 1848, vous devez vous rappeler quelle était l'attitude de la presse d'alors vis-à-vis des gouvernements allemands, quelle aigreur, quelle hostilité caractérisait ses rapports avec eux, que de tracasseries et de soucis elle leur suscitait.

Eh bien, comment se fait-il que maintenant ces disposi-

tions haineuses aient en grande partie disparu et aient fait place à des dispositions essentiellement différentes?

C'est qu'aujourd'hui ces mêmes gouvernements, qui considéraient la presse comme un mal nécessaire qu'ils étaient obligés de subir tout en le détestant, ont pris le parti de chercher en elle une force auxiliaire et de s'en servir comme d'un instrument approprié à leur usage. Je ne cite cet exemple que pour prouver que dans des pays déjà fortement entamés par la révolution, une direction intelligente et énergique trouve toujours des esprits disposés à l'accepter et à la suivre. Car, d'ailleurs, autant que qui que ce soit je hais, quand il s'agit de nos intérêts, toutes ces prétendues analogies que l'on va chercher à l'étranger : presque toujours comprises à demi, elle nous ont fait trop de mal pour que je sois disposé à invoquer leur autorité.

Chez nous, grâce au Ciel, ce ne sont pas absolument les mêmes instincts, les mêmes exigences qu'il s'agirait de satisfaire ; ce sont d'autres convictions, des convictions moins entamées et plus désintéressées qui répondraient à l'appel du Pouvoir.

En effet, malgré les infirmités qui nous affligent et les vices qui nous déforment, il y a encore chez nous dans les âmes (on ne saurait assez le redire) des trésors de bonne volonté intelligente et d'activité d'esprit dévouée qui n'attendent, pour se livrer, que des mains sympathiques, qui sachent les reconnaître et les recueillir. En un mot, s'il est vrai, comme on l'a si souvent dit, que l'Etat a charge d'âmes aussi bien que l'Eglise, nulle part cette vérité n'est plus évidente qu'en Russie, et nulle part aussi (il faut bien le reconnaître) cette mission de l'Etat n'a été plus facile à exercer et à accomplir. C'est donc avec une satisfaction, une adhésion

unanimes, que l'on verrait chez nous le Pouvoir, dans ses rapports avec la presse, assumer sur lui la direction de l'esprit public, sérieusement et loyalement comprise, et revendiquer comme son droit le gouvernement des intelligences.

Mais, mon prince, comme ce n'est pas un article semi-officiel que j'écris en ce moment, et que, dans une lettre toute de confiance et de sincérité, rien ne serait plus ridiculement déplacé que les circonlocutions et les réticences, je tâcherai d'expliquer de mon mieux quelles seraient à mon avis les conditions auxquelles le Pouvoir pourrait prétendre à exercer une pareille action sur les esprits.

D'abord, il faut prendre le pays tel qu'il est dans le moment donné, livré à de très pénibles, de très légitimes préoccupations d'esprit, entre un passé rempli d'enseignements (il est vrai), mais aussi de bien décourageantes expériences, et un avenir tout rempli de problèmes.

Il faudrait ensuite, par rapport à ce pays, se décider à reconnaître ce que les parents, qui voient leurs enfants grandir sous leurs yeux, ont tant de peine à s'avouer, c'est qu'il vient un âge où la pensée aussi est adulte et vent être traitée comme telle. Or, pour conquérir, sur des intelligences arrivées à l'âge de raison, cet ascendant moral, sans lequel on ne saurait prétendre à les diriger, il faudrait avant tout leur donner la certitude que sur toutes les grandes questions, qui préoccupent et passionnent le pays en ce moment, il y a dans les hautes régions du Pouvoir, sinon des solutions toutes prêtes, au moins des convictions fortement arrêtées et un corps de doctrine lié dans toutes ses parties et conséquent à lui-même.

Non, certes, il ne s'agit pas d'autoriser le public à inter-

venir dans les délibérations du conseil de l'Empire, ou d'arrêter de compte à demi avec la presse le programme des mesures du gouvernement. Mais ce qui serait bien essentiel, c'est que le Pouvoir fût lui-même assez convaincu de ses propres idées, assez pénétré de ses propres convictions pour qu'il éprouvât le besoin d'en répandre l'influence au dehors, et de la faire pénétrer, comme un élément de régénération, comme une vie nouvelle, dans l'intimité de la conscience nationale. Ce qui serait essentiel en présence des écrasantes difficultés qui pèsent sur nous, c'est qu'il comprît que sans cette communication intime avec l'âme même du pays, sans le réveil plein et entier de toutes ces énergies morales et intellectuelles, sans leur concours spontané et unanime à l'œuvre commune, le gouvernement, réduit à ses propres forces, ne peut rien, pas plus au dehors qu'au dedans, pas plus pour son salut que pour le nôtre.

En un mot, il faudrait que tous, public et gouvernement, nous ne cessassions de nous dire et de nous répéter que les destinées de la Russie sont comme un vaisseau échoué, que tous les efforts de l'équipage ne réussiront jamais à dégager et que seule la marée montante de la vie nationale parviendra à soulever et à mettre à flot.

Voilà, selon moi, au nom de quel principe et de quel sentiment le Pouvoir pourrait en ce moment avoir prise sur les âmes et sur les intelligences, qu'il pourrait pour ainsi dire les mettre dans sa main et les emporter où bon lui semblerait. Cette bannière-là, elles la suivraient partout.

Inutile de dire que je ne prétends nullement pour cela ériger le gouvernement en prédicateur, le faire monter en chaire et lui faire débiter des sermons devant une assistance silencieuse. C'est son esprit et non sa parole qu'il devrait

mettre dans la propagande loyale qui se ferait sous ses auspices.

Et même, comme la première condition de succès, dès qu'on veut persuader les gens, c'est de se faire écouter d'eux, il est bien entendu que cette propagande de salut, pour se faire accueillir, bien loin de limiter la liberté de discussion, la suppose au contraire aussi franche et aussi sérieuse que les circonstances du pays peuvent la permettre.

Car est-il nécessaire d'insister pour la millième fois sur un fait d'une évidence aussi flagrante que celui-ci : c'est que de nos jours, partout où la liberté de discussion n'existe pas dans une mesure suffisante, là rien n'est possible, mais absolument rien, moralement et intellectuellement parlant. Je sais combien dans ces matières il est difficile (pour ne pas dire impossible) de donner à sa pensée le degré de précision nécessaire. Comment définir par exemple ce que l'on entend par une mesure suffisante de liberté en matière de discussion ? Cette mesure, essentiellement flottante et arbitraire, n'est bien souvent déterminée que par ce qu'il y a de plus intime et de plus individuel dans nos convictions, et il faudrait pour ainsi dire connaître tout l'homme pour savoir au juste le sens qu'il attache aux mots en parlant sur ces questions. Pour ma part, j'ai depuis plus de trente ans suivi, comme tant d'autres, cette insoluble question de la presse dans toutes les vicissitudes de sa destinée, et vous me rendrez la justice de croire, mon prince, qu'après un aussi long temps d'études et d'observations cette question ne saurait être pour moi que l'objet de la plus impartiale et de la plus froide appréciation. Je n'ai donc ni parti pris, ni préventions sur rien de ce qui y a rapport ; je n'ai pas même d'animosité exagérée contre la censure, bien que dans ces dernières

années elle ait pesé sur la Russie comme une véritable calamité publique. Tout en admettant son opportunité et son utilité relative, mon principal grief contre elle, c'est qu'elle est selon moi profondément insuffisante dans le moment actuel dans le sens de nos vrais besoins et de nos vrais intérêts. Au reste la question n'est pas là, elle n'est pas dans la lettre morte des règlements et des instructions qui n'ont de valeur que par l'esprit qui les anime. La question est tout entière dans la manière dont le gouvernement lui-même dans son for intérieur considère ses rapports avec la presse; elle est, pour tout dire, dans la part plus ou moins grande de légitimité qu'il reconnaît au droit de la pensée individuelle.

Et maintenant, pour sortir une bonne fois des généralités et pour serrer de plus près la situation du moment, permettez-moi, mon prince, de vous dire, avec toute la franchise d'une lettre entièrement confidentielle, que tant que le gouvernement chez nous n'aura pas, dans les habitudes de sa pensée, essentiellement modifié sa manière d'envisager les rapports de la presse vis-à-vis de lui, — tant qu'il n'aura pas, pour ainsi dire, coupé court à tout cela, rien de sérieux, rien de réellement efficace ne saurait être tenté avec quelque chance de succès; et l'espoir d'acquérir de l'ascendant sur les esprits, au moyen d'une presse ainsi administrée, ne serait jamais qu'une illusion.

Et cependant il faudrait avoir le courage d'envisager la question telle qu'elle est, telle que les circonstances l'ont faite. Il est impossible que le gouvernement ne se préoccupe très sérieusement d'un fait qui s'est produit depuis quelques années et qui tend à prendre des développements dont personne ne saurait dès à présent prévoir la portée et les con-

séquences. Vous comprenez, mon prince, que je veux parler de l'établissement des presses russes à l'étranger, hors de tout contrôle de notre gouvernement. Le fait assurément est grave, et très grave, et mérite sa plus sérieuse attention. Il serait inutile de chercher à dissimuler les progrès déjà réalisés par cette propagande littéraire. Nous savons qu'à l'heure qu'il est, la Russie est inondée de ces publications, qu'elles sont avidement recherchées, qu'elles passent de main en main, avec une grande facilité de circulation, et qu'elles ont déjà pénétré, sinon dans les masses qui ne lisent pas, au moins dans les couches très inférieures de la société. D'autre part, il faut bien s'avouer qu'à moins d'avoir recours à des mesures positivement vexatoires et tyranniques, il sera bien difficile d'entraver efficacement, soit l'importation et le débit de ces imprimés, soit l'envoi à l'étranger des manuscrits destinés à les alimenter. Eh bien, ayons le courage de reconnaître la vraie portée, la vraie signification de ce fait : c'est tout bonnement la suppression de la censure, mais la suppression de la censure au profit d'une influence mauvaise et ennemie ; et pour être plus en mesure de la combattre, tâchons de nous rendre compte de ce qui fait sa force et de ce qui lui vaut ses succès.

Jusqu'à présent, en fait de presse russe à l'étranger, il ne peut, comme de raison, être question que du journal de Herzen. Quelle est donc la signification de Herzen pour la Russie ? Qui le lit ? Sont-ce par hasard ses utopies socialistes et ses menées révolutionnaires qui le recommandent à son attention ? Mais parmi les hommes de quelque valeur intellectuelle qui le lisent, croit-on qu'il y en ait 2 sur 100 qui prennent au sérieux ses doctrines et ne les considèrent comme une monomanie plus ou moins involontaire, dont il

s'est laissé envahir? Il m'a même été assuré, ces jours-ci, que des hommes qui s'intéressent à son succès l'avaient très sérieusement exhorté à rejeter loin de lui toute cette défroque révolutionnaire, pour ne pas affaiblir l'influence qu'ils voudraient voir acquise à son journal. Cela ne prouve-t-il pas que le journal de Herzen représente pour la Russie toute autre chose que les doctrines professées par l'éditeur? Or, comment se dissimuler que ce qui fait sa force et lui vaut son influence, c'est qu'il représente pour nous la discussion libre dans des conditions mauvaises (il est vrai), dans des conditions de haine et de partialité, mais assez libres néanmoins (pourquoi le nier?) pour admettre au concours d'autres opinions, plus réfléchies, plus modérées et quelques-unes même décidément raisonnables. Et maintenant que nous nous sommes assuré où git le secret de sa force et de son influence, nous ne serons pas en peine, de quelle nature sont les armes que nous devons employer pour le combattre. Il est évident que le journal qui accepterait une pareille mission ne pourrait rencontrer des chances de succès que dans des conditions d'existence quelque peu analogues à celles de son adversaire. C'est à vous, mon prince, de décider, dans votre bienveillante sagesse, si dans la situation donnée, et que vous connaissez mieux que moi, de pareilles conditions sont réalisables, et jusqu'à quel point elles le sont. Assurément ni les talents, ni le zèle, ni les convictions sincères ne manqueraient à cette publication; mais en accourant à l'appel qui leur serait adressé ils voudraient, avant toute chose, avoir la certitude qu'ils s'associent, non pas à une œuvre de police, mais à une œuvre de conscience; et c'est pourquoi ils se croiraient en droit de

réclamer toute la mesure de liberté que suppose et nécessite une discussion vraiment sérieuse et efficace.

Voyez, mon prince, si les influences qui auraient présidé à l'établissement de ce journal et qui protégeraient son existence, s'entendraient à lui assurer la mesure de liberté dont il aurait besoin, si peut-être elles ne se persuaderaient pas que, par une sorte de reconnaissance pour le patronage qui lui serait accordé et par une sorte de déférence pour sa position privilégiée, le journal qu'ils considéreraient en partie comme le leur ne serait pas tenu à plus de réserve encore et à plus de discrétion que tous les autres journaux du pays.

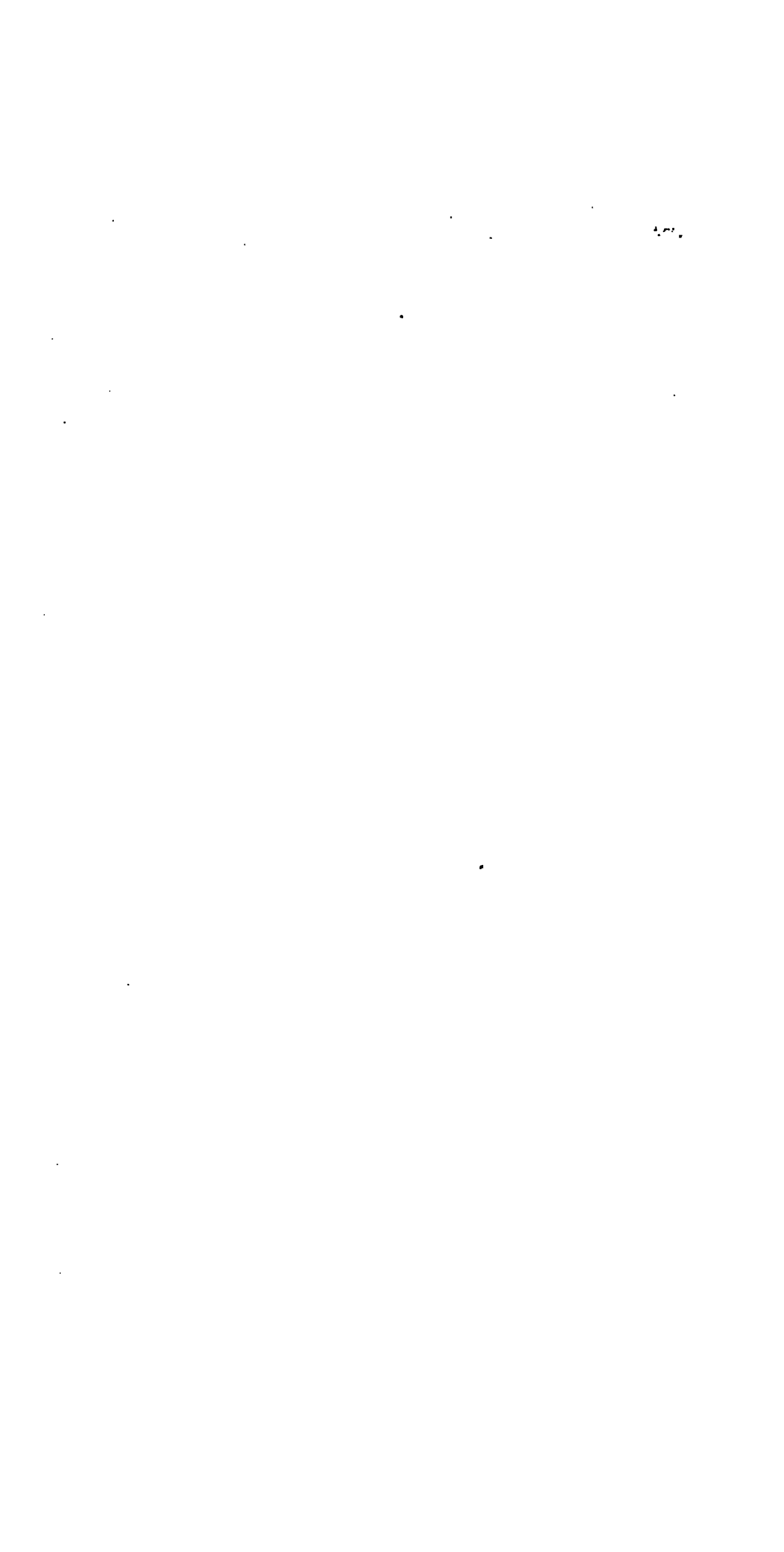
Mais cette lettre est trop longue, et j'ai hâte de la finir. Permettez-moi seulement, mon prince, d'y ajouter en terminant ce peu de mots qui résument ma pensée tout entière. Le projet que vous avez eu la bonté de me communiquer me paraîtrait d'une réalisation, sinon facile, du moins possible, si toutes les opinions, toutes les convictions honnêtes et éclairées avaient le droit de se constituer librement et ouvertement en une milice intelligente et dévouée des inspirations personnelles de l'Empereur.

Recevez, etc.

Novembre, 1857.

О П Е Ч А Т К И.

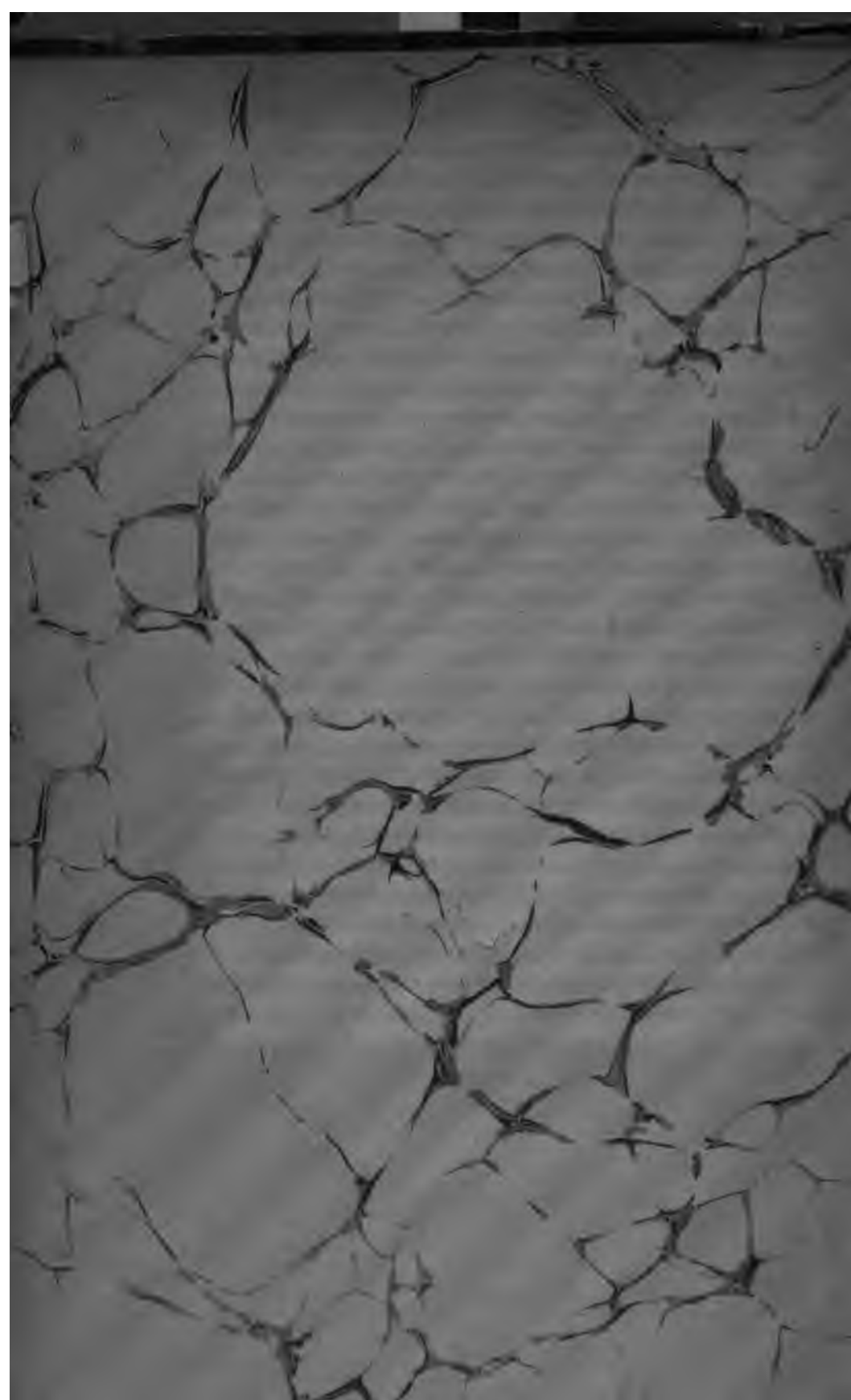
СТРАН.	СТРОКА.	НАПЕЧАТАНО:	СЛѢДУЕТЪ:
3	12	храмъ	храмъ
90	14	1827	1832
115	4	Но.	Не
206	7	нѣкогда	нѣкогда
220	1	зеленѣеть.	зеленѣеть,
239	4	своеправно,	своеправиа,
241	1	пототъ.	потомъ
244	5	будь	бурь
256	14	въ веситъ.	къ веситъ
269	7	отступническомъ.	отетуиническомъ
272	(въ заглавіи)	Д. Θ. То —й	Д. Θ. Т—ой.
291		растила	растяла
298		вразумишь	вразумишь
305	16	тяжкій	тяжкій
346	6	Катишь	катишь
384	2	укрытея	укрыться
389	5	пережить.	пережитъ
408	5	Севѣръ.	Сѣверъ
426	3	тебя	себя
	13	соблаговолила	еоблаговолила
428	8	утрежденія	учрежденія
432	28	стало	стала
461	20	романтизмъ.	романизмъ
489	18	Кн. М. Д. Горчакову	Кн. А. М. Горчакову
530	6	mais encore pas	mais pas
544	4	incessamment	nécessairement
560	9	censé.	cessé
575	28	que	qui







LHR



Stanford University Libraries

3 6105 124 448 460



PG
3361
T5
1886

Stanford University Libraries
Stanford, California

Return this book on or before date due.

APR - 2

MAR 2 - 1982

MAY 2 - 1982

